

Annotation

Последний роман Стейнбека – и не похожий на его предыдущие книги.

Место действия – старинный городок Новой Англии. Герой романа – отпрыск основателей городка, неплохо устроенный человек, словом, средний добропорядочный американец. Стейнбека в те годы беспокоил упадок нравов в стране, отсутствие достойной цели, и в своем романе он откровенно показал, как американский образ жизни действует на обычного добропорядочного буржуа, толкая его на путь предательства и преступления ради погони за богатством.

Паскаль Ковичи: «...В книге нет ни нотки надежды, да ее и не должно там быть. Она ниспровергает преклонение перед так называемой добродетелью, перед успехом, перед американским образом жизни. Мало писателей атаковали эти американские понятия с такой силой. В этом десятилетии никто, кроме вас, даже и не пытался сделать этого... Вы написали великую книгу, Джон, и да поможет вам Бог».

Автор: «...Плохой роман должен развлекать читателей, средний – воздействовать на их чувства, а лучший – озарять им путь. Не знаю, сумеет ли мой роман выполнить хотя бы одну из этих задач, но моя цель – озарять путь».

-
- [Джон Стейнбек](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Часть вторая](#)

- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [«Зима тревоги нашей»:](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)

- [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
-

Джон Стейнбек

Зима тревоги нашей

Читателям,
которые станут
доискиваться,
какие реальные
люди и места
описаны здесь под
вымышленными
именами и
названиями, я бы
посоветовал
посмотреть вокруг
себя и заглянуть в
собственную душу,
так как в этом
романе рассказано
о том, что
происходит сегодня
почти во всей
Америке.

Часть первая

Глава I

Когда золотое апрельское утро разбудило Мэри Хоули, она повернулась к мужу и увидела, что он растянул рот мизинцами, изображая лягушку.

– Дурачишься, Итен? – сказала она. – Опять проявляешь свой комический талант?

– Мышка-мышка, выходи за меня замуж.

– Только проснулся и сразу за свое – дурачиться?

– Новый день нам год приносит, вот уж утро настает!

– Так и есть – сразу за свое. А ты помнишь, что сегодня Великая Страстная пятница?

Он забубнил:

– Подлые римляне по команде выстраиваются у подножия Голгофы.

– Перестань кощунствовать. Марулло разрешит тебе закрыть лавку в одиннадцать?

– Милый цветочек, Марулло – католик, к тому же итальяшка. Вернее всего, он туда и носу не покажет. Я закрою лавку на перерыв в двенадцать и не открою до тех пор, пока не кончится казнь.

– Пилигримы в тебе заговорили. Нехорошо так.

– Глупости, букашка. Это у тебя по материнской линии. Это во мне заговорили пираты. И казнь есть казнь, знаете ли.

– Никакие они не пираты. Ты сам рассказывал, что твои предки – китоловы и что у них были какие-то документы еще со времен Континентального конгресса.

– На судах, которые они обстреливали, их называли пиратами. А та римская солдатня называла казнь казнью.

– Ну вот, рассердился. Мне больше нравится, когда ты дурачишься.

– Да, я дурачок. Кто этого не знает?

– Вечно ты сбиваешь меня с толку. Тебе есть чем гордиться: пилигримы-колонисты и шкиперы китобойных судов – и всё в одной семье.

– А им есть чем?

– Что? Не понимаю.

– Могут мои знаменитые предки гордиться тем, что произвели на свет какого-то паршивого продавца в паршивой итальянской лавчонке в том самом городе, где они когда-то всем владели?

– Ты не просто продавец. Ты скорее вроде управляющего – ведешь всю бухгалтерию, сам сдаешь выручку в банк, сам все заказываешь.

– Верно. И сам подметаю, сам выношу мусор, пресмыкаюсь перед Марулло, и, будь я вдобавок паршивой кошкой, мне бы полагалось ловить у Марулло мышей.

Она обняла его.

– Давай лучше дурачиться, – сказала она. – Не надо так говорить в Страстную пятницу, это нехорошо. Я тебя очень люблю.

– Н-да, – сказал он через минуту. – Все вы поете одинаково. И не воображай, что это дает тебе право лежать в чем мать родила рядом с женатым мужчиной.

– Я хотела рассказать тебе про ребят.

– В тюрьму сели?

– Опять за свои дурачества? Нет, пусть они сами тебе расскажут.

– А что же ты...

– Марджи Янг-Хант сегодня опять будет гадать мне.

– На кофейной гуще? Марджи Янг-Хант, вот она какая, всем дарит улыбки, красотой пленяя...

– Знаешь, если бы я была ревнивая... Говорят, когда мужчина притворяется, будто он и не смотрит на хорошенькую девушку...

– Это она-то девушка? У нее двое мужей было.

– Второй умер.

– Мне пора завтракать. И ты веришь в эту чепуху?

– Но ведь про моего брата Марджи мне нагадала! Помнишь? «Кто-то из родственников, из самых близких...»

– Кто-то из моих родственников, из самых близких, получит хорошего пинка в зад, если сию же минуту не подаст на стол...

– Иду, иду. Яичницу?

– Ну, допустим. Почему называется Великая пятница? Что в ней великого?

– Эх, ты! – сказала она. – Тебе бы только паясничать.

Когда Итен Аллен Хоули проскользнул в уголок возле кухонного окна, кофе был уже готов и на столе стояла тарелка с яичницей и

гренками.

– Самочувствие великолепное, – сказал он. – Так почему же все-таки Великая пятница?

– Весна, – отозвалась она от плиты.

– Весенняя пятница?

– Лихорадка весенняя. Вот она тебя и треплет. А что ребята, встали?

– Как же, дожидайся! Лежебоки несчастные. Давай разбудим их и выпорем.

– Когда на тебя находит, ты бог знает что несешь. В перерыв придешь домой?

– Нет-с, не приду.

– Почему?

– Женщины. Назначаю им свидание на это время. Может, твоя Марджи заглянет.

– Перестань, Итен! Зачем ты так говоришь? Марджи настоящий друг. Она последнюю рубашку с себя снимет.

– Вот как? А есть ли на ней рубашка-то?

– Опять в тебе пилигримы заговорили.

– Держу пари, что мы с ней в родстве. Она тоже пиратских кровей.

– Ну перестань дурачиться. Вот тебе список. – Она сунула листок бумаги ему в нагрудный карман. – Тут очень всего много. Но не забудь, дело к Пасхе. И два десятка яиц тоже не забудь. Скорее, а то опоздаешь.

– Сам знаю. Чего доброго, упущу одного покупателя и лишу Марулло двадцати центов выручки. А зачем сразу два десятка?

– Красить. Аллен и Мэри-Эллен просили обязательно принести. Ну, тебе пора.

– Ухожу, ромашка... Только позволь, я поднимусь на минуточку наверх и спущу шкуру с Аллена и Эллен?

– Ты ужасно их балуешь, Итен! Так все-таки нельзя.

– Прощай, прощай, кормило власти, – сказал он, захлопнув за собой дверь с металлической сеткой, и вышел в золотисто-зеленое утро.

Он оглянулся на красивый старинный дом его отца и прадеда – дом, выкрашенный в белую краску, с полуциркульным окном над

парадной дверью, с лепными карнизами в стиле Роберта Адама^[1] и «вдовьей дорожкой» на крыше. Дом стоял в глубине зеленеющего сада среди столетней, набухшей почками сирени с могучими, чуть не в два обхвата, стволами. Вязы на Вязовой улице смыкали свои кроны через дорогу и отливали желтизной сквозь молодую листву. Солнце только что ушло со здания банка и засверкало на серебристой башне газового завода, гоня в город солено-йодистые запахи из Старой гавани.

На утренней Вязовой улице только одна живая душа – рыжий сеттер мистера Бейкера, банкирская собака. Рыжий Бейкер, который не спеша, с достоинством шествовал по тротуару, время от времени замирая и принюхиваясь к визитным карточкам на стволах вязов.

– С добрым утром, сэр. Я Итен Аллен Хоули. Мы с вами как-то вместе справляли свои нужды.

Рыжий Бейкер остановился и ответил на приветствие размеренным помахиванием пушистого рыжего хвоста.

Итен сказал:

– А я вот стою и смотрю на свой дом. Умели строить в прежние времена.

Рыжий склонил голову набок и раза два небрежно поскреб задней лапой по ребрам.

– А хитрое ли это дело? С их-то денежками! Ворвань со всех морей и океанов и спермацет. Что такое спермацет – вам известно?

Рыжий протяжно вздохнул.

– Видимо, нет? Это прозрачное, чудесно пахнущее розой жироподобное вещество, содержащееся в черепных полостях кашалота. Читай «Моби Дика», пес. Мой тебе совет.

Сеттер задрал ногу на чугунную коновязь у обочины тротуара.

Уходя Итен бросил ему через плечо:

– Дашь отзыв об этой книге. Может, мой сын что-нибудь у тебя почерпнет. Он даже не сумеет правильно написать слово «спермацет»... и не только это слово.

Через два квартала от старинного дома Итена Аллена Хоули Вязовая улица под прямым углом впадает в Главную. Посредине первого квартала разбойничья банда воробьев дебоширила на едва начинающей зеленеть лужайке перед домом Эдгаров. Воробьи не резвились, а налетали друг на друга, валяли друг друга в траве, норовили выклевать друг другу глаза, и все это с такой яростью, с

таким шумом, что даже не заметили, как Итен подошел к ним посмотреть на их драку.

– Дружно в гнездышке живем, всем пример вам подаем, – сказал он. – Свет не слыхал подобного вранья. Вы, братцы, даже в такое прекрасное утро не можете поладить между собой. А святой Франциск носился с вами, стервецами! Кш-ш! – Он ринулся на них, поддал ногой, и воробьи взмыли вверх в шелестящем гуле крыльев, выражая свое крайнее недовольство скрипучим, как несмазанная дверь, чириканьем. – И разрешите мне поведать вам вот что, – сказал Итен им вслед. – Солнце померкнет в полдень, и тьма покроет землю, и страх обует вас. – Он ступил на тротуар и пошел дальше.

В старинном доме Филлипсов во втором квартале теперь открыли пансион. Из его парадной двери вышел кассир местного отделения Первого национального банка Джой Морфи. Он поковырял в зубах, одернул жилет и кивнул Итену.

– А я как раз собирался заглянуть к вам, мистер Хоули, – сказал он.

– Почему Страстную пятницу называют Великой?

– Это по-латыни, – сказал Джой. – Великус, великиус, великум, в смысле – «препаскудная».

Физиономия у Джоя была лошадиная, и улыбался он по-лошадиному, вздергивая длинную верхнюю губу и обнажая крупные квадратные зубы. Джозеф Патрик Морфи, Джой Морфи, Джой-бой, Морф – отнюдь не старожил Нью-Бэйтауна, но тем не менее личность весьма популярная в городе. Балагур, который отпускает шуточки с бесстрастным выражением лица, будто блефуя при игре в покер, зато прямо-таки скисает со смеху, слушая анекдоты других рассказчиков, даже если и не в первый раз. Чего он только не знал, этот Морф, решительно обо всех и обо всем, начиная с мафии и кончая Маунтбэттенем, но выдавал он свою информацию таким тоном, что она звучала почти как вопрос. Благодаря вопросительным ноткам в нем не чувствовалось самоуверенности всезнайки, и от этого слушателям казалось, будто они причастны к его рассказам, что позволяло им выдавать их потом за свои собственные. Джой был любопытнейший тип: по натуре азартный, а никто не слышал, чтобы он когда-нибудь заключил хоть одно пари; опытный бухгалтер, замечательный банковский кассир. Директор местного отделения

Первого национального банка мистер Бейкер оказывал Джою такое доверие, что переложил на него почти всю свою работу. Морф был на дружеской ноге со всеми в городе, но никого не называл по имени. Итен был для него мистером Хоули, Марджи Янг-Хант – миссис Янг-Хант, хотя, по слухам, Джой спал с ней. У него не было ни семьи, ни родственных связей, жил он один в двух комнатах с отдельной ванной в старинном доме Филлипсов, столовался большей частью в ресторане «Фок-мачта». Его послужной список – безупречный – был досконально известен мистеру Бейкеру и всем членам правления, но Джой-бой так рассказывал истории из жизни якобы других людей, что у слушателей невольно возникала мысль: а не произошло ли это с самим Джоем – и в таком случае он был тертый калач. То, что Джой не выставлял себя напоказ, вызывало к нему еще большую симпатию. Ногти у него всегда были чистые, костюм хорошо и по моде сшитый, рубашка свежая, башмаки – начищенные.

Оба не спеша зашагали по Вязовой улице к Главной.

– Я все хочу спросить вас. Адмирал Хоули вам кем-нибудь приходится?

– Может быть, адмирал Холси? – сказал Итен. – В нашей семье моряков было много, но про адмирала я впервые слышу.

– Я знаю, что дед у вас был шкипер китобойного судна, потому, вероятно, мне и втемяшился этот адмирал.

– Такие городишки, как наш, не обходятся без легенд, – сказал Итен. Вот и говорят, будто мои прапрадеды по отцовской линии пиратствовали в давние времена, а материнские предки прибыли в Америку на «Мэйфлауре».

– Итен Аллен?^[2] сказал Джой. – Господи помилуй! Он тоже ваш родственник?

– Очень возможно. Даже наверное, – сказал Итен. – Какой сегодня денек! Лучше, кажется, и пожелать нельзя. Вы хотели зайти ко мне?

– А, да! У вас сегодня с двенадцати до трех перерыв? Приготовьте-ка мне два сандвича к половине двенадцатого, можно? Я тогда забегу за ними. И еще бутылку молока.

– А банк разве не закрывается?

– Банк закрывается. Я – нет. Маленький Джой так и будет торчать там, прикованный цепями к своим гроссбухам. В такие дни, накануне

больших праздников, все, до последней собаки, лезут в банк, каждый со своим чеком.

– Вот не думал, – сказал Итен.

– Ну как же! Пасха, День памяти павших, День независимости, День труда... да перед любым большим праздником. Если бы я решил ограбить банк, то непременно приурочил бы это к кануну большого праздника. Денежки-то лежат готовенькие, ждут-дожидаются.

– А при вас, Джой, когда-нибудь грабили?

– Нет. Но с одним моим приятелем это стряслось дважды.

– Что же он рассказывал?

– Рассказывал, что здорово струхнул. Делал все, как ему было велено. Лег на пол и – пожалуйста, берите. Деньги, говорил, крепче застрахованы, чем я.

– Сандвичи я занесу, когда закрою лавку. Постучусь в боковую дверь. Вам с чем приготовить?

– Не беспокойтесь, мистер Хоули. Долго ли мне перебежать с угла на угол!.. Один с ветчиной, один с сыром. Хлеб ржаной, салат и майонез. И еще, пожалуй, бутылку молока и кока-колы, но это на потом.

– Есть хорошая салями – хозяин-то у меня итальянец.

– Нет, спасибо. Как он там, кстати, этот местный представитель мафии?

– По-моему, ничего.

– Ну что ж, если даже не любишь этих макаронщиков, все равно перед таким надо преклоняться. Торговал человек с тележки овощами, дальше больше, а теперь чем только не обзавелся! Да, голова у него работает. Знал бы кто, какое он состояние накопил... Но напрасно я об этом говорю. Банковским служащим не полагается болтать.

– А вы ничего не разболтали.

Они вышли на угол, где Вязовая улица упирается в Главную. И оба машинально остановились и посмотрели на розово-белые руины старинной гостиницы, которую сносили, чтобы освободить место для нового магазина Вулворта. Выкрашенный в желтую краску бульдозер и высоченный кран с ударной шар-бабой молчали, точно хищники, затаившиеся в утренней тиши.

– Вот кому я всегда завидую, – сказал Джой. – Какое, наверно, наслаждение: вдарил этой стальной штуковиной, и глядишь – целая

стена рухнула.

– Я во Франции вдоволь этого насмотрелся, – сказал Итен.

– Да! Ведь ваше имя есть на обелиске у набережной.

– А тех, что совершили нападение на вашего приятеля, поймали? – Итен догадывался, что приятель этот был сам Джой. На его месте каждый бы догадался.

– Ну конечно! Попались, как мыши в мышеловку. Налетчики, слава богу, народ не хитрый. А вот если бы Джой-бой написал руководство по ограблению банков, полиция никогда бы никого не поймала.

Итен рассмеялся.

– А откуда вы все это знаете?

– Из первоисточника, мистер Итен. Читаю газеты, только и всего. Кроме того, один мой хороший знакомый работал в сыскной полиции. Желаете, прочитаю вам двухдолларовую лекцию на эту тему?

– Валяйте на семьдесят пять центов. Мне пора открывать.

– Леди и джентльмены, – сказал Джой. – Сегодня мы с вами приступим... Нет, стоп! Почему попадают после налета на банк? Пункт первый: рецидивисты, судимость в прошлом. Пункт второй: перегрызлись из-за добычи, и кто-нибудь накапал. Пункт третий: дамочки. Без дамочек не могут, а отсюда пункт четвертый: начинают сорить деньгами. Послеживайте за такими, и ваше дело в шляпе.

– Так в чем же заключается ваш метод, господин профессор?

– Метод самый что ни на есть простой. Все наоборот. Никогда не совершайте налета на банк, если вы в чем-нибудь уже замешаны и за что-нибудь привлекались. Никаких сообщников – всё в одиночку, и никому, ни единой душе ни слова. О дамочках и думать забудьте. Денег тех не трогать. Убрать подальше, и не на один год. Потом, когда сможете сочинить какое-нибудь объяснение, откуда у вас завелись деньжата, извлекайте их на свет божий небольшими суммами и вкладывайте в ценные бумаги хотя бы. Тратить просто так нельзя.

– Ну а вдруг налетчика узнают?

– Если он закроет лицо и не произнесет ни слова, как его узнаешь? Читали когда-нибудь показания очевидцев? Они же черт-те что несут. Мой приятель из полиции говорил, что, когда его подставляли среди других для опознания какого-нибудь преступника, потерпевшие то и дело на него показывали. Голову давали на

отсечение, что это он самый и есть. Вот вам, извольте, на семьдесят пять центов.

Итен сунул руку в карман.

– За мной.

– Сандвичами будете погашать, – сказал Морфи.

Чтобы попасть в переулок, под прямым углом отходивший от Главной улицы, им пришлось перейти на противоположную сторону. Джой вошел через боковую дверь в здание Первого национального банка по правую сторону переулка, а Итен отпер ключом тоже выходившую в переулок, но по левую его сторону, дверь лавки Марулло «Бакалея, Гастрономия, Консервы и Фрукты».

– Так с ветчиной и сыром? – крикнул он.

– На ржаном... Не забудьте салат и майонез.

Пыльное зарешеченное окно туманило и без того слабый свет, проникавший из узенького переулка в кладовую за лавкой. Итен на минуту задержался в полутьме этого помещения с полками до самого потолка, где впритык стояли картонные и деревянные ящики с консервированными фруктами, овощами, рыбой, плавленым сыром и колбасами. Он повел носом, стараясь уловить, не пахнет ли мышами сквозь зланный аромат муки, фасоли и сушеного горошка, канцелярский запах коробок с корнфлексом, тяжелый, сытный дух колбас и сыра, сквозь отдающие дымком окорока и бекон, зловоние капустных листьев, салата и свекольной ботвы, гниющих в серебристых мусорных урнах у боковой двери. Не обнаружив прогоркло-плесенного мышинного смрада, он снова отворил боковую дверь лавки и выкатил в переулок наглухо закрытые крышками мусорные урны. В лавку хотел было прошмыгнуть серый кот, но он прогнал его.

– Нет, шалишь, – было сказано ему. – Крысы и мышки – закуска для котихи, а этой киске подавай сосиски. Сгинь! Тебе говорят, сгинь! – Сидя на тротуаре, кот вылизывал розовый комочек лапки, но после второго «сгинь» он метнулся через переулок, высоко задрав хвост, и одним махом одолел дощатый забор позади банка. – А слово-то, видно, магическое, – вслух сказал Итен. Он вернулся в кладовую и затворил за собой дверь.

Два-три шага по запыленной кладовой к двери в лавку, но у крошечной уборной ему послышался шепоток струящейся воды. Он

отворил фанерную дверцу и спустил воду. Потом толкнул широкую внутреннюю дверь с забранным сеткой окошечком и носком башмака плотно вогнал деревянный клин под низ.

Сквозь шторы на двух больших витринах в лавку просачивался зеленоватый свет. И тут тоже полки до самого потолка с аккуратными рядами консервов в поблескивающих металлом и стеклом банках – настоящая библиотека для желудка. Справа – прилавок, кассовый аппарат, пакеты, моток бечёвки и это великолепиие из нержавеющей металла и белой эмали – холодильник с витриной, в котором компрессор что-то тихонько нашептывает сам себе. Итен щелкнул выключателем, и холодная голубизна неоновых трубок залила нарезанные копчености, сыры, сосиски, отбивные, бифштексы и рыбу. Лавка засияла отраженным кафедральным светом, рассеянным кафедральным светом, как в Шартрском соборе. Итен, залюбовавшись, обвел все глазами – органые трубы консервированных томатов, капеллы баночек с горчицей, с оливками, сотни овальных гробниц из сардинных коробок.

Он затынул гнусавым голосом:

– Одинокум и одинокум, – как с амвона. – Один одинокум во славу одинокуми домини... ами-инь! – пропел он. И будто наяву услышал комментарий жены: «Перестань дурачиться, и кроме того, другим это может показаться оскорбительным. Нельзя так походя оскорблять людей в их лучших чувствах».

Продавец в бакалейной лавке – в бакалейной лавке Марулло, – человек, у которого есть жена и двое любимых деток. Когда он бывает один? Когда и где он может остаться один? Днем – покупатели, вечером – жена и ребяташки, ночью – жена, днем – покупатели, вечером – жена и ребяташки.

– В ванной, вот где, – вслух сказал Итен. – И сейчас, до того как я открою шлюз. – О, терпкий дух, мысли вслух, неряшливая дурашливость этих минут – чудных и чудных минут... – Сейчас я тоже кого-нибудь оскорбляю, прелесть моя? – спросил он жену. – Здесь никого нет – ни людей, ни их лучших чувств. Никого, кроме меня и моего одинокум одинокума, до тех пор пока... пока я не открою эту треклятую дверь.

Из ящика под прилавком справа от кассы он достал чистый фартук, расправил его, выпростал тесемки, обтянул им свои узкие

бедра, провел тесемки наперед и снова за спину. Потом обеими руками на ощупь завязал сзади узел.

Фартук был длинный, чуть не до щиколоток. Итен воздел правую руку ладонью вверх и провозгласил:

– Внемлите мне, о вы, консервированные груши, маринады и пикули! «Когда же настало утро, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион...» Когда настало утро... Рано принялись за дело, сукины дети! Ни минутки лишней не упустили. Как там дальше? «Было же около шестого часа дня...» По-нашему, это, наверно, полдень. «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце». Как я все это помню? Боже милостивый! Долго же ему пришлось умирать – мучительно долго! – Он опустил руку и вопросительным взглядом обвел заставленные товаром полки, будто ожидая от них ответа. – Сейчас ты мне ничего не говоришь, Мэри, лепешечка моя. Может быть, ты из дщерей иерусалимских? «Не плачьте обо мне, – рёк Он. – Но плачьте о себе и о детях ваших... Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» До сих пор не могу спокойно слушать. Тетушка Дебора и не подозревала, как глубоко западет это мне в душу. Но шестой час еще не наступил... нет, еще рано, рано.

Он поднял зеленые шторы на обеих больших витринах, говоря:

– Входи, новый день! – Потом повернул ключ в дверях. – Прошу пожаловать, мир божий! – Обе зарешеченные створки настезь, и на них – крюки, чтобы не захлопнулись. И навстречу – утреннее солнце, нежно пригревающее асфальт, как ему, солнцу, и полагалось в эти дни, потому что в апреле оно вставало в том месте, где Главная улица сбегала к заливу.

Итен прошел в уборную и взял там метлу подмести тротуар.

День – то, что называется день-деньской, – не един с утра до вечера. Его окрашивает не только воспарение света в зенит и обратный путь к закату, в нем меняется все – весь строй его, ткань, тон и смысл; его корежат тысячи факторов всех времен года: зной, стужа, затишье, ветер; он подвластен запахам сладости или горечи трав, листа, почки, холоду льдинки, черноте голых веток. И по мере того как меняется день, меняются и все его подданные: букашки и птицы, кошки, собаки, бабочки и люди.

Тихий, затуманенный, обращенный внутрь день Итена Аллена Хоули подошел к концу. У того человека, который размеренно, будто под метроном, подметал тротуар, не осталось ничего общего ни с проповедником, взывающим к консервным банкам, ни с «одиноким одиноким», ни даже с тем неряшливо-дурашливым. Взмахами метлы он собирал окурки сигарет, обертку жевательной резинки, чешуйки почек с деревьев и просто пыль и ряд за рядом гнал этот нанос мусора ближе к канаве, где его подберут мусорщики с серебристого грузовика.

Мистер Бейкер степенно шествовал из своего дома на Каштановой улице к красно-кирпичной базилике Первого национального банка. Шаги у него были неодинаковой длины, но вряд ли кто-нибудь мог подумать, что, веря в древнюю примету, он боится наступить на тень своей матери.

– С добрым утром, мистер Бейкер, – сказал Итен и пропустил один взмах метлы, чтобы не запылить тщательно отутюженные темные брюки директора банка.

– С добрым утром, Итен. С прекрасным утром.

– Да, действительно, – сказал Итен. – Весна пришла, мистер Бейкер. Крот-то, хитрец, оказался прав.

– Да, хитрец, хитрец. – Мистер Бейкер помолчал. – Я все собираюсь поговорить с вами, Итен. Ваша жена получила по завещанию брата... э-э... больше пяти тысяч, кажется?

– За вычетом налогов шесть тысяч пятьсот, – сказал Итен.

– И они лежат в банке просто так. Вложить надо во что-нибудь. Давайте обсудим это. Ваши деньги должны работать на вас.

– Шесть с половиной тысяч много не наработают, сэр. Деньги небольшие, так, про черный день.

– Я не поклонник мертвых капиталов, Итен.

– Да, но... не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет.

В голосе у банкира появились ледяные нотки.

– Не понимаю. – Судя по интонации, он прекрасно все понял, но счел это замечание глупым, и его тон кольнул Итона, а укол самолюбия породил на свет ложь.

Метла прочертила чуть заметный полукруг на тротуаре.

– Дело в том, сэр, что эти деньги оставлены Мэри как временное обеспечение. На тот случай, если вдруг со мной что-нибудь случится.

– Тогда вам надо взять оттуда некоторую сумму и застраховать жизнь.

– Но ведь они даны ей во временное пользование, сэр. Это имущество брата Мэри. Ее мать все еще жива. И может прожить еще не один год.

– Так, понимаю. Старики частенько бывают в тягость.

– И частенько держат деньги под спудом. – Сказав неправду, Итен взглянул на мистера Бейкера и увидел, как из-под воротничка у банкира проступила краснота. – Ведь знаете, сэр, может так случиться: вложишь во что-нибудь эти деньги Мэри и вылетишь в трубу, как я и сам однажды вылетел со своими собственными и как мой отец умудрился вылететь.

– Все течет, все меняется, Итен. Все меняется. Я знаю, вы сильно обожглись. Но теперь совсем другие времена, другие возможности.

– Возможностей у меня и тогда было много, мистер Бейкер, гораздо больше, чем здравого смысла. Не забывайте, что я завел лавку сразу после войны. Продал полквартиры недвижимости, чтобы закупить товар для нее. И это было последнее наше предприятие.

– Знаю, Итен. Ведь вы же держите деньги у меня в банке. Врач проверяет ваш пульс, а я – ваш текущий счет.

– Еще бы вам не знать. Мне и двух лет не понадобилось, чтобы прогореть почти дотла. Все продал, кроме дома, когда расплачивался с долгами.

– Не взваливайте всю вину на себя. Только что из армии, опыта в делах ни малейшего. Не забывайте еще, что вы угодили домой в самый разгар депрессии, которую мы почему-то именовали спадом. Закаленные дельцы и те уходили под воду.

– Я ушел под воду на самое дно. Первый случай в истории, чтобы член семьи Хоули служил продавцом в бакалейной лавке у какого-то итальяшки.

– Вот тут я отказываюсь вас понимать, Итен. Крах может потерпеть каждый. Но как не преодолеть в себе этого вам, человеку из рода Хоули, из такой среды, с таким образованием! У вас, наверно, кровь стала жидкая, если вы решили, что это уже на веки вечные. Что вас подкосило, Итен? Подкосило и не дает выпрямиться?

Итен хотел было начать сердитую отповедь: ну конечно, где вам понять! Вы никогда ничего подобного не испытали... Но вместо этого

он подровнял метлой кучку сигаретных окурков и оберток от жевательной резинки и двинул ее к канаве.

– Так не бывает, чтобы человека подкосило и ему сразу конец. Я хочу сказать, что с большой бедой как-то борются. Эрозия – вот что его разъедает и все ближе и ближе подталкивает к гибели. Постепенно он поддается чувству страха. Мне тоже страшно. Электроосветительная компания Лонг-Айленда может выключить у нас свет. Моей жене нужно одеваться. Детям нужна обувь, нужны развлечения. А вдруг они не смогут кончить школу? А ежемесячные счета, врачи, дантисты, удаление миндалин, а представьте себе, вдруг я сам заболею и не смогу подметать этот тротуар, будь он проклят? Конечно, где вам понять! Процесс этот медленный. Он выедает человеку все нутро. Я не могу заглядывать вперед дальше очередного ежемесячного взноса за холодильник. Моя работа ненавистна мне, и в то же время я боюсь ее потерять. Разве вы в состоянии понять это?

– А мать Мэри?

– Я же вам говорил. Она держит деньги под спудом. Так и умрет с ними.

– Вот не подозревал! Мне казалось, что Мэри из небогатой семьи. Но я прекрасно понимаю: если заболеешь, то нужны лекарства, может потребоваться операция или электрошок. Наши предки были смелый народ. Вы сами это знаете. Они не позволяли обглаживать себя до костей. Теперь времена изменились. Теперь повсюду открываются такие возможности, о каких они и мечтать не могли. А пользуются этими возможностями иностранцы. Иностранцы обгоняют нас. Проснитесь, Итен!

– А как быть с холодильником?

– Пусть забирают, раз так.

– А Мэри, а дети?

– Забудьте их на время. Вы станете им еще дороже, если выкарабкаетесь из этой ямы. От ваших забот и тревог толку мало.

– А деньги Мэри?

– Рискните, даже если придется потерять их. Действуйте осторожно и прислушивайтесь к добрым советам, тогда все будет хорошо. Риск – это не проигрыш. Наши с вами предки всегда рисковали с точным расчетом, и никто из них не оставался в проигрыше. Я не намерен щадить вас, Итен. Где ваша верность памяти

старого шкипера Хоули? Вы в долгу перед его памятью. Ведь он и мой отец сообща владели «Прекрасной Адэр» – одним из самых лучших китобойных судов, построенных в наше время. Подхлестните себя, Итен! Перед «Прекрасной Адэр» вы тоже в долгу, и она с вас стребует. Пошлите холодильник к черту!

Кончиком метлы Итен принудил упрямый обрывок целлофана свалиться в канаву. Он сказал вполголоса:

– «Прекрасная Адэр» сгорела по самую ватерлинию, сэр.

– Да, знаю. Но разве это хоть сколько-нибудь помешало нам? Отнюдь.

– Она была застрахована.

– Разумеется, была.

– А я нет. Мне удалось спасти только свой дом и больше ничего.

– Выкиньте такие мысли из головы. Это все дела давно минувшие, а вы до сих пор не можете с ними расстаться. Наберитесь мужества, дерзайте! Поэтому я и говорю, что деньги Мэри надо пустить в оборот. Я хочу помочь вам, Итен.

– Спасибо, сэр.

– Мы снимем с вас этот фартук. Вот в чем ваш долг перед старым шкипером Хоули. Он не поверил бы собственным глазам, увидя вас в таком наряде.

– Да, наверно.

– Вот теперь вы говорите дело. Мы снимем с вас этот фартук.

– Если б не Мэри и не дети...

– Говорят вам: выкиньте семью из головы ради ее же блага. У нас в Нью-Бэйтауне скоро начнутся интересные дела. Вы могли бы принять в них участие.

– Благодарю вас, сэр.

– Я обо всем этом еще подумаю.

– Мистер Морфи сказал, что он останется работать, когда банк закроют до трех часов. Я обещал приготовить ему сэндвичи. Могу и вам принести, хотите?

– Нет, благодарю. Джой за меня все делает. Прекрасный работник. Я хочу посмотреть кое-какие земельные участки. Разумеется, не на месте, а в Окружном управлении. От двенадцати до трех там тихо, спокойно. Может быть, и для вас что-нибудь подберу. Мы с вами скоро обо всем поговорим. Ну, всего доброго. – Мистер Бейкер сделал

большой шаг, чтобы не наступить на трещину в тротуаре, и пошел к главному входу в Первый национальный банк, а Итен улыбнулся, глядя на его удаляющуюся спину.

Итен быстро кончил подметать, потому что люди струйками и ручейками текли на работу. У входа в лавку он поставил лотки со свежими фруктами. Потом, убедившись, что прохожих нет, снял с полки три банки консервированного собачьего корма, сунул руку в освободившееся пространство, вынул оттуда зловеще-серый мешочек с деньгами, поставил банку обратно и, нажав пустой клавиш кассы, разложил двадцатки, десятки, пятерки и однодолларовые бумажки по местам, под придерживающие их колесики. А в передней части выдвижного кассового ящика легли, каждая в свою дубовую чашечку, монеты по пятьдесят, двадцать пять, десять, пять центов и по одному пенни. Пока что покупателей было немного: дети, посланные за кирпичиком хлеба, или картонкой молока, или фунтом не запасенного вовремя кофе, большей частью девочки с не расчесанными со сна волосами.

Вошла Марджи Янг-Хант в свитере цвета сомон, вызывающе облегавшем бюст. Твидовая юбка любовно льнула к ее бедрам и подхватывала горделивый зад, но только в глазах Марджи, в ее карих близоруких глазах, видел Итен то, чего не могла увидеть его жена, потому что в присутствии жен там ничего такого не было. Хищный зверек, Артемида, охотница за брюками. Старый шкипер Хоули называл такой взгляд «блудливым». И в голосе у нее это тоже слышалось – в его бархатистой тягучести, которую сменяло сладенькое доверительное верещанье в расчете на жен.

– Здравствуйте, Ит, – сказала Марджи. – Какой денек! Самый раз для пикника.

– Здравствуйте. Хотите пари? Остались без кофе.

– Если вы догадаетесь, что я осталась без таблеток для шипучки, тогда вас надо обходить за два квартала.

– Здорово кутнули?

– Не так чтобы очень, но... Разъездной торговый агент, порассказал всего с три короба. С нами, развозками, безопасно. Полный портфель бесплатных образцов. У вас такие, наверно, зовутся просто коммивояжерами. Вы, может, знаете его? Не то Биккер, не то

Боккер. От фирмы «Б. Б. Д. и Д.». Почему я обо всем этом говорю? Потому что он собирался зайти к вам.

– Мы большей частью заказываем у Вэйландса.

– Этот мистер Биккер, наверно, уже рыщет по городу, если, конечно, самочувствие у него чуточку приличнее, чем у меня. Дайте-ка стакан воды. Для начала я тут выпью.

Итен сходил в кладовую и принес бумажный стакан с водой из-под крана. Бросив туда три плоские таблетки, Марджи дождалась, когда вода зашипит.

– Будьте, – сказала она и выпила шипучку залпом. – Ну, черт, скорее действуй!

– Я слышал, вы собираетесь сегодня предсказать Мэри ее судьбу.

– О господи! Из головы вон! Всерьез, что ли, мне этим заняться? Тогда бы я и свою судьбу устроила.

– Мэри очень это нравится. А вы в самом деле умеете гадать?

– Тут особого умения не нужно. Наслушаешься, что люди, то есть женщины, говорят о себе, а потом им же все это и выложишь, а они считают тебя пророчицей.

– Ну а про высоких брюнетов?

– И про брюнетов, конечно. Но если бы я умела читать в мужских сердцах, не было бы у меня в жизни таких промахов. Ох-ох-ох! И влопалась же я разочка два!

– Ваш первый муж, кажется, умер?

– Нет, второй, мир праху его, сукину... Ладно, замнем. Мир праху его.

Итен участливо поздоровался с престарелой миссис Ежизински и, стараясь подольше растянуть отпуск четверти фунта масла, даже одобрительно отозвался о погоде, но Марджи Янг-Хант не торопилась уходить, а с улыбкой разглядывала банки паштета с золотыми наклейками и миниатюрные, как футляры для драгоценностей, баночки черной икры на прилавке около самой кассы.

– Ну? – сказала Марджи, когда старуха, с трудом волочившая ноги, вышла из лавки, бормоча что-то себе под нос по-польски.

– Что – ну?

– Да так, вдруг в голову пришло... Если б я знала мужчин так же хорошо, как женщин, можно было бы гадать с вывеской. Поучили бы вы меня, Итен, что такое мужчины.

– Вы и так достаточно их знаете. Может быть, даже больше чем достаточно.

– Вот человек! Чувства юмора, что ли, у вас нет?

– Прикажете сейчас начать обучение?

– Нет, как-нибудь вечером.

– Хорошо, – сказал он. – Кружок. Мэри, вы и двое деток. Тема занятий: мужчины, их слабые стороны, их глупость и как всем этим пользоваться.

Марджи не обратила внимания на его тон.

– Разве так не бывает, что вам приходится просиживать за работой целые вечера? Отчеты к первому числу и прочее тому подобное?

– Бывает. Работу беру на дом.

Она подняла руки над головой и запустила все десять пальцев в волосы.

– Почему? – спросила она.

– Потому что потому оканчивается на «у».

– А вы многому могли бы меня научить?

Итен сказал:

– «И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного Кириянина, по имени Симон, и заставили сего нести крест Его. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит Лобное место...»

– А ну вас!

– Да-да, все так и было.

– Вам известно, что вы настоящий сукин сын?

– Известно, о дочь иерусалимская!

Она вдруг улыбнулась.

– Знаете, что я сделаю? Такого сегодня нагадаю одному человеку, любо-дорого! Вы у меня будете самой что ни на есть важной персоной. Поняли? Чего ни коснетесь, все превратится в золото. Народный глашатай! – Она быстро подошла к двери и, оглянувшись с порога, оскалила зубы в улыбке. – Ну-ка, попробуйте оправдать свою репутацию и попробуйте не оправдать! До свидания, Спаситель! – Как странно звучит цоканье каблучков по тротуару, когда ими отстукивают в ярости.

К десяти часам все изменилось. Распахнулись широкие стеклянные двери банка, и людская речка потекла туда за деньгами, а потом завернула к Марулло и вынесла оттуда разные деликатесы, без которых Пасха не Пасха. Итен чувствовал себя как на водных лыжах – только держись, и продолжалось это до «часа шестого».

Сердитый пожарный колокол на башне ратуши пробил начало часа шестого. Покупатели мало-помалу рассосались, унося с собой пакеты с праздничной снедью. Итен внес в лавку лотки с фруктами, запер входную дверь и без всякой на то причины, а лишь потому, что сделалась тьма по всей земле и в нем самом, спустил плотные зеленые шторы, после чего тьма сделалась и в лавке. Одни только неоновые трубки в холодильнике светили в этой тьме призрачной голубизной.

Зайдя за прилавок, он отрезал четыре толстых куска ржаного хлеба и щедро намазал их маслом. Потом двинул вбок стеклянную дверцу холодильника и взял с одного блюда два ломтика плавленого швейцарского сыра, а с другого – три куска ветчины.

– Сыр и салат, – сказал он. – Сыр и салат. Лезьте на дерево, кому дом маловат. – На верхние куски хлеба густым слоем положен майонез, они придавлены к нижним, выпирающие кромки ветчинного сала и зеленых салатных листьев подровнены. Теперь взять картонку молока и пергаментной бумаги на обертку. Он аккуратно подгибал пергамент с краев, когда во входной двери звякнул ключ и в магазине появился Марулло – широкий в плечах, как медведь, и такой тучный, что руки у него казались непропорционально короткими и не прилегали к бокам. Шляпа у Марулло сидела на самом затылке, а из-под нее торчала жесткая бахрома серо-стальных волос, точно он носил под шляпой еще какую-то шапочку. Глаза у него были со слезой, хитрые и сонные, но золотые коронки на передних зубах сразу блеснули в свете неоновых трубок. Две верхние пуговицы на брюках были расстегнуты, так что виднелись теплые серые кальсоны. Марулло стоял, запустив толстые культипки больших пальцев за брючный пояс, приходившийся как раз под животом, и щурился, привыкая к полутьме.

– С добрым утром, мистер Марулло. Хотя сейчас уже день.

– Здравствуй, мальчуган! Ты поспешил закрыться.

– Весь город закрылся. Я думал, вы слушаете мессу.

– Нет сегодня мессы. Единственный день в году, когда мессы не бывает.

– Вот как? Не знал. Чем могу служить?

Короткие толстые руки вытянулись вперед и несколько раз подряд согнулись в локтях.

– Болят, мальчуган. Артрит... Все хуже и хуже.

– Ничего не помогает?

– Все перепробовал – грелки, акулий жир, пилюли... болит и болит. Тихо, спокойно, дверь на замке. Может, поговорим? А, мальчуган? – Зубы у него снова сверкнули.

– Случилось что-нибудь?

– Случилось? Что случилось?

– Ладно, подождите минуту. Я схожу в банк. Отнесу сэндвичи мистеру Морфи.

– Правильно, мальчуган. Сервис – хорошее дело. Умница.

Итен вышел через кладовую в переулок и постучал в боковую дверь банка. Джой принял от него молоко и сэндвичи.

– Спасибо. Напрасно беспокоились. Я бы сам.

– Это сервис. Так Марулло сказал.

– Поставьте на холод две бутылки кока-колы, идет? У меня от цифр во рту пересохло.

Вернувшись, Итен застал Марулло склонившимся над мусорным баком.

– Где вам угодно говорить со мной, мистер Марулло?

– Начнем здесь, мальчуган. – Он вытащил из мусорного бака листья цветной капусты. – Слишком много срезаешь.

– Так аккуратнее.

– Цветная капуста продается на вес. Швыряешь деньги в мусорный ящик. Я знаю одного умного грека у него, может, двадцать ресторанов. Так вот, он говорит: «Весь секрет в том, чтобы почаще заглядывать в мусорный ящик. Что выброшено, то не продано». Умный грек, хитрый.

– Да, мистер Марулло. – Еле сдерживая нетерпение, Итен вошел в лавку. Марулло следовал за ним по пятам, сгибая и разгибая руки в локтях.

– Овощи спрыскиваешь, как я велел?

– Спрыскиваю.

Хозяин взял с прилавка пучок сельдерея.

– Суховат.

– Слушайте, Марулло! Какого черта? Замачивать их, что ли? И без того на треть воды.

– Если spryskivatsya, они не вялые, а свеженькие. Думаешь, я ничего не знаю? Я с тележки начал – с одной тележки. И все знаю. Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь. Теперь мясо – слишком дорого платишь оптовикам.

– Мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт «А».

– А, Б, В – поди разбери. На ценнике написано, и дело с концом. А вот теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит к пятнадцатому – кредит закроешь.

– Нет, так нельзя. Ведь некоторые лет по двадцать сюда ходят.

– Слушай, мальчуган. Магазины Вулворта самому Джону Д. Рокфеллеру не отпустят в долг даже на пять центов.

– Да, но это надежные люди, почти все надежные.

– Что значит «надежные»? Если не уплатили, значит, деньги не пущены в оборот. Вулворт закупает целыми грузовиками. А мы так не можем. Надо учиться, мальчуган. Верно, хорошие люди. Но деньги тоже хорошая вещь. В баке слишком много обрезков.

– Это сало и кожа.

– Если сначала отвесить, а потом счистить, тогда можно. О себе не мешает подумать. Сам о себе не подумай – кто будет о тебе думать? Учиться надо, мальчуган. – Золотые коронки уже не поблескивали, потому что губы над ними были плотно сжаты, как маленькие ловушки.

Злоба всколыхнулась в Итене так внезапно, что он сам себе удивился.

– Я не мошенник, Марулло.

– А где тут мошенники? Это правильная торговля, а если торговать, так только правильно, не то прогоришь. Ты что думаешь, мистер Бейкер, когда платит по чекам, что-нибудь в придачу дает?

Итена взорвало, как перегретый котел.

– Теперь слушайте, что я вам скажу! – крикнул он. – Хоули живут здесь с середины восемнадцатого века. Вы иностранец. Для вас это пустой звук. Мы всегда ладили с соседями, всегда были порядочными людьми. Вы приехали сюда из Сицилии и воображаете, что вам

удастся повернуть здесь все на свой лад? Нет, ошибаетесь! Прикажете освободить место? Пожалуйста! Хоть сейчас, хоть сию минуту. И не смейте называть меня мальчуганом, не то получите по физиономии.

Теперь у Марулло засверкали все зубы.

– Ну, будет, будет. Вот взбесился. Я же добра тебе хочу.

– Не смейте называть меня мальчуганом. Наша семья живет здесь двести лет. – Эти слова ему самому показались ребячливыми, и его злость мгновенно выдохлась.

– Я не очень правильно говорю по-английски. Ты думаешь, Марулло просто итальяшка, макаронщик, шарманщик. Мои *genitori*^[3], мое имя, может быть, насчитывает две тысячи, три тысячи лет. Мы, Марулло, родом из Рима, о нас сказано у Валериуса Максимуса. Двести лет? Подумаешь!

– Вы нездешний.

– Двести лет назад твои тоже были нездешние.

И вдруг Итен, окончательно остыв, увидел нечто такое, что может заставить человека усомниться в постоянстве данностей внешнего мира. Он увидел, как иммигрант, итальяшка, разносчик фруктов вдруг преобразился точно по волшебству; увидел купол его лба, сухой крючковатый нос, свирепые и бесстрашные глаза в глубоких глазницах, голову, покоящуюся на мускулистой колонне шеи, увидел в нем гордость, такую глубинную и непоколебимую, что ей ничего не стоило играть в смирение. Это было поистине открытие – из тех, что сражают человека и будят в нем мысль: если я вижу это впервые, то сколько же всего прошло в жизни мимо меня!

– Бросьте вы эти разговоры, – тихо сказал он.

– Правильная торговля. Я учу тебя торговать. Мне шестьдесят восемь лет. Жена умерла. Артрит! Очень больно. Хочу научить тебя, как торгуют. Может, ты не научишься? Многие так и не могут научиться. И терпят крах.

– Незачем тыкать мне в нос моим собственным крахом.

– Нет. Ты не понял. Я хочу научить тебя, как правильно торговать, чтобы краха больше не было.

– И вряд ли будет. Своей торговли у меня нет.

– Ты еще мальчуган.

Итен сказал:

– Слушайте, Марулло. Если уж на то пошло, так я веду за вас все дело. На мне бухгалтерия, заказы, я вношу выручку в банк. Стараюсь сохранить клиентуру. От меня к другим не уходят. Разве правильная торговля заключается не в этом?

– Да, да! Кое-чему ты все-таки научился. Ты больше не мальчуган. Бесишься, когда я называю тебя мальчуганом. Как же мне тебя называть? Я всех так называю.

– Попробуйте по имени.

– По имени – не чувствуешь дружбы. Мальчуган – по-дружески.

– Несolidно.

– Где солидно, там нет дружбы.

Итен рассмеялся.

– Когда работаешь продавцом в лавке у макаронщика, надо соблюдать солидность – ради жены, ради детей. Согласны?

– Показное.

– Конечно, показное. Будь во мне хоть капля истинной солидности, я бы ни о чем таком не думал. Не мешало бы вспомнить, что говорил мой отец незадолго до смерти. Он говорил, что уязвимость находится в зависимости от интеллекта, от чувства уверенности в себе. Слова «сукин сын», говорил он, могут уязвить только того, кто не уверен в своей матери. А, скажем, Альберт Эйнштейн, – он был еще жив тогда, – чем и как его уязвишь? Так что, пожалуйста, можете называть меня мальчуганом, если желаете.

– Мальчуган. Сам видишь, это по-дружески.

– Ну ладно. Что вы там хотели мне сказать насчет торговли? Чего я такого не умею?

– Торговля – это деньги. Деньги и дружба – совсем разное. Слушай, мальчуган. Может, ты слишком по-дружески, слишком приветливый? Деньги и приветливость – это совсем разное. Деньгам нужна не дружба, а еще и еще деньги.

– Вздор, Марулло. Мало ли я знаю дельцов, которые и приветливы, и дружелюбны, и вообще достойные люди.

– Когда дело в стороне – да. Ты, мальчуган, сам узнаешь. А когда узнаешь, будет поздно. Сейчас ты справляешься, в лавке все хорошо, но если она будет твоя, ты по дружбе и прогоришь. Я тебя учу, как в школе. Прощай, мальчуган. – Марулло согнул руки в локтях и, быстро

выйдя из лавки, хлопнул дверью, и тогда Итен почувствовал всю тяжесть тьмы, сделавшейся по всей земле.

В дверь резко постучали чем-то металлическим. Итен отдернул штору и сказал:

– Перерыв до трех.

– Впустите меня. Я к вам по делу.

Незнакомец вошел в лавку – сухопарый, с виду вечно молодой человек, который никогда молодым не был; щеголеватый костюм, матово поблескивающие, гладко прилизанные волосы, взгляд веселый, беспокойный.

– Извините за вторжение. Но мне скоро уезжать. Хотел поговорить с вами наедине. Думал, старик никогда не уйдет.

– Марулло?

– Да. Я следил с улицы.

Итен взглянул на его белые руки. На среднем пальце левой он увидел крупный кошачий глаз в золотой оправе.

Незнакомец перехватил его взгляд.

– Не налетчик, – сказал он. – Я познакомился вчера с одним человеком, который хорошо вас знает.

– Да?

– Миссис Янг-Хант. Марджи Янг-Хант.

– А-а!

Итен чувствовал, как этот человек будто принохивается к нему, второпях ищет ход, точку соприкосновения, чтобы завязать какой-то узелок.

– Славная бабенка. Расхвалила мне вас – дальше некуда. Вот я и подумал... Моя фамилия Биггерс. Ваш город в моем участке. Я от «Б. Б. Д. и Д.».

– Мы закупаем у Вэйландса.

– Знаю, знаю. Поэтому я и зашел к вам. Думал, может, вы захотите несколько расширить свои связи. Мы в вашем городе новички. Но осваиваем его быстро. Приходится делать кое-какие поблажки, чтобы зацепиться. Вам тоже было бы небезынтересно.

– Поговорите с Марулло. Он всегда вел дела только с Вэйландсом. Голос не стал тише, но в нем появились вкрадчивые нотки.

– Заказы – это ваша обязанность?

– Да, моя. Марулло страдает артритом, а кроме того, у него много других дел.

– Мы могли бы чуточку скостить цены.

– По-моему, Марулло и так скостили сколько можно. Да вы сами с ним поговорите.

– Как раз этого я и не хочу. Мне нужен тот, кто делает заказы, то есть вы.

– Я простой продавец.

– Но заказы делаете вы, мистер Хоули. А что, если нам удастся выгадать пять процентов? Я могу это устроить.

– Марулло вряд ли откажется от такой скидки, если она не отразится на качестве товара.

– Нет, вы меня не поняли. Марулло тут ни при чем. Эти пять процентов будут наличными – никаких чеков, никакой отчетности, никаких неприятностей из-за налогов. Самые что ни на есть свеженькие зеленые листики перейдут из моей руки в вашу, а из вашей руки к вам в карман.

– Почему же Марулло не может получить у вас скидку?

– Соглашение об оптовых ценах.

– Так. Ну, а предположим, я соглашусь на эти пять процентов и буду отдавать их Марулло?

– Мало же вы их знаете, этих лавочников, а я знаю вдоль и поперек. Пять процентов он от вас примет и будет думать: а сколько вы прикарманили? И вполне естественно.

Итен понизил голос:

– Вы предлагаете мне надувать человека, у которого я работаю?

– Где же тут надувательство? Он ничего не теряет, а вы немножко подрабатываете. Подрабатывать каждый имеет право. Марджи мне говорила, что вы малый не промах.

– Тьма какая! – сказал Итен.

– Да нет. Просто у вас шторы спущены. – Принюхиванье донесло сигнал опасности – так суетится мышь, чую запах проволоки в мышеловке и аромат сыра. – Знаете что, – сказал Биггерс, – вы подумайте на досуге. Может, и подбросите нам кое-какие заказы. А я в следующий свой приезд к вам загляну. Я каждые две недели сюда езжу. Вот моя карточка.

Рука Итона не протянулась. Биггерс положил карточку на холодильник.

– А вот это скромный сувенир, который мы дарим нашим новым друзьям. – Он вынул из бокового кармана бумажник – дорогой, красивый, мягкой кожи. Бумажник лег на белую эмаль рядом с карточкой. – Недурная вещица. С отделениями для водительских прав и для клубной карточки.

Итен молчал.

– Так я загляну недели через две, – сказал Биггерс. Подумайте. А мне здесь непременно надо быть. Свидание с Марджи. Хороша бабенка. – И не дождавшись ответа: – Не провожайте меня. До скорого. – Потом вдруг подступил к Итену вплотную. – Не валяйте дурака. Все так делают, – сказал он. – Все! – И вышел быстрыми шагами, бесшумно притворив за собой дверь.

В темной тишине Итену была слышна глухая воркотня трансформатора для неоновых трубок в холодильнике. Он медленно повернулся к своей тесно сидящей, многоярусной аудитории.

– Я считал вас друзьями! А вы хоть бы пальцем шевельнули в мою защиту. Вероломные устрицы, вероломные пикули, вероломная мука для оладий. Не слышать вам больше про одинокума. Интересно, что сказал бы Франциск Ассизский, если бы его укусила собака или птичка накакала бы ему на макушку? Поблагодарил бы: «Спасибо, уважаемый пес, grazie tanto^[4], синьора птичка»? – Он повернул голову, услышав стук, грохот, барабанную дробь в дверь с переулка, и быстро прошел через кладовую, ворча на ходу: – Отбоя нет. Когда открыто, и то спокойнее.

Ввалился Джой Морфи, держа руку у горла.

– Ради господ бога! – простонал он. – На помощь!.. Или дайте хотя бы пепси-колы, ибо – ох! – весь пересох. Почему здесь такая темнотища? Или очи мои поразила слепота?

– Шторы спущены. Чтобы жаждущим банкирам было неповадно сюда бегать.

Итен подошел к холодильнику, достал оттуда заиндевевшую бутылку, сорвал с нее колпачок и полез за второй.

– Я, пожалуй, тоже выпью.

Джой-бой прислонился к освещенному стеклу и отпил сразу полбутылки.

– Эх! – сказал он. – Кто-то забыл свою казну. – И взял бумажник с прилавка.

– Это скромный подарочек от коммивояжера «Б.Б.Д. и Д.». Старался перехватить кое-что из наших заказов.

– Видно, есть из-за чего стараться. Он вас не орешками угостил. Эта вещь не из дешевеньких. Даже с вашей монограммой – золотом.

– Вот как?

– Вы разве не видели?

– Да он только что ушел.

Джой просунул пальцы между кожаными боками бумажника и стал перебирать прозрачные целлофановые отделенница для документов.

– Скорей вступайте в какой-нибудь клуб, – сказал он. Потом открыл задний кармашек. – Вот это называется чуткий подход. – Он извлек оттуда зажатую между указательным и средним пальцем двадцатидолларовую бумажку. – Я чувствовал, что «Б.Б.Д. и Д.» ведут осаду нашего города, но чтобы сразу двинуть танки!.. Да! Такой сувенирчик не забудешь.

– Это в самом деле там лежало?

– Что же, я, что ли, подсунул?

– Джой, слушайте! Этот тип обещает мне пять процентов от каждого заказа, переданного их фирме.

– Шика-арно! Вот и разбогатеете, и давно пора! Если обещает, значит, сделает. Выставляйте кока-колу. Ради такого дня.

– Неужели вы считаете, что я должен пойти на...

– А что тут плохого? Ведь цены не повысятся? И кто от этого теряет?

– Он не велел говорить Марулло, не то Марулло подумает, будто я получаю больше.

– Ну, само собой. Хоули, да что с вами? Совсем рехнулись? Это, наверно, освещение такое. Физиономия у вас какая-то зеленая. А я тоже позеленел? Уж не собираетесь ли вы отказываться?

– Я еле удержался, чтобы не дать ему пинка в зад.

– Ну кто еще на такое способен? Только вы да динозавры.

– Он сказал, все так делают.

– Нет, не все. Потому что не всем удастся. Считайте, что вам здорово повезло.

– Это нечестно.

– Почему? Кому это во вред? Что тут противозаконного?

– Значит, вы бы согласились?

– Согласился? Да я стал бы на задние лапки, только дайте! В нашем деле все лазейки закрыты. В сущности говоря, если ты простой банковский служащий, а не директор, так для тебя любое ухищрение противозаконно. А вас я решительно не понимаю. Что вы тут мудрите? Если бы вы обирали вашего Альфио, я бы сказал, что это не совсем порядочно. Но ведь дело обстоит не так. Вы оказываете им любезность, они оказывают вам. А их любезность эдакая хрустящая, зелененькая. Не будьте идиотом. У вас жена, дети – надо и о них подумать. Воспитание детей что-то не дешевет, и не предвидится, чтобы подешевело.

– Пожалуйста, уйдите отсюда.

Джой Морфи со стуком опустил на прилавок недопитую бутылку.

– Мистер Хоули... Нет!.. мистер Итен Аллен Хоули, – ледяным тоном сказал он. – Если вы думаете, что я способен совершить бесчестный поступок или вас на это подтолкнуть, подите вы знаете куда!

Джой с величественным видом зашагал к дверям кладовой.

– Да нет, я не то хотел сказать. Совсем не то. Джой! Честное слово! Просто у меня сегодня и без того тяжелый день, то одно, то другое. И потом – этот ужасный праздник. Ужасный праздник!

Морфи остановился.

– То есть как? А, да! Понимаю. Я все понимаю. Вы верите мне?

– И так каждый год, с раннего детства... только год от году мне все тяжелее, потому... наверно, потому, что понятнее. Я слышу эти слова, и в них звучит такое одиночество: «Lama sabach thani»^[5].

– Знаю, Итен, знаю. Но теперь уже скоро, уже недолго осталось, Итен. Забудьте мою вспышку, ладно?

И железный пожарный колокол ударил на башне ратуши – единственный раз.

– Кончилось, – сказал Джой-бой. – Теперь все, до следующего года. – Он тихонько вышел в переулок, без стука притворив за собой дверь.

Итен поднял шторы и снова открыл лавку, но торговля в эти часы шла вяло, – несколько картонок молока и кирпичиков хлеба

ребятишкам, маленькая баранья отбивная и банка зеленого горошка мисс Борчер к ужину. Люди просто не показывались на улице. За последние полчаса, пока Итен прибирал перед закрытием, к нему никто даже не заглянул. И он запер лавку и уже вышел на улицу, как вдруг вспомнил, что ничего не взял для дома. Пришлось вернуться, набрать две бумажные сумки всяких продуктов и снова все запереть. Ему хотелось спуститься к набережной, поглядеть, как серые волны колышутся там среди свай пристани, вдохнуть запах морской воды, поговорить с чайкой, которая – клюв по ветру – стояла на буйке. Он вспомнил стихотворение одной поэтессы, когда-то давным-давно пришедшей в экстаз при виде скользящей спирали чайкиного полета. Стихотворение начиналось так: «В тоске иль в счастье крылами веешь, стихии дочь?» Вопросы этого поэтесса так и не выяснила, да, вероятно, и не стремилась выяснить.

С двумя тяжелыми сумками в руках, полными праздничных закупок, было не до прогулки. Итен усталыми шагами прошел по Главной улице и свернул на свою Вязовую к старинному дому семьи Хоули.

Глава II

Мэри отошла от плиты и взяла у него одну сумку.

– Мне столько всего нужно тебе рассказать. Просто не терпится.

Он поцеловал ее, и она почувствовала, какие у него сухие губы.

– Что с тобой? – спросила она.

– Устал немножко.

– Но у тебя же было три часа перерыва.

– Мало ли там дел.

– Надеюсь, ты не в миноре?

– Такой уж день – минорный.

– Нет, день сегодня замечательный. Подожди, ты еще ничего не знаешь...

– Где ребята?

– Наверху, слушают радио. У них тоже есть новости.

– Что-нибудь неприятное?

– Ну, почему ты так говоришь!

– Сам не знаю.

– Ты плохо себя чувствуешь?

– Да нет! Вот пристала!

– Такие радостные новости – нет, подожду до послеобеда. Ну, ты у меня и удивишься!

Аллен и Мэри-Эллен кубарем скатились вниз по лестнице в кухню.

– Пришел! – сказали они.

– Папа, у тебя в магазине есть «Пикс»?

– Корнфлекс? Конечно, есть, Аллен.

– Принесешь нам несколько коробок, а? Это те самые, где надо вырезать маску Микки-Мауса.

– Не великоват ли ты для Микки-Мауса?

Эллен сказала:

– Крышку с коробки срезают, потом надо приложить десять центов, и они пришлют такую штуку для чревовещания и как ею пользоваться. Только что передавали по радио.

Мэри сказала:

– Расскажите папе, что вы собираетесь делать.

– Мы хотим участвовать во всеамериканском конкурсе на сочинение «Я люблю Америку». Первая премия – поездка в Вашингтон, встреча с президентом, и родители тоже. И вагон всяких других премий.

– Прекрасно! – сказал Итен. – Но о чем речь? Что от вас требуется?

– Это херстовские газеты! – крикнула Эллен. – Объявили по всей стране. Надо написать сочинение на тему «За что я люблю Америку». Кто получит премии, тех будут показывать по телевизору.

– Блеск! – крикнул Аллен. – Скажешь, плохо? Поездка в Вашингтон, гостиница, театры, к президенту и мало ли чего еще! Скажешь, не блеск?

– Скажу: а школа?

– Это летом. Премии объявят четвертого июля, в День независимости.

– Ну что ж, тогда пожалуйста. А на самом деле что вы любите – Америку или премии?

– Слушай, отец, – сказала Мэри. – Не порть им удовольствия.

– Я просто хочу отделить корнфлекс от Микки-Мауса. А они все валят в одну кучу.

– Папа, а где это можно взять?

– Что где взять?

– Ну, вроде кто чего об этом писал.

– У твоего прадеда было много хороших книг. Они на чердаке.

– Какие? Про что там?

– Ну, например, речи Линкольна, и Дэниела Уэбстера, и Генри Клея. Можешь полистать Торо, или Уолта Уитмена, или Эмерсона. Да и Марка Твена. Они все там на чердаке.

– Папа, а ты сам их читал?

– Твой прадед был мой дед. Он читал мне вслух кое-когда.

– Ты сможешь нам писать сочинения?

– Тогда они будут не ваши.

– Ну ладно, – сказал Аллен. – Только не забудь принести «Пиксов». В них ведь железо и много всего полезного.

– Постараюсь не забыть.

– Можно, мы пойдем в кино?

Мэри сказала:

– Вы же собирались красить пасхальные яйца. Они уже варятся. После обеда можете заняться этим на южной террасе.

– А можно, мы пойдем на чердак посмотрим книги?

– Если не забудете погасить электричество. Однажды там целую неделю горел свет. Это ты не выключил, Итен.

Когда дети убежали, Мэри сказала:

– Ты рад, что они будут участвовать в конкурсе?

– Конечно, рад, пусть только займутся этим как следует.

– Мне просто не терпится рассказать тебе. Марджи сегодня гадала на меня. Три раза подряд, потому что у нее никогда в жизни так не было. Три раза! Я сама видела, какая шла карта!

– О господи!

– Сначала послушай, а потом будешь говорить. Вот ты вечно подшучиваешь насчет высоких брюнетов, а знаешь, что она мне нагадала? Никогда не догадаешься! Ну попробуй!

Он сказал:

– Мэри, я тебя предупреждаю...

– Предупреждаешь? Да если бы ты знал! Мое богатство – это ты.

Он буркнул себе под нос короткое злое слово.

– Что ты сказал?

– Я сказал: невелико богатство.

– Это ты так думаешь, а карты думают совсем по-другому. Она три раза подряд раскладывала.

– Карты думают?

– Карты все знают, – сказала Мэри. – Она на меня гадала, а выходило все про тебя. Ты будешь одним из самых важных людей в городе. Слышишь, что я говорю? Одним из самых важных. И это скоро сбудется. Совсем скоро. Какую карту она ни выкладывала, всё деньги и деньги. Ты разбогатеешь.

– Мэри, дорогая, – сказал он. – Прошу тебя, остерегись!

– Ты выгодно поместишь деньги.

– Какие деньги?

– Деньги моего брата. Какие же еще!

– Нет! – крикнул он. – Я этих денег не трону. Они твои и так и останутся твоими. Ты сама это придумала или...

– Она ни словом о них не обмолвилась. И карты тоже ничего такого не говорили. В июле ты выгодно поместишь деньги, и с этого

все и начнется – одна удача за другой, одна за другой. И как это хорошо получилось! Она так и сказала: «Ваше богатство – это Итен. Он будет очень богатый человек, может быть, самый важный во всем городе».

– Чтоб ей пусто было! Какое она имеет право?

– Итен!

– Отдает она себе отчет в том, что делает? А ты отдаешь себе отчет?

– Я хорошая жена, а она мой хороший друг – вот в чем я отдаю себе отчет. И мне не хочется затевать с тобой ссору, когда нас слышат дети. Марджи самая моя близкая подруга. Я чувствую, она тебе неприятна. Значит, ты ревнуешь меня к моим друзьям – вот и все. Я весь день радовалась – так нет, надо все испортить! Это очень нехорошо с твоей стороны. – От разочарования и досады лицо у Мэри пошло пятнами, ей хотелось отомстить за эту помеху ее снам наяву. – Скажите какой умник нашелся! Сидит здесь и разносит людей на все корки. Ты воображаешь, что Марджи это подстроила? Вот и нет, потому что я все три раза сама снимала. Но если б даже она подстроила, так зачем? По-моему, только из добрых чувств к нам, по дружбе, из желания хоть как-то помочь. А по-твоему, умник? Ну, придумай какую-нибудь гадость, придумай!

– Придумал бы, если бы мог, – сказал он. – Вернее всего, она просто интриганка. Ничем не занята, мужа нет. Вот и взялась плести интриги.

Мэри понизила голос и заговорила презрительным тоном:

– Много ты смыслишь в интригах! Столкнешься с настоящей интригой вплотную – и то ничего не поймешь. Знал бы ты, что бедной Марджи приходится терпеть! У нас в городе есть мужчины, которые буквально не дают ей проходу. Известные люди, женатые, а навязываются, пристают. Отвратительно! Марджи иной раз просто не знает, куда от них деваться. Поэтому она так и нуждается во мне, вообще в женской дружбе. Чего только я от нее не наслушалась! Кто! Какие люди! Ты в жизни бы не поверил. Некоторые даже притворяются в обществе, будто она им не нравится, а сами тайком бегают к ней или звонят по телефону, пытаются назначить свидание. Противные ханжи! На словах за высокую нравственность, а на деле... А ты говоришь – интриганка.

– Она называла тебе какие-нибудь имена?

– Нет, не называла, и это тоже в ее пользу. Марджи никому не хочет вредить, хотя сама ото всех терпит. Она только говорила, что про одного человека я бы в жизни не поверила. «Да вы, – говорит, – поседете, если вам сказать».

Итен набрал полную грудь воздуха, задержал его и шумно перевел дух.

– Интересно, кто бы это мог быть? – сказала Мэри. – Она прямо-таки намекала, что это кто-то из наших знакомых, но мы бы про него никогда не поверили.

– И при соответствующих обстоятельствах от намеков перешла бы к фактам? – тихо сказал Итен.

– Только если бы ее вынудили. Она сама так говорит. Только если бы пришлось в защиту... э-э... ее чести и доброго имени... Как ты думаешь, кто это?

– По-моему, я знаю.

– Знаешь? Ну кто?

– Я.

Мэри разинула рот.

– Фу! Дурак! – сказала она. – Вечно ты меня на чем-нибудь подлавливаешь. Стоит мне зазеваться – и конец. Но лучше так, чем когда ты в миноре.

– Сенсация! Муж признается жене в преступной связи с ее лучшей подругой. Она поднимает его на смех.

– Нехорошо так говорить.

– Муж, вероятно, должен был бы от всего отпереться. Тогда по крайней мере жена удостоила бы его своими подозрениями. Родная моя, клянусь тебе всеми святыми: я ни словом, ни делом не повинен в заигрывании с Марджи Янг-Хант. Ну, теперь ты поверишь, что я тебе изменяю?

– Ты?

– Значит, по-твоему, я недостаточно хорош, недостаточно привлекателен? Другими словами – кишка тонка?

– Ты прекрасно знаешь, что я не прочь пошутить, но это совершенно неподходящая тема для шуток. Ах, господи, вдруг дети там начнут лазить по сундукам! Разбросают и не подумают убрать.

– Я сделаю еще одну попытку, моя прелестная жена. Некая женщина, ее инициалы М.Я.-Х., со всех сторон обставила меня ловушками по причинам, кроме нее никому неизвестным. Мне грозит серьезная опасность попасть в одну из них, а может, не только в одну.

– Почему ты не подумаешь о будущем? Карты сказали – в июле, – и так вышло три раза подряд. Я сама видела. У тебя будут деньги, большие деньги. Подумай об этом.

– Неужели ты так любишь деньги, зайчонок?

– Люблю ли я деньги? Как это понимать?

– Неужели тебе так уж нужны деньги, что ради них можно заниматься черной магией, шаманством, колдовством и прочими темными делишками?

– Ну, пеняй на себя! Ты первый начал! Я не позволю тебе прятаться за этими словесами. Люблю ли я деньги? Нет, деньги я не люблю. Но вечные заботы я тоже не люблю. Мне хочется высоко держать голову в нашем городе. Мне не хочется, чтобы мои дети чувствовали себя хуже других, потому что они не могут одеваться, как... ну, как некоторые. Мне хочется высоко держать голову.

– И деньги послужат подпоркой для твоей головы?

– Они сотрут презрительные усмешки с физиономий твоих спесивых друзей.

– Над Хоули никто не насмехается.

– Это только ты так думаешь. Ты просто ничего такого не видишь.

– Может быть, я просто ничего такого не жду, потому и не вижу.

– Ты что же, хочешь убить меня своими распрекрасными Хоули?

– Нет, родная. Теперь такое оружие несколько устарело.

– Слава богу, что хоть это ты усвоил. В нашем городе, да и не только в нашем, простой продавец из рода Хоули – это всего-навсего простой продавец.

– Ты попрекаешь меня моими неудачами?

– Нет. Конечно, нет. Но я попрекаю тебя тем, что ты погряз в своих неудачах. Ведь если бы не твои старомодные, выпретенные понятия, ты давно бы выкарабкался на поверхность. Над тобой все потешаются. Благородный джентльмен без денег все равно что босяк. – Это слово будто вырвалось у нее само собой, и она пристыженно замолчала.

– Что ж поделаешь, – сказал Итен. – Но ты преподавала мне урок, кроличий мой хвостик. И даже не один, а целых три. Есть, как видно, три вещи, которым никто не верит. Не верят в правду, не верят в то, что вполне возможно, и в то, что вполне логично. Теперь я знаю, где достать деньги, те самые, что повернут мою судьбу.

– Где?

– Ограблю банк.

На плите начал отрывисто позванивать колокольчик регулятора.

Мэри сказала:

– Пойди позови детей. У меня все готово. И вели им потушить там свет.

Она прислушалась к его удаляющимся шагам.

Глава III

Моя жена, моя Мэри засыпает сразу, как будто за ней захлопнулась дверь. Я часто смотрю на нее с завистью. С минуту она возится под одеялом, словно прилаживаясь к кокону, обвинившему ее грациозное тело. Потом глубоко вздыхает, и к концу вздоха глаза у нее уже закрыты, а на губах безмятежная и загадочная улыбка греческого божества. Так она и спит всю ночь, улыбаясь, и во сне мурлычет, не похрапывает, а именно мурлычет, как котенок. Вдруг ее бросает в жар, так что я даже ощущаю это, лежа рядом, но в следующее мгновение все прошло и она уже где-то далеко-далеко. Я не знаю где. Она уверяет, что никогда не видит снов. Этого не может быть, конечно. Просто сны не тревожат ее или тревожат так сильно, что она забывает их до того, как проснется. Она любит спать, и сон ей дается без усилий. Не то что я. Я всегда борюсь со сном, как бы отчаянно ни хотелось мне уснуть.

Я думаю, дело тут вот в чем: моя Мэри убеждена, что будет жить вечно, что ступит из этой жизни в другую так же легко и просто, как сейчас переходит от ночи к дню. Она верит в это подобно тому, как дышит, естественно, не размышляя. И потому ей некуда спешить, можно и спать, и отдыхать, и вовсе выключиться на время из существования.

А я весь, до мозга костей, пропитан сознанием, что рано или поздно моей жизни придет конец, и потому я гоню от себя сон, хотя в то же время жажду его, пускаюсь даже на всякие уловки, чтобы уснуть. И засыпаю я всегда с болью, с мучением. Я знаю это, потому что мне случалось просыпаться через секунду, еще чувствуя себя оглушенным, как от удара. И даже во сне я не знаю покоя. Меня одолевают все те же дневные заботы, только в искаженной форме – точно хоровод ряженных, в звериных масках и с рогами.

Я трачу на сон гораздо меньше времени, чем Мэри. Она говорит, что у нее потребность много спать, и я соглашаюсь, что у меня такой потребности нет, хотя на самом деле я в этом далеко не уверен. В каждом организме заложен известный запас жизненной энергии – конечно, пополняемый за счет пищи. Есть люди, которые свой запас расходуют быстро, вроде того как иной ребенок спешит разгрызть и

проглотить леденец, а другие делают это не торопясь. И всегда находится какая-нибудь девчушка, которая еще только разворачивает леденец, когда торопыги о нем и думать забыли. Моя Мэри, вероятно, будет жить гораздо дольше меня. Она приберегает часть своей энергии на потом. Факт, что женщины живут дольше мужчин.

Мне всегда не по себе в Страстную пятницу. Еще в детские годы у меня сжималось сердце, когда я думал – не о крестных муках, нет, но о нестерпимом одиночестве Распятого. И до сих пор я не освободился от тоски, которую поселяли во мне слова Матфея, сухо отщелкиваемые голосом моей тетушки Деборы из Новой Англии.

Нынешний год тоска особенно сильна. Невольно ведь переносишь все на себя, и кажется, это о тебе идет речь. Сегодня Марулло раскрыл передо мной тайны бизнеса, и я только впервые понял многое. А вслед за тем мне впервые предложили взятку. Это даже смешно сказать, в моем-то возрасте, но я, право, не припомню другого такого случая. Потом еще Марджи Янг-Хант. Добро или зло у нее на уме? Что ей нужно от меня? Не зря ведь она посулила мне что-то и требует, чтобы я не отказывался от своей судьбы, иначе мне плохо будет. Может ли человек сам надумать свою жизнь или он должен просто жить, как живется?

Много ночей я провел не смыкая глаз, под сонное мурлыканье моей Мэри. Когда долго глядишь в темноту, перед глазами начинают расплываться красные пятна и время тянется бесконечно. Мэри так любит спать, что я всегда стараюсь оберегать ее сон, даже когда у меня словно электрический ток бежит по коже. Стоит мне спустить ноги с кровати, она тотчас же просыпается. Ее это пугает. Она знает только одно объяснение бессонницы – болезнь, и если я не сплю, ей кажется, что я болен.

Но в эту ночь меня так и тянуло встать и выйти из дому. Мэри тихо мурлыкала, и на ее губах, как всегда, играла та архаическая улыбка. Может быть, ей снилась удача, снилось богатство, ожидавшее меня впереди. Мэри не чужда гордыни.

Странное дело, почему вдруг человек уговаривает себя, что в определенном месте ему думается лучше. У меня есть такое место. С давних времен есть, хотя, по правде сказать, я не так уж много думаю, когда бываю там, больше отдаюсь чувствам, переживаниям,

воспоминаниям. Это мое тайное убежище – у каждого, верно, есть такое, только никто в этом не признается.

Осторожным, крадущимся движением скорей разбудишь спящего, чем нормальным и естественным. Кроме того, я убежден, что во сне люди могут проникать в чужие мысли. Я стал внушать себе, что мне нужно в уборную, и, когда это удалось, поднялся и вышел. А из уборной я потихоньку спустился вниз, захватив с собой одежду, и в кухне оделся.

Мэри часто винит меня в том, что я болею душой за несуществующие чужие беды. Может быть, она и права, но мне вдруг представилось, как она просыпается и, не найдя меня ни в спальне, ни в кухне, ходит в испуге по всему дому. Я взял карандаш и написал на листке из книги домашних расходов: «Родная, мне не спалось, и я решил пройтись. Скоро вернусь». Листок я положил на середину стола, так чтобы он сразу бросился ей в глаза, как только она включит свет в кухне.

Потом я отворил кухонную дверь и потянул носом воздух. Было холодно, пахло морозным инеем. Я поднял воротник пальто и надвинул на уши вязаную матросскую шапку. Электрические часы в кухне жужжали. Они показывали без четверти три. Значит, почти четыре часа я лежал и смотрел, как расплываются в темноте красные пятна.

Наш Нью-Бэйтаун – красивый город, старый город, один из первых в Америке, заслуживших название города. Его основатели, в том числе мои предки, были, наверно, сыновьями тех буйных, шальных, вероломных стяжателей-моряков, что при Елизавете смущали покой Европы, при Кромвеле хозяйничали в Вест-Индии и наконец, заручившись грамотами вернувшегося на престол Карла Стюарта, свили гнездо на северном побережье. Они с успехом сочетали в себе пиратов и пуритан, которые, если разобраться поглубже, не так уж сильно отличались друг от друга. И те и другие были нетерпимы к противникам, и те и другие зарились на чужое добро. Их союз породил выносливое, крепкое обезьянье племя. Обо всем этом я знаю из рассказов отца. Он был большой любитель семейной истории, а я замечал, что любители семейной истории редко обладают качествами предков, которыми они гордятся. Мой отец был добрый, мягкий человек, весьма начитанный и весьма непрактичный,

простак с редкими проблесками мудрости. В одиночку он ухитрился растерять почти все, что за несколько столетий накопили Хоули и Аллены: землю, деньги, положение, перспективы, – все, за исключением имени; впрочем, только именем он и дорожил. Отец любил просвещать меня насчет того, что он называл «наследием поколений». Поэтому мне так много известно о наших предках. И поэтому же, должно быть, я теперь служу продавцом в лавке бакалейщика-сицилийца, в квартале, который некогда весь принадлежал семейству Хоули. Я хотел бы не принимать этого к сердцу, но не могу. Не кризис, не тяжелые времена сокрушили нас.

Все это не пришло бы мне сейчас в голову, не скажи я, что Нью-Бэйтаун красивый город. Я пошел по Вязовой не налево, а направо и очень скоро очутился на улице Порлок, которая тянется почти параллельно Главной. Крошка Вилли, наш толстяк полицейский, наверняка дремлет сейчас в полицейской машине где-нибудь посреди Главной улицы, а у меня нет ни малейшего желания вступить с ним в беседу. «Откуда так поздно, Ит? Уж не завели ли вы себе красотку?» Крошке Вилли скучно, и он любит поговорить с прохожим, а потом порассказать другим, о чем был разговор. Немало досадных сплетен пошло гулять по городу только из-за того, что Крошка Вилли скучает на ночном дежурстве. Полицейского, который дежурит днем, зовут Стонуолл Джексон Смит. Это не прозвище. Так его нарекли при крещении – Стонуолл Джексон^[6], и теперь уж его не спутаешь с каким-нибудь другим Смитом. Не знаю почему, но если в городе двое полицейских, то они всегда полная противоположность один другому. Стони Смит, если вы его спросите, какой сегодня день, ответит вам только разве на суде под присягой. Смит – главная полицейская власть в городе, он предан делу, в курсе всех новейших методов и прошел специальную школу ФБР в Вашингтоне. На мой взгляд, это образец полицейского: высокий, молчаливый, глаза посверкивают, точно кусочки металла. Всякому, кто замышляет преступление, я бы посоветовал держаться подальше от Стони.

Все это не пришло бы мне в голову, не сверни я к Порлоку, чтобы избежать встречи с Крошкой Вилли. Порлок – улица, где стоят самые красивые дома в Нью-Бэйтауне. Дело в том, что в начале девятнадцатого столетия у нас тут было больше сотни китобойных судов. Проплавав год-два где-нибудь в Антарктиде или Южно-

Китайском море, эти суда возвращались с ценнейшим грузом китового жира. А так как по дороге им случалось заходить в чужеземные гавани, то, кроме груза, они привозили заморские диковины и заморские идеи. Вот почему в домах на Порлоке так много китайских вещей. К тому же некоторые из этих старых шкиперов-судовладельцев обладали хорошим вкусом. Денег у них было много, и, собираясь строить дом, они выписывали архитекторов из Англии. Вот почему на улице Порлок так чувствуется влияние Роберта Адама и архитектуры классицизма. Такова была тогдашняя мода в Англии. Но наряду с полуциркульными окнами, каннелюрами и дорическими колоннами в каждом доме непременно имелась «вдовья дорожка» на крыше, откуда, по идее, верные жены могли всматриваться в даль, ожидая возвращения кораблей. Иногда, возможно, так и бывало. Но, Хоули, а также Филлипсы, Элгары и Бейкеры – более старые семьи. Все они как жили, так и живут на Вязовой, в домах так называемого раннего американского стиля, с островерхими крышами и обшивкой из корабельного теса. И наш дом, старый дом Хоули, тоже такой. А кругом растут исполинские вязы, которым столько же лет, сколько и домам.

На Порлоке сохранились газовые фонари, только в них теперь вставлены электрические лампочки. Летом сюда съезжаются туристы полюбоваться городской архитектурой, вдохнуть, как они выражаются, «аромат старины». А разве только старина обладает приятным ароматом?

Не помню уже, при каких обстоятельствах Хоули породнились с вермонтскими Алленами. Это произошло вскоре после революции 1776 года. При желании было бы нетрудно проверить. Среди бумаг на чердаке наверняка есть какие-нибудь свидетельства на этот счет. Когда умер мой отец, Мэри уже была по горло сыта историей семейства Хоули, и я вполне сочувственно отнесся к ее предложению снести все бумаги на чердак. Чужая семейная история не так уж занимательна. Мэри даже не уроженка Нью-Бэйтауна. Ее родные ирландского происхождения, но не католики. Последнее обстоятельство она всегда подчеркивает. Мы ольстерцы, говорит она. Сюда она приехала из Бостона.

Впрочем, нет. Я привез ее из Бостона – это будет вернее. Так ясно, будто это происходит сейчас, вижу нас обоих: пугливый,

нервничающий младший лейтенант Хоули в трехдневном отпуске и милая, трогательная, розовая и душистая девочка, вдвойне прелестная благодаря юности и войне. Как серьезные, как неумолимо серьезные мы были! Меня убьют, а она всю жизнь будет верна памяти павшего героя. Все точно так же, как еще у миллионов оливковых мундиров и пестрых ситцевых платьев. И все легко могло кончиться обычной отставкой: «Милый Джон...» – и так далее. Но Мэри и в самом деле оказалась верна своему герою. Ее письма – голубые конверты, синие чернила, круглый четкий почерк – с трогательной неизменностью следовали за мной всюду; вся моя рота узнавала их издали, и все почему-то радовались за меня. Даже если бы я не собирался жениться на Мэри, ее постоянство заставило бы меня сделать это во славу вековой мечты о прекрасных и верных женщинах.

Она не изменилась и тогда, когда пришлось оторваться от родной ирландско-бостонской почвы ради старого дома Хоули на Вязовой улице. Ее ничто не могло изменить – ни постепенный упадок в моих делах, ни рождение детей, ни беспросветность нашего теперешнего существования, с тех пор как я тяну лямку продавца в бакалейной лавке. Она из тех, кто умеет терпеливо ждать, я это знаю. Но сейчас, мне кажется, и ее долготерпение стало понемножку иссякать. Никогда прежде она ничем не выдавала своих сокровенных желаний, потому что моя Мэри по натуре не способна к насмешкам или презрительным упрекам. Ни при каких житейских передрыгах она не опускала головы. И если в ней иногда прорывается горечь, это оттого и странно, что непривычно. Как быстро бегут ночью мысли под скрип шагов на заиндевелой мостовой.

Совсем не нужно прятаться от людей, если бродишь по нью-бэйтаунским улицам в предрассветный час. Только Крошка Вилли не преминул бы отпустить шуточку на этот счет, всякий же другой, повстречавшись со мной в три часа утра неподалеку от залива, решит, что я иду к своим удочкам, и тут же про меня забудет. Известно, что у рыболовов свои секреты, оберегаемые порой не менее ревниво, чем домашние рецепты, и к таким вещам все относится с полным уважением.

При свете уличных фонарей газоны и тротуары, выбеленные изморозью, искрились, словно россыпь мелких алмазов. На таком тротуаре отпечатываются следы ног, а впереди никаких следов не было

видно. Я с детства испытываю своеобразное волнение перед свежим покровом снега или инея. Точно вступаешь в какой-то новый мир, и всего тебя пронизывает радость открытия, первого соприкосновения с чем-то чистым, нетронутым, неоскверненным. Всегдашние ночные бродяги кошки не любят ходить по дорогам, покрытым изморозью. Помню, я как-то на пари ступил на такую дорогу босиком, и мне точно обожгло подошвы ног. Но сейчас, в галошах и теплых носках, я смело пятнал сверкающую целину.

Там, где Порлок пересекает Торки, сразу за велосипедным заводом, что выходит на улицу Хикс, целина была исчерчена длинными заплетающимися следами. Дэнни Тейлор, беспокойный непоседливый дух, всегда влекущийся туда, где его нет, и снова туда, где его нет. Дэнни, городской пьянчуга. В каждом городе такой есть. Дэнни Тейлор – столько голов сокрушенно покачиваются ему вслед: из хорошей семьи, из старинной семьи, последний в роду, с образованием. Кажется, у него были какие-то неприятности в Военно-морском училище? Так пора б уже выправиться. Он себя загубит пьянством, и это недопустимо, ведь Дэнни – джентльмен. Подумать только, попрошайничает ради выпивки. Счастье, что его родители этого не видят. Позор свел бы их в могилу – впрочем, они давно уже в могиле. Но так говорят в Нью-Бэйтауне.

Дэнни – моя мука и боль; мало того, меня за него совесть мучает. Я должен был помочь ему. Я и пытался, да разве он дастся. Дэнни мне все равно что брат родной, мы с ним вместе выросли, одних лет, рост, сила – все у нас было одинаковое. Может быть, оттого меня и мучает совесть: ведь я сторож брату моему, а убережь его не смог. Тут уж сколько ни оправдывайся перед собой, никакие доводы не помогут, даже самые резонные. Семья Тейлоров такая же старинная, как семья Хоули или Бейкеров. Во всех моих воспоминаниях о детстве, о пикниках, играх, посещениях цирка, рождественских праздниках Дэнни неотделим от меня, как моя собственная правая рука. Может быть, если бы мы и дальше учились вместе, с ним бы не стряслась беда. Но я уехал в Гарвард – преуспевал в языках, постигал всю прелесть гуманитарных наук, наслаждался древним, прекрасным, неведомым, вбирал в себя книжную премудрость, которая оказалась мне вовсе ни к чему в бакалейной лавке. И всегда жалел, что на этом увлекательном, ярком пути со мной рядом нет Дэнни. Но Дэнни ждала

карьера моряка. Вакансия в Военно-морском училище была задумана, исхлопотана, закреплена и обеспечена ему, еще когда мы бегали в коротких штанишках. Его отец не забывал напоминать об этом каждому вновь избранному от нас конгрессмену.

Три года отличных успехов, а потом – исключение. Говорят, это убило его родителей, во всяком случае это почти убило самого Дэнни. Осталась лишь тень его – жалкий горемыка, полуночник-горемыка, выпрашивающий мелочь, чтобы прополоскать мозги. Так он и бродит всю ночь до рассвета по городским улицам, понурый, одинокий, едва передвигая ноги. Когда он просит у вас четвертак, чтобы прополоскать мозги, глаза его молят о прощении, которого он у самого себя не находит. Ночует он в хибарке на заброшенной судовой верфи, когда-то принадлежавшей Уилбурам. Я нагнулся, стараясь определить по следам, домой он шел или из дому. Похоже было, что он бродит где-то в городе и может в любую минуту попасться мне навстречу. Едва ли Крошка Вилли вздумает засадить его за решетку. Что толку?

Я шел не наудачу, а в определенное место. Об этом месте я думал, видел его, чувствовал его запах, еще лежа в постели. Старая гавань теперь в запустении. После того как построили городской мол и соорудили волнорез, старый рейд, защищенный острым клыком Троицына рифа, занесло илом и песком, и он совсем обмелел. И нет больше ни стапелей, ни мостков, ни пакгаузов, где династии бондарей мастерили бочки для китового жира, нет и длинных причалов, над которыми высились бушприты китобойных судов, украшенные причудливыми резными фигурами. Это были по большей части трехмачтовики с прямыми парусами, устойчивые, крепкие корабли, рассчитанные на долгие годы плавания в любую погоду. На задней мачте крепилась и контра-бизань; бом-кливер был выносной, а двойной мартин-гик служил в то же время шпринтовым гафелем.

У меня есть гравюра, изображающая Старую гавань, битком набитую кораблями, есть несколько выцветших дагерротипов, но они мне, в сущности, не нужны. Я хорошо знаю и гавань и корабли. Мой дед все это рисовал передо мной своей тростью, сделанной из бивня нарвала, и вдалбливал мне терминологию, постукивая при каждом названии по обломку сваи, уцелевшему от того, что некогда было причалом Хоули. Мой дед, неистовый старик с седой шкиперской бородкой. Я любил его до боли.

– Ну, – командовал он голосом, который с мостика был слышен без рупора. – Отвечай парусное вооружение корабля. Только отвечай так, чтобы слышно было. Терпеть не могу, когда бормочут себе под нос.

И я отвечал, стараясь гаркать как можно громче, а нарваловая трость припечатывала стуком каждый мой ответ.

– Бом-кливер, – гаркал я (стук!), – маленький кливер (стук!), средний кливер, кливер (стук! стук!).

– Громче!

– Фор-трюмсель, фор-бом-брамсель, фор-брамсель, верхний брамсель, нижний брамсель! – И всякий раз: стук!

– Грот! Не бормотать!

– Грот-трюмсель! – (Стук!)

С годами он стал иногда утомляться.

– Стоп! – командовал он, прежде чем я успевал покончить с гротами. – Переходи к бизаням. Громче!

– Есть, сэр. Крюйс-трюмсель, крюйс-брамсель, крюйсбрамстаксель, бегин-рей!

– А еще?

– Контра-бизань.

– С какой оснасткой?

– Гик и гафель, сэр.

Нарваловая трость стук-стук-стук по сырому обломку свай.

Став к старости тугим на ухо, он сердился и всех обвинял, что они бормочут себе под нос.

– Если знаешь, что говоришь, или хотя бы думаешь, что знаешь, говори громче, – кричал он.

Но если слух изменил под конец жизни Старому шкиперу, то о его памяти этого никак нельзя было сказать. Он мог без запинки назвать вам тоннаж и скорость любого судна, когда-либо выходившего из нью-бэйтаунской гавани, мог сказать, с каким оно вернулось грузом и как этот груз был поделен, и это тем удивительнее, что золотых дней китобойного промысла он уже не застал. Керосин он называл жижей, а керосиновые лампы – вонючками. Но появление электричества оставило его равнодушным, а может быть, он уже тогда жил только воспоминаниями. Его смерть не была для меня ударом. Старик

вымуштровал меня в этом вопросе так же, как в вопросе об оснастке кораблей. Я был готов к случившемуся внутренне и внешне.

У края занесенной илом и песком Старой гавани, на месте причала Хоули, еще сохранился каменный фундамент. Во время отлива он целиком обнажен, а когда набегают волны, они плещутся о каменную кладку. Футах в десяти от угла там есть небольшой сводчатый проход – четыре фута в ширину, четыре в высоту, пять в глубину. Может быть, когда-то тут была дренажная труба, но отверстие со стороны суши плотно забито песком и обломками камня. Это и есть мое убежище, место уединения, необходимое каждому человеку. Увидеть меня там нельзя, разве только с залива. Старая гавань теперь совсем заброшена, есть там только несколько ветхих лачуг, где ютятся собиратели венерок^[7], но зимой пустуют и эти лачуги. К тому же собиратели венерок – тихие, нелюбопытные люди. Они бродят по берегу, согнувшись и опустив голову, и за целый день иногда не обмолвятся словом.

Туда-то я и направился теперь. Там я просидел ночь накануне ухода в армию, и ночь накануне свадьбы с Мэри, и часть той ночи, когда должна была родиться Эллен и Мэри так плохо приходилось. Я чувствовал потребность пойти и посидеть там, послушать, как бьется о камень мелкая волна, посмотреть на оскаленный клык Троицына рифа. Лежа в постели, я видел все это сквозь красные пятна, плясавшие у меня перед глазами, и я знал, что мне нужно побывать там. Меня всегда тянет туда накануне перемен – больших перемен.

Дальше вдоль края бухты расположен Саутдевон, и на берег наведен свет фонарей: это добрые люди заботятся о влюбленных, хотят уберечь их от беды, так что им приходится искать себе другое место. По инструкции муниципалитета Крошка Вилли должен каждый час проезжать здесь во время своего дежурства. Сейчас на берегу никого не было видно – ни души, что даже казалось странным, так как тут во всякое время околачиваются рыболовы: одни идут на ловлю, другие с ловли, третьи с удочками торчат у воды. Я перелез через фундамент, нашел отверстие и забрался в тесную пещерку. И не успел я усесться, как послышался шум проезжающей машины. Второй уже раз в эту ночь я счастливо избежал встречи с Крошкой Вилли.

Казалось бы, довольно неудобно и глупо сидеть в каменной нише, скрестив ноги на манер Будды, но мне как-то не мешают камни или это

я им не мешаю. Может быть, я так давно сюда хожу, что мой зад обмялся по форме этих камней. А насчет того, что оно глупо, так я не возражаю, пусть. Иногда чем глупее, тем веселее, недаром дети хохочут до упаду, играя в статуи. А иногда глупость нарушает заведенный порядок и помогает начать что-то сызнова. Когда у меня тревожно на душе, я нарочно дурачусь, чтобы любимая не заразилась моей тревогой. До сих пор мне удавалось обманывать ее, а если нет, я этого никогда не узнаю. Я многого не знаю о своей Мэри, прежде всего – что она знает и чего не знает обо мне. Вряд ли она подозревает об Убежище. Откуда? Я никогда никому о нем не рассказывал. У меня нет для него никакого особенного названия, никаких ритуалов или заклинаний. Это просто местечко, где хорошо сидеть и думать. Что мы, в сущности, знаем о других людях? В лучшем случае можем предполагать, что они похожи на нас. И вот, сидя в Убежище, защищенный от ветра, глядя при свете бдительных фонарей, как накатывает на берег волна, черная от ночного неба, я задумываюсь о том, у каждого ли есть свое Убежище и каждому ли оно нужно, или, может быть, есть такие люди, кому оно нужно и у кого его нет. Мне иногда случалось ловить чужой взгляд, полный тоски, как у затравленного животного, и казалось, это тоска по тихому, недоступному для других уголку, где улеглось бы душевное смятение, где бы можно побыть наедине с собой и разобраться, что к чему. Я, конечно, слышал про всякие там теории насчет влечения к смерти или тяги назад, в материнскую утробу – может быть, они и приложимы кое к кому, но не ко мне, разве только в качестве упрощенного объяснения того, что на самом деле не так просто. Если бы меня спросили, что я делаю в Убежище, я бы сказал: разбираюсь, что к чему. Другой, может, назвал бы это молитвой и тоже по-своему был бы прав. Размышление тут неподходящее слово. Пожалуй, зрительно это можно бы представить так: полощется на ветру мокрое полотенце и постепенно просыхает, становясь гладким и белым. Мне всегда на пользу время, проведенное в Убежище, приятно это или нет.

На этот раз скопилось много вопросов, в которых нужно было разобраться, и все они выскакивали наперебой, требуя внимания, точно школьники, выучившие урок. Но тут я услышал мерный стрекот мотора. Люгер, рыбачий катер. Его клотиковый огонь двигался к югу за Троицыным рифом. Теперь надо было ждать, пока он благополучно

обогнет риф и я увижу оба бортовых огня, зеленый и красный. Только местное судно могло так легко найти вход в бухту. Дойдя до отмели, катер стал на якорь, и к берегу отошла лодка с двумя гребцами. Зашелестел под волной песок, потревоженные чайки взлетели и немного погодя снова расселись на буйках.

Пункт первый. Нужно подумать о Мэри, моей любимой, которая спит сейчас с загадочной улыбкой на губах. Я не хотел, чтобы она хватилась меня, проснувшись. А впрочем, если она и хватится, разве я об этом узнаю? Едва ли. Мне кажется, Мэри, которая словно бы рассказывает мне все, на самом деле рассказывает очень мало. И вот теперь вопрос о богатстве. Нужно ли Мэри это богатство или она хочет его только ради меня? То, что это всего лишь мнимое богатство, неизвестно зачем выдуманное Марджи Янг-Хант, роли не играет. Мнимое богатство ничуть не хуже настоящего, и, пожалуй, богатство всегда в какой-то степени бывает мнимым. Любой неглупый человек может нажить деньги, если это то, что ему нужно. Но чаще всего ему не деньги нужны, а женщины, или дорогие костюмы, или поклонение окружающих, и это сбивает его с толку. Великих финансистов, художников своего дела, таких, как Морган или Рокфеллер, с толку не собьешь. Им нужны деньги, именно деньги, денег они и добиваются. А что они потом делают с этими деньгами – это уже другой вопрос. Мне всегда казалось, что они сами напуганы вызванным ими духом и пробуют от него откупиться.

Пункт второй. Для Мэри деньги означают новые занавески и возможность дать детям образование, и чуть повыше держать голову, и – будем говорить прямо – не стыдиться меня немножко, а гордиться мной. Она сама в этом призналась со злом, и это верно.

Пункт третий. Нужны ли деньги мне? Да нет, не нужны. Правда, мне не очень нравится быть продавцом в бакалейной лавке. В армии я имел чин капитана, но я знаю, чему я этим обязан. Не за красивые глаза меня направили в офицерскую школу, а благодаря имени и семейным связям. Но я был хорошим офицером, примерным офицером. Однако, если бы я по-настоящему любил командовать, навязывать другим свою волю и видеть, как передо мной ходят по струнке, я ведь мог остаться в армии, и за это время дослужился бы до полковника. А я не пожелал. Мне хотелось как можно скорей

покончить со всем этим. Говорят, хороший солдат думает о сражении, но не о войне. Это уже дело штатских.

Пункт четвертый. Марулло правильно объяснил мне, что значит делать дела. Это значит добывать деньги.

И Джой Морфи тоже так прямо мне и сказал, и мистер Бейкер, и коммивояжер. Все они так прямо и говорили. Почему же это вызвало во мне такое отвращение и оставило словно вкус тухлого яйца во рту? Что я, такой уж хороший, добрый, справедливый? Вряд ли. Может быть, я чересчур горд? Пожалуй, не без того. Или я просто ленив, слишком ленив, чтобы взяться за что-то? Многим свойственна такая бездеятельная доброта, которая есть попросту лень, боязнь беспокойства, усилий, волнений.

Бывает, до утра еще далеко, а оно уже угадывается, уже пахнет рассветом. Вот и сейчас в воздухе потянуло холодком, какая-то запоздалая звезда или планета показалась на востоке. Мне следовало бы знать, что это за звезда или планета, но я не знаю. В час ложной зари свежеет и ветер крепчает. Это всегда так. И это значит, что скоро мне пора домой. Новой звезде недолго придется мерцать над горизонтом. Как это говорится – «звезды не приказывают, но склоняют»? Я слышал, между прочим, что многие серьезные финансисты советуются с астрологами насчет своих биржевых операций. Склоняют ли звезды играть на повышение? Подчинен ли «Америкэн телеграф энд телефон» влиянию звезд? Моя судьба не зависит от таких далеких и смутных влияний. Колода потрепанных гадальных карт в руках пустой, коварной женщины, которая еще и плутует, раскладывая их. Может быть, и карты не приказывают, но склоняют? Разве не склонили меня карты поспешить среди ночи сюда, в Убежище, и разве они не склоняют меня думать о том, о чем я вовсе думать не хочу? Это ли не влияние? А вот могут ли они склонить меня к деловой сметке, которой я никогда не отличался, к стяжательству, чуждому моей природе? Возможно ли, чтобы под влиянием карт я захотел того, чего не хочу? Есть пожиратель и есть пожираемые. Вот истина, которую не мешает запомнить для начала. Что ж, пожиратели безнравственнее пожираемых? Все ведь мы в конце концов станем пожираемыми – всех нас пожрет земля, даже самых жестоких и самых хитрых.

На Клам-хилл давно уже пели петухи, я и слышал это и не слышал. Мне хотелось еще побыть в Убежище, посмотреть оттуда на восход солнца.

Я сказал, что у меня нет никакого ритуала, связанного с Убежищем, но это не совсем верно. Всякий раз, бывая здесь, я тешу себя тем, что мысленно восстанавливаю Старую гавань – лес мачт, подлесок снастей, свернутых парусов. И я вижу своих предков, родную кровь: молодые – на шканцах, кто постарше – на спардеке, старики на мостике. Кто тогда помышлял о Мэдисон-авеню^[8] или беспокоился – не срезать бы лишний лист с цветной капусты? Тогда человек обладал достоинством, обладал осанкой. Дышал полной грудью.

Это голос моего отца, простака. Старый шкипер вспоминал другое – ссоры из-за доли в прибылях, махинации с грузами, придирчивые проверки каждой доски, каждого кильсона, судебные тяжбы, убийства – да, и убийства. Из-за женщин, славы, жажды приключений? Ничуть не бывало. Из-за денег. Редкие компаньоны не расходились после первого же плавания, и жгучие распри тянулись без конца уже после того, как и причин-то никто не помнил.

Была одна обида, которую старший шкипер Хоули запомнил навсегда, одно преступление, которого он не мог простить. Много, много раз он мне рассказывал об этом, когда мы с ним стояли или сидели на берегу в Старой гавани. Мы так провели вдвоем немало хороших часов. Помню, как он указывал вдаль своей нарваловой тростью.

– Заметь себе третий выступ Троицына рифа, – говорил он. – Заметил? Теперь проведи от него черту до мыса Порти, до высшей точки прилива. Готово? А теперь отложи полкабельтова вдоль этой черты – вот там она и лежит, вернее сказать, ее киль.

– «Прекрасная Адэр»?

– Да, «Прекрасная Адэр».

– Наше судно.

– Наполовину наше. Она сгорела на рейде – вся сгорела, до самой ватерлинии. Никогда не поверю, что это было дело случая.

– Вы думаете, ее подожгли, сэр?

– Уверен.

– Но как же – как же можно пойти на такое?

– Я бы не мог.
– Кто же это сделал?
– Не знаю.
– А зачем?
– Страхование премия.
– Значит, и тогда было как теперь?
– Да.
– Но должна же быть разница?
– Разница только в людях – только в самих людях. В человеке вся сила. От него только все и зависит.

После пожара он, по словам отца, навсегда перестал разговаривать с капитаном Бейкером, но на сына последнего, директора банка Бейкера, эта обида не распространилась. Старый шкипер был так же не способен на несправедливость, как и на поджог.

Господи, надо спешить домой. И я заспешил. Я почти бегом пробежал по Главной улице, ни о чем больше не думая. Еще не рассвело, но над самым горизонтом уже брезжила узкая полоска зари, и вода там была чугунного цвета. Я обогнул обелиск у набережной и прошел мимо городской почты. Так я и знал: в подъезде одного из соседних домов стоял Дэнни Тейлор, руки в карманах, воротник обтрепанного пальто поднят, на голове старая охотничья каскетка со спущенными наушниками. Лицо у него было голубовато-серое, он казался иззябшим и больным.

– Ит, – сказал он. – Уж ты меня извини за беспокойство, пожалуйста, извини. Но мне необходимо прополоскать мозги. Сам знаешь, если бы не нужда, не спросил бы.

– Знаю. То есть, может, и не знаю, но верю. – Я дал ему долларовую бумажку. – Хватит?

Губы у него задрожали, точно у ребенка, который вот-вот заплачет.

– Спасибо тебе, Ит, – сказал он. – Да, на это я смогу продержаться целый день, а может, еще и ночь. – Он заметно оживился от одного предвкушения.

– Дэнни, надо тебе бросить это. Думаешь, я забыл? Ты был мне братом, Дэнни. Ты и сейчас брат мне. Я бы все на свете сделал, чтобы тебе помочь.

Его впалые щеки чуть порозовели. Он смотрел на деньги, которые держал в руке, и словно бы уже сделал первый живительный глоток. Потом он поднял на меня глаза, холодные и злые.

– Во-первых, я не люблю, когда суют нос в мои личные дела. А во-вторых, у тебя у самого гроша за душой нет, Итен. Ты такой же калека, как и я, только увечье у нас разное.

– Выслушай меня, Дэнни.

– С какой стати? Да мне, если хочешь знать, лучше, чем тебе. У меня есть козырь на руках. Помнишь нашу загородную усадьбу?

– Там, где сгорел дом? Где мы играли в прятки в погребе?

– Вижу, ты не забыл. Так вот, эта земля и сейчас моя.

– Дэнни! Ведь ты бы мог продать ее и начать новую жизнь.

– А я не желаю продавать. Каждый год у меня отрезают по кусочку – в счет налога. Но большой луг еще мой.

– Отчего же ты не хочешь продавать?

– Оттого что эта земля – это я сам. Я, Дэнни Тейлор. Пока она у меня есть, никакая сволочь не посмеет командовать мною и никакая мразь не упрячет меня под замок. Понятно?

– Но послушай, Дэнни...

– Не хочу ничего слушать. Если ты воображаешь, что купил за свой доллар право читать мне нравоучения – на! Возьми его обратно!

– Нет, нет, оставь себе.

– Ладно, оставлю. Но не берись судить о том, чего не понимаешь. Ты никогда не... не пил запоем. Ведь я не учу тебя резать ветчину. Ну, ступай себе, а я постучусь тут в одно местечко, где найдется, чем прополоскать мозги. И помни мои слова: мне лучше, чем тебе. Я по крайней мере не стою в фартуке за прилавком. – Он отвернулся и уткнул голову в косяк запертой двери, точно ребенок, которому достаточно зажмурить глаза, чтобы разделаться с внешним миром. И так он стоял, пока я не пошел прочь.

Крошка Вилли, дремавший в своем «шевроле» напротив гостиницы, встрепенулся и опустил оконное стекло.

– Доброе утро, Итен, – сказал он. – Вы что, уже встали или еще не ложились?

– И то и другое.

– Должно быть, недурно провели ночьку.

– И не говорите, Вилли. Как в раю.

– Ну, ну, Ит, не вздумаете же вы уверять меня, что путаетесь с какой-нибудь шлюхой.

– Даю честное слово.

– Да будет вам. Сидели небось на берегу с удочкой. А как ваша хозяйка?

– Спит.

– Охотно последую ее примеру, вот только сменюсь с дежурства.

Я бы мог заметить на это, что он и на дежурстве не терял времени, но промолчал и пошел дальше.

Стараясь не шуметь, я вошел в дом с черного хода и включил в кухне свет. Моя записка лежала на столе чуть ближе к левому краю. Готов поклясться, что я положил ее как раз посередине.

Я поставил кофе на огонь и сел, ожидая, когда он вскипит, и только что в кофейнике забурлило, как вошла Мэри. Моя любимая выглядит совсем девочкой, встав поутру с постели. Никогда не скажешь, что это мать двух совсем больших ребят. И пахнет от нее так чудесно, похоже на свежее сено – самый ласковый и уютный запах на свете.

– Что это ты вскочил ни свет ни заря?

– Вот это мило. Да будет тебе известно, что я почти всю ночь провел на ногах. Видишь мои галоши вон там, у двери. Тронь их, убедишься, что они мокрые.

– Где же это ты был?

– Есть такая пещерка на самом берегу залива, утенок мой взъерошенный. Я туда забрался, чтобы следить за ночью.

– Да ну тебя.

– И я увидел, как из моря вышла звезда, и так как у нее не было хозяина, я решил, пусть это будет наша звезда. Я ее приручил и пустил пастись на воле.

– Не дурачься. Ты, наверно, только что встал, а я услышала и проснулась.

– Не веришь мне – спроси Крошку Вилли. Я с ним недавно беседовал. Спроси Дэнни Тейлора. Я дал ему доллар.

– Напрасно. Он пойдет и пропьет его.

– Еще бы. Об этом он и мечтал. А где будет спать наша звезда, как ты думаешь, былинка?

– Кофе приятно пахнет, верно? Я рада, что ты опять дурачишься. Хуже нет, когда ты в миноре. Нелепый это был разговор насчет богатства. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я несчастлива.

– А ты не беспокойся, карты все сказали.

– Что все?

– Правда, правда, без шуток. Я скоро разбогатею.

– С тобой никогда не знаешь, что у тебя на уме.

– Это всегда бывает, когда человек говорит правду. Можно мне немножко отлупить детей в честь Воскресения Господня? Обещаю, кости будут целы.

– Я еще даже не умывалась, – сказала она. – Не могла понять, кто там тарахтит посудой в кухне.

Пока она была в ванной, я взял со стола записку и спрятал в карман. Но я все-таки не знал. Неужели нам не дано даже мелочи знать о другом? Какая ты там, в себе, Мэри? Ты слышишь меня? Кто ты там, в себе?

Глава IV

Эта суббота была не похожа на другие. Может быть, в каждом дне есть что-то свое. Но это был совсем особенный день. Мне слышался ровный бесцветный шепоток тетушки Деборы: «Сегодня Христос мертв. Это бывает только один день в году, и вот сегодня такой день. И все люди на земле тоже мертвы. Христос сейчас терпит муки ада. Но завтра – дай срок, пусть только наступит завтра. Тогда увидишь, что будет».

Мне трудно представить себе тетушку Дебору, всегда ведь трудно представить себе тех, кого привык видеть не издали. Но помню, она читала мне Библию, как читают ежедневную газету, да, пожалуй, так она ее и воспринимала, как рассказ о событиях, извечно повторяющихся, но всегда полных увлекательной новизны. Каждую Пасху Христос в самом деле воскресал из мертвых, и это было как взрыв, все равно оглушительный, хоть его и ждешь. Для нее все происходило не две тысячи лет назад, а сейчас, сегодня. В какой-то мере она внушила это ощущение и мне.

Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал желание поскорей отпереть лавку. Утро, начало нудного, томительного дня, – мой личный враг. Но в это утро мне не терпелось уйти из дому. Я всей душой люблю мою Мэри, быть может, больше, чем самого себя, но, признаюсь, я не всегда слушаю ее с достаточным вниманием. Когда она заводит речь о платьях или о здоровье или пересказывает чьи-то слова, остроумные и поучительные, я попросту не слушаю вовсе. Иногда она возмущенно восклицает: «Да ты же это знаешь. Я тебе говорила. Я очень хорошо помню, я тебе рассказывала об этом в четверг утром». И можно не сомневаться – так оно и было. Она мне рассказывала. Она мне рассказывает все – о некоторых вещах.

В это утро мне не только не хотелось слушать. Мне хотелось освободиться от этой обязанности. Может быть, я сам чувствовал желание поговорить, а сказать было нечего – ведь нужно отдать ей должное: она тоже часто не слушает меня, и слава Богу. Она прислушивается к звукам моего голоса, стараясь по тону определить, как я себя чувствую и какое у меня настроение, устал ли я или мне весело. Что ж, это не так глупо. Она права, что не слушает меня, ведь я

большей частью обращаюсь не к ней, а к некоему безмолвному слушателю, который сидит во мне самом. И она, в сущности, тоже не со мной говорит. Но, конечно, если дело касается детей или каких-нибудь чрезвычайных домашних событий, тогда все по-другому.

Я часто замечал, как много в разговоре зависит от того, к кому обращены твои слова. Я чаще всего обращаюсь к людям, которых уже нет в живых, например к моему домашнему Плимут-року^[9] тетушке Деборе или к Старому шкиперу. Я даже спорю с ними. Помню, один раз в пыльном, иссушающем бою я спросил Старого шкипера: «А надо ли?» И очень ясно услышал ответ: «Разумеется, надо. И не бормочи себе под нос». Он-то не спорил, он никогда не спорил. Только сказал: «Надо», – и я пошел вперед. Никакой мистики тут нет. Просто человек ищет совета или оправдания в самой глубине своего существа, недоступной сомненьям и колебаниям.

Для чистого монолога, очень удобной формы таких поисков, банки и бутылки в бакалейной лавке – самые лучшие слушатели, реальные и безответные. Кошки, собаки, птицы тоже годятся. Они не возражают и не судачат потом.

Мэри сказала:

– Ты уже идешь? Да ведь у тебя еще целых полчаса. Вот и незачем было вставать так рано.

– До открытия лавки нужно распаковать целую кучу ящиков, – сказал я. – Расставить товар на полках. Принять ряд важных решений. Гармонируют ли пикули с томатным соком? Терпит ли абрикосовый компот соседство персикового? Ты же знаешь, как важно сочетание цветов в наряде.

– Тебе все смех, – сказала Мэри. – Но это хорошо. Лучше смеяться, чем ворчать. Мужчины такие ворчуны.

Было и в самом деле рано. Рыжий Бейкер еще не показывался. По этой собаке, да и вообще по собакам можно ставить часы. Ровно через полчаса он величественно прошествует мимо. И Джоя Морфи тоже не видно. Банк, правда, еще закрыт, но Джой, возможно, уже сидит там над своими книгами. В городе сегодня очень тихо, оно и понятно: много народу уехало до понедельника по случаю Пасхи. Пасха, Четвертое июля и День труда – самые большие праздники у нас. Люди уезжают отдыхать, даже если им этого вовсе не хочется. Воробьи на Вязовой улице и те, видно, отправились отдыхать.

Стонуолл Джексон Смит уже вступил на дежурство. Я увидел его, когда он выходил из «Фок-мачты» после чашки утреннего кофе. Он такой поджарый и тощий, что револьвер и наручники кажутся для него слишком громоздкими. Его полицейская фуражка лихо заломлена набок, и он ковыряет в зубах отточенным гусиным перышком.

– Желаю удачного дня, Стони. С утра добра, а к вечеру чтобы денег гора.

– Мм? – отозвался он. – В городе сегодня никого не осталось. – Он явно сожалел, что сам должен был остаться.

– Не было ли убийств или других развлечений в этом роде?

– Да нет, в общем тихо, – сказал он. – На мосту ребяташки разбили машину, но она их собственная, так что им ни черта не будет. Присудят оплатить ремонт моста. Слыхали про ограбление банка во Фладхэмтоне?

– Нет.

– Передавали по телевидению.

– У нас пока нет телевизора. А что, много взяли?

– Тринадцать тысяч, говорят. Вчера, перед самым закрытием. Втроем работали. Тревога поднята по четырем штатам. Вилли теперь сломя голову рыщет вдоль шоссе.

– Ничего, он выпался.

– Зато я нет. Даже не ложился всю ночь.

– Думаете, поймают?

– Наверняка поймают! Раз дело касается денег, тут уж берутся как следует. Страховые компании все равно не дадут покоя. Хочешь не хочешь, а доведи дело до конца.

– Неплохой был бы промысел, если бы не бояться, что поймают.

– Еще бы, – сказал он.

– Стони, вы бы зашли к Дэнни Тейлору. Вид у него – смотреть страшно.

– Да, долго он не протянет, – сказал Стони. – Ладно, пройду мимо – загляну. Беда с ним. А ведь славный малый. И из хорошей семьи.

– Тяжело мне. Я его люблю.

– Так с ним же ничего не поделаешь. Кажется, будет дождь, Ит. Вилли промокнет, а он этого терпеть не может.

Впервые на моей памяти мне приятно было пройти по переулку, и я с удовольствием отпирал боковую дверь лавки. У двери в ожидании

сидел кот. Не припомню такого утра, когда этот тощий настырный кот не сидел бы там в надежде как-нибудь прошмыгнуть в отворившуюся дверь, но я неизменно прогонял его окриком или палкой. Насколько я могу судить, ему так ни разу и не удалось войти. Я считаю, что это кот, а не кошка, потому что у него оба уха рваные. Чудные животные кошки – а может быть, они кажутся нам смешными только потому, что похожи на нас, все равно как обезьяны? Семьсот или восемьсот раз этот кот пытался проникнуть в лавку, и ни разу ему это не удалось.

– Ну подожди, сейчас я тебя удивлю, – сказал я коту. Он сидел, уложив вокруг себя хвост так, что кончик подрагивал между передними лапами. Я вошел в темную лавку, снял с полки картонку молока, проткнул дырку и вылил молоко в чашку. Потом я отнес чашку с молоком в кладовую, поставил у самой двери и дверь оставил отворенной. Кот сосредоточенно посмотрел на меня, посмотрел на молоко, потом медленно пошел прочь и исчез за оградой банка.

Только я потерял его из виду, как в переулке появился Джой Морфи с ключом от боковой двери банка в руке. Лицо у него было землистое, осунувшееся, словно после бессонной ночи.

– Привет, мистер Хоули.

– А я думал, у вас сегодня закрыто по случаю праздника.

– Праздники, видно, не для меня. Где-то вышла ошибка на тридцать шесть долларов. Я вчера за полночь сидел над книгами.

– Недостача?

– Нет, лишние.

– Это же хорошо.

– Как бы не так. Я должен найти ошибку.

– Не знал, что банки такие честные.

– Банки – да. Люди вот не все, к сожалению. Но я не могу думать о празднике, пока не найду ошибку.

– Жаль, я ничего не смыслю в финансовых делах.

– Могу изложить вам всю премудрость в одной фразе. Деньга деньгу делает.

– От этого мне не легче.

– Мне тоже. Но могу еще преподать несколько истин.

– Например?

– Например: кто спешит, тот всегда прогадывает. Или: не обманешь – не продашь. Или еще: каков покупатель, такова и цена.

- Это что, сокращенный курс?
 - Именно. Но он ничего не стоит без первоосновы.
 - Деньга деньгу делает?
 - И, значит, все это не для нас с вами.
 - А разве нельзя взять ссуду?
 - Для ссуды нужно иметь кредит, а это те же деньги.
 - Да, останусь-ка я лучше при своей бакалее.
 - И то верно. Слыхали про ограбление Фладхэмтонского банка?
 - Стони мне сказал. Забавно, мы как раз вчера с вами разговаривали на эту тему, помните?
 - У меня там есть один знакомый. Грабителей было трое – один говорит с акцентом, один прихрамывает. Трое. Их поймают, это как пить дать. Может быть, через неделю. Может быть, через две.
 - Рискованное дело!
 - Да как вам сказать. Сработано было грубо. А грубая работа никогда себя не оправдывает, это закон.
 - Вы меня извините за вчерашнее.
 - Не стоит вспоминать. Я сам виноват. Еще одно золотое правило: держи язык за зубами. Никак не научусь его соблюдать. А вы отлично выглядите, мистер Хоули.
 - Не знаю, с чего бы это. Я сегодня почти не спал.
 - Болен кто-нибудь?
 - Нет. Просто такая выдалась ночь.
 - Мне можете не объяснять...
- Я подмел лавку и поднял шторы, не думая об этой работе и не чувствуя ненависти к ней. Правила Джоя на все лады звенели у меня в голове. И я рассуждал, обращаясь к своей аудитории на полках, – может быть, вслух, а может быть, и нет, не знаю.
- Дорогие коллеги, – говорил я. – Если это так просто, почему же это удается только немногим людям? Почему почти всякий раз повторяются одни и те же, одни и те же ошибки? Что-то неизменно пропускают из виду, что ли? Может быть, тут слабым местом является доброта? Марулло говорит, деньги не имеют души. Не следует ли из этого, что для человека, имеющего дело с деньгами, доброта всегда слабость? Каким образом удастся заставить простых славных малых убивать на войне себе подобных? Правда, если противник иначе выглядит или говорит на другом языке, это облегчает задачу. А как же

гражданская война? Янки, скажем, ели детей, а мятежники морили пленных голодом. Это тоже облегчение задачи. Погодите, маринованная свекла и соленые грибки, дойдет очередь и до вас. Вам, я знаю, хочется услышать что-нибудь о себе. Всякому хочется. Но я уже почти подошел к этому. В скобках, так сказать. Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, значит, все относительно в этой относительной вселенной – нравственность, нормы поведения, понятие греха. Иначе не может быть. От этого никуда не денешься. Хоть и в скобках.

А ты чего хочешь, коробка корнфлекса с маской Микки-Мауса на крышке с этикеткой, в обмен на которую, приплатив десять центов, можно получить чревовещательный аппарат? Тебя мне придется взять домой, но пока что сиди и слушай. То, что я говорил Мэри в шутку, – чистая правда. Мои предки, все эти высокопочтенные шкиперы и судовладельцы, несомненно с благословения правительства, занимались захватом торговых судов во время революции и потом в 1812 году. Это выглядело очень добродетельно и патриотично. Но в глазах англичан они были пиратами, присваивавшими чужое добро. Вот как было впервые нажито состояние семьи Хоули, которое не сумел сохранить мой отец. Вот откуда повелась денюга, делавшая денюгу. Мы можем гордиться этим.

Я принес ящик с томатной пастой, вскрыл его и начал выставлять хорошенькие баночки на почти порожнюю полку.

– Вам, может быть, неизвестно, потому что вы вроде как бы иностранцы. Деньги не имеют не только души, у них нет ни чести, ни памяти. Но они автоматически вызывают уважение, если сумеешь удержать их на какое-то время. Не думайте, что я осуждаю деньги. Напротив, я сам их очень люблю. Господа, позвольте представить вам новых членов нашего маленького общества. Вот я размещу их здесь, по соседству с бутылками кетчупа. Прошу любить и жаловать. Эти пикули для сэндвичей прибыли из Нью-Йорка. Там выросли, там приготовлены и законсервированы. Мы тут беседовали в дружеском кругу на тему о деньгах. Я мог бы назвать вам одно из лучших наших семейств – все вы, наверно, слышали это имя. Во всем мире оно известно. Так вот, эти люди разбогатели на поставках мяса англичанам в то время, как наша страна воевала с Англией, и тем не менее пользуются всеобщим уважением – и сами они и их деньги. Или

возьмем другую династию – банкиров, самых крупных в своем деле. Его основатель купил у военного ведомства три сотни винтовок. Они были забракованы как дефектные и опасные для употребления, а потому достались ему очень дешево, центов по пятидесяти за штуку. А вскоре после того генералу Фремонту, готовившему свой героический поход на запад, понадобилось оружие, и он приобрел эти винтовки заглазно по цене двадцать долларов за штуку. Вероятно, они взрывались у солдат в руках... но история об этом умалчивает. Вот что значит «деньга деньгу делает». Неважно, откуда у тебя деньги, важно их иметь и с их помощью наживать еще. Не сочтите это за цинизм. Наш с вами господин и повелитель, наследник славного римского имени Марулло, совершенно прав. Когда дело касается денег, для обычных правил поведения наступают каникулы. Почему я люблю разговаривать с вами, с бакалейным товаром? Может быть, потому, что я уверен в вашей скромности. Вы не станете сплетничать, пересказывать мои речи. Деньги – скучная материя только для тех, у кого они есть. Для бедняков это самая увлекательная тема на свете. Но согласитесь, если у человека появился активный интерес к деньгам, он хоть немного должен представлять себе их природу, свойства и особенности. Очень мало кто интересуется деньгами ради самих денег – для этого нужно быть или истинным художником в своем деле, или скрягой. Причем таких скряг, которые скряжничают из трусости, считать нечего.

На полу выросла целая куча пустых картонных коробок. Я убрал их в кладовую: подровняю потом края, пригодятся. Покупатели охотно пользуются ими как тарой для покупок, и Марулло говорит: «Экономия пакетов, мальчуган».

Я больше не обижаюсь на это слово «мальчуган». Пусть зовет меня мальчуганом, пусть даже думает обо мне так. Пока я возился с коробками, кто-то забарабанил в дверь. Я взглянул на свой старый массивный серебряный хронометр. Поверите ли – первый раз в жизни я опоздал с открытием лавки. Я всегда отпирал точно в девять, минута в минуту, а тут стрелки показывали уже четверть десятого. Разглагольствования перед консервными банками отвлекли меня от дела. За стеклом и решеткой двери маячила Марджи Янг-Хант. Я никогда не обращал на нее особого внимания, никогда не приглядывался к ней. Может, оттого она и затеяла всю эту историю с

гаданьем – просто чтобы вызвать интерес к своей особе. Не нужно показывать, что ей это удалось.

Я распахнул дверь.

– Извините, если побеспокоила.

– Да мне давно пора открывать.

– Разве?

– Конечно. Уже десятый час.

Она вошла в лавку. Ее зад, приятно круглившийся под платьем, слегка пружинил при каждом шаге: вверх – вниз. Спереди ее тоже бог не обидел, так что подчеркивать ничего не требовалось. Все было на своем месте. Про таких, как Марджи, Джой Морфи говорит «конфетка» – а может, и мой сын Аллен тоже. Я ее, пожалуй, первый раз видел как следует. Черты лица у нее правильные, нос чуть длинноватый, губы с помощью помады сделаны более пухлыми, чем они есть, особенно нижняя. Волосы выкрашены в красновато-каштановый цвет, какого в природе не бывает, но красивый. Подбородок хрупкий, хоть и с ямочкой, а щеки тугие и скулы очень широкие. Глазами своими Марджи, видно, занималась подолгу. Они у нее были того зелено-серо-голубого цвета, который меняется от освещения. В общем лицо такое, которое многое может выдержать и выдерживало, не дрогнув, даже грубость, даже пощечину. Марджи метнула взгляд на меня, потом на полки с товаром, потом снова на меня. Вероятно, она приметлива и умеет запоминать примеченное.

– Надеюсь, вы не по такому же делу, как вчера?

Она засмеялась.

– Нет, нет. У меня не каждый день бывают коммивояжеры. На этот раз у меня и в самом деле вышел весь кофе.

– Обычная история.

– То есть как?

– Из десяти утренних покупателей девять приходят потому, что у них вышел весь кофе.

– Нет, в самом деле?

– В самом деле. Кстати, за коммивояжера спасибо.

– Это была его идея.

– Но вы ее подсказали. Вам какого кофе?

– Все равно. У меня всегда получается бурда, какой бы я ни заваривала.

– А вы по мерке сыплете?

– Конечно. Но все равно получается бурда. Кофе – не... я хотела сказать – не моя специальность.

– Вы так и сказали. Попробуйте вот эту смесь. – Я снял с полки жестяную банку, и когда Марджи потянулась, чтобы взять ее, – одно короткое движение, каждая часть ее тела ожила, заиграла, заговорила о себе. Вот я – нога. Я – бедро. А лучше всего я – округлый живот. Все это было ново для меня, увидено впервые. Мэри говорит, что у каждой женщины есть свои сигналы, которые она выкидывает, когда ей это нужно. Если так, то Марджи обладает сложной системой сигнализации, в которой участвует все, от острых носков лакированных туфель до каждого локона мягких каштановых волос.

– Ваша хандра как будто прошла?

– Вчера меня в самом деле одолевала хандра. Откуда только это берется?

– Кто знает! Сколько раз со мной бывало так, и без всякой причины!

– Здорово это у вас получилось, с гаданьем.

– Вы не сердитесь?

– Нет. Мне просто интересно, как вы это делаете.

– Но вы же не верите в такие вещи.

– Неважно, верю или не верю. Кое в чем вы попали в самую точку. Насчет некоторых моих мыслей, некоторых поступков.

– Ну, например?

– Например – что настало время для перемен.

– Вы, верно, думаете, что я подтасовала карты?

– Неважно. Если и подтасовали, что вас заставило подтасовать так, а не иначе? Об этом вы не думали?

Она посмотрела мне прямо в глаза, пытливо, внимательно, с подозрением.

– Д-да, – сказала она вполголоса. – То есть я хочу сказать – нет, не думала. Что меня заставило подтасовать так, а не иначе? Выходит, и подтасовка не подтасовка.

В дверь заглянул мистер Бейкер.

– Привет, Марджи, – сказал он. – Итен, вы поразмыслили над моим предложением?

– Поразмыслил, сэр. И хотел бы поговорить с вами.

– Пожалуйста, Итен, когда угодно.

– В будни мне трудно найти время. Вы же знаете, Марулло почти не появляется здесь. А вот завтра вы будете дома?

– После церкви, разумеется, буду. Отличная идея. Приходите часа в четыре, вместе с Мэри. Пока дамы будут обсуждать весенние шляпки, мы с вами уединимся и...

– У меня к вам целая куча вопросов. Пожалуй, я их заранее выпишу на бумажку.

– Сделайте милость. Что знаю, все охотно скажу. Так, значит, до завтра. Привет, Марджи.

Когда он ушел, Марджи сказала:

– Вы не теряете времени.

– А может, просто подчиняюсь судьбе. Слушайте, не сделать ли нам такой опыт? Раскиньте опять карты – вслепую, не глядя, и посмотрите, сойдется ли со вчерашним.

– Нет! – сказала она. – Так нельзя. Вы что, шутите или вас и вправду затронуло?

– По-моему, дело тут не в том, веришь или не веришь. Я, может быть, не верю в сверхчувственное восприятие, или в молнию, или в водородную бомбу, или даже в такие вещи, как фиалки или стая рыб, но я знаю, что все это существует. Я и в привидения не верю, а между тем я их видел.

– Ну, вы шутите.

– Нисколько.

– Вы перестали быть самим собой.

– Верно. Это с каждым случается время от времени.

– Но что послужило причиной, Ит?

– Не знаю. Может быть, мне надоело стоять за прилавком.

– Давно пора.

– Скажите, вам действительно по душе Мэри?

– Конечно. Почему вы спрашиваете?

– Казалось бы, вы совсем не... ну, в общем, вы с ней очень разные.

– Понятно, что вы хотите сказать. И все-таки она мне по душе. Я просто люблю ее.

– Я тоже.

– Везет же людям.

– Я знаю, что мне повезло.

– Не о вас речь, а о ней. Что ж, пойду варить свою бурду. А насчет карт я еще подумаю.

– Только не откладывайте, надо ковать железо, пока горячо.

Она вышла, постукивая каблуками, ее подбористый зад пружинил, точно резиновый. Я ее никогда не видел до этого дня. Сколько, наверно, есть людей, на которых я всю жизнь смотрю и не вижу. Даже подумать страшно. И опять в скобках. Когда двое встречаются, каждый в чем-то изменяет другого, так что в конце концов перед вами два новых человека. Может быть, это значит... Нет, к черту, это слишком сложно. О таких вещах я решил думать только ночью, когда не спится. Меня напугало, что я не отпер лавку вовремя, забыл. Это все равно что оставить свой платок на месте преступления или, скажем, очки, как в том знаменитом чикагском деле. Что кроется за этим? Какое преступление? Кто убийца и кто убитый?

В полдень я приготовил четыре сандвича с сыром и ветчиной, положил салат и майонез. Сыр и салат, сыр и салат, лезьте на дерево, кому дом маловат. Два сандвича я отнес вместе с бутылкой кока-колы к боковой двери банка и вручил Джою.

– Ну, нашли ошибку?

– Нет еще. Все глаза проглядел, честное слово.

– Отложили бы уж до понедельника.

– Нельзя. Банковское дело любит точность.

– Иногда, если перестанешь ломать голову, тут тебя и озарит.

– Это я знаю. Спасибо за сандвичи. – Он приподнял верхний ломтик хлеба, проверяя, положил ли я салат и майонез.

Торговать бакалеей в канун Пасхи – это, как сказал бы мой августейший и невежественный сын, «мертвое дело». Но произошли два события, которые, во всяком случае, доказывали, что где-то глубоко-глубоко во мне и в самом деле совершается перемена. Ни вчера, ни позавчера я бы, наверно, не вел себя так, как повел сегодня. Представьте себе, что вы перебираете образцы обоев и вдруг перед вами развернули совершенно новый узор.

Сперва в лавку заявился Марулло. Его жестоко мучил артрит. Он то и дело сгибал и разгибал руки, точно атлет-гиревик.

– Как дела?

– Так себе, Альфио. – Никогда раньше я его не называл по имени...

– В городе сегодня пусто...

– Что же вы не говорите «мальчуган»?

– Мне казалось, ты этого не любишь.

– Напротив, Альфио, очень даже люблю.

– Все разъехались. – Видно, плечи ему жгло, как будто в суставы был насыпан горячий песок.

– Когда вы перебрались из Сицилии сюда?

– Давно. Сорок лет назад.

– И с тех пор ни разу там не были?

– Ни разу.

– Почему бы вам не съездить туда в гости?

– Зачем? Все теперь там по-другому.

– И вам не интересно посмотреть?

– Да нет, не очень.

– А родные у вас есть?

– Как же, брат и его дети, и у детей уже тоже есть дети.

– Что ж, вам совсем не хочется повидать их?

Он посмотрел на меня так, как я, должно быть, смотрел на Марджи, – точно в первый раз увидел.

– С чего это ты вдруг, мальчуган?

– Тяжело смотреть, как этот артрит мучает вас. В Сицилии ведь тепло. Может, там у вас поутихнут боли.

Он подозрительно покосился на меня.

– Что с тобой случилось?

– А что?

– Ты сегодня не такой, как всегда.

– А! Узнал одну приятную новость.

– Уж не собрался ли ты уходить от меня?

– Пока еще нет. Если бы вы надумали ехать в Италию, не беспокойтесь, я вас дождусь.

– А что за новость?

– Не хочу говорить до поры до времени. Это ведь дело такое... – Я покрутил рукой в воздухе.

– Деньги?

– Не исключено. А в самом деле, Альфио, человек вы богатый. Прокатились бы, пусть там в Сицилии поглядят, что такое богатый американец. И на солнышке бы погрелись. А лавку можете спокойно оставить на меня. Вы сами это знаете.

– Так ты не думаешь уходить?

– Да нет же, черт возьми. Вы меня достаточно знаете, разве я способен вас подвести?

– Тебя словно подменили, мальчуган. Что с тобой?

– Я же вам сказал. Поезжайте, поняните *bambinos*.^[10]

– Я теперь там чужой, – сказал он, но я почувствовал, что посеял в его душе тень чего-то – посеял крепко. И уже не сомневался, что вечером он придет в лавку и станет проверять книги. Подозрительный, сволочь.

Не успел он уйти, явился – точь-в-точь как накануне – коммивояжер «Б.Б.Д. и Д.».

– Я не по делу, – сказал он. – Просто собрался до понедельника в Монток. Вот и решил зайти по дороге.

– Очень кстати, – сказал я. – Мне как раз нужно вам кое-что отдать. – И протянул ему бумажник, откуда торчали двадцать долларов.

– Это вы зря. Сказал же я вам, что пришел не по делу.

– Возьмите!

– Как мне вас понимать?

– В наших местах так скрепляют договор.

– Но что случилось, вы обиделись?

– Ничуть не бывало.

– Так почему же?

– Возьмите! Торги еще не окончены.

– Господи, неужели Вэйландс предложил больше?

– Нет.

– Кто же, черт побери?

Я всунул двадцатидолларовую бумажку в его нагрудный карман, за уголок платка.

– Бумажник я оставляю себе, – сказал я, – он мне нравится.

– Послушайте, я не могу предложить другой цены, пока не снесусь с главной конторой. Подождите хотя бы до вторника. Я вам позвоню. Если вы услышите «Говорит Хью», знайте, что это я.

– Звоните, мне ваших денег не жаль.

– Но вы подождете, как я прошу?

– Подожду, – сказал я. – Увлекаетесь рыбной ловлей?

– Только в дамском обществе. Пробовал пригласить в Монток Марджи – конфетка, а не дамочка! Какое там! Напустилась на меня так, что я не знал, куда деваться. Не понимаю я женщин.

– Да, они все чудней и чудней становятся.

– Золотые ваши слова, – сказал он как-то по-старомодному. Он был явно озабочен. – Ничего не предпринимайте до моего звонка, – сказал он. – Господи, а я-то думал, что имею дело с наивным провинциалом.

– Я не намерен обманывать доверие хозяина.

– А, чушь. Вы просто хотели увеличить ставку.

– Я просто отказался от взятки, если вам так хочется называть вещи своими именами.

И вот вам доказательство, что во мне что-то изменилось. Я сразу вырос в глазах этого субъекта, и мне это понравилось. Даже очень понравилось. Прохвост решил, что мы с ним одного поля ягоды, но я покрупнее.

Перед самым закрытием лавки позвонила Мэри.

– Итен, – начала она, – ты только на меня не сердись...

– За что, моя былинка?

– Понимаешь, она такая одинокая, и мне... словом, я пригласила Марджи к обеду.

– Ну что же.

– Так ты не сердись?

– Да нет же, черт возьми!

– Не чертыхайся. Завтра Пасха.

– Ах, кстати. Почисть свои перышки. Мы завтра в четыре часа идем к Бейкерам.

– К ним домой?

– Да, мы приглашены к чаю.

– Мне придется идти в костюме, который я сшила для пасхальной службы.

– Прекрасно, лопушок.

– Так ты не сердись за Марджи?

– Я тебя люблю, – сказал я.

И я в самом деле люблю ее. Очень люблю. И, помню, я тут же подумал, каким сукиным сыном может иногда быть человек.

Глава V

С Вязовой улицы я свернул на дорожку, вымощенную щебнем, но посередине дорожки остановился и окинул взглядом старый дом. Я смотрел на него с особым чувством. Мой дом. Не Мэри, не отцовский, не Старого шкипера, а мой. Могу продать его, могу поджечь, а могу ничего с ним не делать.

Не успел я подняться на третью ступеньку, как дверь распахнулась и на меня обрушился Аллен с криком:

– А где «Пикс»? Ты принес «Пикс»?

– Нет, – сказал я. Но (чудо из чудес!) он не разразился воплями негодования и обиды и не стал призывать мать в свидетели, что я же ему обещал.

Он только горестно охнул и поплелся прочь.

– Добрый вечер, – сказал я его удаляющейся спине, и он остановился и повторил «Добрый вечер» так, как будто это было иностранное слово, которое он только что выучил.

Мэри вышла в кухню.

– Ты постригся, – сказала она. Любую перемену во мне она объясняет или температурой, или стрижкой.

– Нет, завитушка, я не стригся.

– А я тут совсем завертелась с приготовлениями.

– Приготовлениями?

– Я же тебе сказала, к обеду придет Марджи.

– Хорошо, но зачем такой тарарам?

– У нас уже сто лет не было гостей к обеду.

– Это верно. Что правда, то правда.

– Ты наденешь темный костюм?

– Нет, серый – Сивого мерина.

– А почему не темный?

– Помнется, а мне завтра идти в нем в церковь.

– Я утром могу отутюжить.

– Надену Сивого мерина, ни у кого в округе нет такого симпатичного костюма.

– Дети, – крикнула Мэри, – не смейте там ничего трогать! Я достала парадную посуду. Так не хочешь надеть темный?

– Не хочу.
– Марджи разрядится в пух и прах.
– Ей очень нравится Сивый мерин.
– Откуда ты знаешь?
– Она мне говорила.
– Выдумываешь.
– Она даже в газету писала об этом.
– Ну тебя. Смотри, будь с ней любезен.
– Я буду ухаживать за ней напропалую.
– Мне казалось, ты сам захочешь надеть темный – по случаю прихода Марджи.

– Послушай, травка, пять минут назад мне было совершенно все равно, какой костюм надевать – хоть вовсе никакого. Но ты устроила так, что я теперь просто должен надеть Сивого мерина.

– Назло мне?

– Вот именно.

Она горестно охнула, точно так же, как Аллен.

– Что у нас на обед? Я хочу подобрать галстук под цвет мясного блюда.

– Жареные цыплята. Не узнаешь по запаху?

– Узнаю, узнаю, Мэри, ты... – Но я не договорил. Стоит ли? Нельзя подавлять национальный инстинкт. Ее привлек день распродажи кур в гастрономическом магазине. Дешевле, чем у Марулло. Я не раз объяснял Мэри секрет этих распродаж в фирменных магазинах. Соблазнившись скидкой, вы входите в магазин, а там, глядишь, накупили кучу вещей уже без всякой скидки, просто так, заодно. Все это понимают, и все это делают.

Лекция, предназначенная для Мэри-медуницы, засохла на корню. Новый Итен Аллен Хоули идет в ногу с национальными увлечениями и по мере возможности обращает их себе на пользу.

Мэри сказала:

– Ты меня не обвинишь в вероломстве?

– Родная моя, какие доблести или прегрешения могут быть связаны с цыплятами?

– Понимаешь, уж очень у них дешево.

– Ты поступила мудро и хозяйственно.

– Тебе всё шуточки.

У меня в комнате дожидался Аллен.

– Можно мне посмотреть твой меч храмовника?

– Пожалуйста. Он в стенном шкафу, в уголке.

Это он знал не хуже меня. Пока я разоблачался, он извлек кожаный футляр, вытащил меч из ножен, обнажив блестящий клинок, и в воинственной позе замер перед зеркалом.

– Как твое сочинение?

– Чего?

– Ты, вероятно, хотел сказать: «Я не расслышал, папа»?

– Я не расслышал, папа.

– Я спрашиваю, как твое сочинение?

– А, сочинение! Отлично!

– Значит, пишешь?

– Факт.

– Как ты сказал?

– Пишу, папа.

– Можешь и шляпу посмотреть. В круглой кожаной коробке, на полке. Перо что-то желтеет.

Я влез в большую старинную ванну на ножках в виде львиных лап. В те времена размерами не стеснялись, делали так, чтобы можно было разлечься с комфортом. Я тер тело щеткой, смывая с себя бакалейную лавку и все заботы дня, потом побрился в ванне, не глядя, пальцами ощупывая кожу. В этом, бесспорно, есть что-то римское и упадочное. Только причесываться я подошел к зеркалу. Давно уж я себя не видел. Можно каждый день бриться и при этом никогда себя не видеть, особенно если не очень к тому стремишься. Красота – она вся на поверхности, но есть и такая красота, которая идет изнутри. Я, если уж на то пошло, предпочитаю последнее. Не то чтобы у меня было очень уж некрасивое лицо, просто, по-моему, в нем нет ничего интересного. Я попробовал придать своему лицу разные выражения, но из этого ничего не вышло. Вместо гордого, или просветленного, или грозного, или лукавого лица на меня смотрела все та же физиономия, только гримасничающая на разные лады.

Пока я был в ванной, Аллен уже успел напялить на голову украшенную страусовым пером шляпу храмовника. Если и у меня в этой шляпе такой же дурацкий вид, придется перестать ходить на собрания ложи. Кожаная коробка валялась открытая на полу. Дно было

обтянуто бархатом, с круглым горбом посередине, напоминавшим опрокинутую миску.

– Не знаю, можно ли отбелить пожелтевшее перо или придется покупать новое?

– Если купишь новое, это отдай мне, хорошо?

– Ну что ж. А где Эллен? Почему не слышно ее писклявого голоса?

– Она пишет то сочинение.

– А ты?

– Я пока обдумываю план. Но ты все-таки принесешь «Пикс»?

– Если не забуду. Ты бы сам зашел как-нибудь в лавку и взял.

– Ладно. Можно мне задать один вопрос... папа?

– Сочту за честь ответить.

– Верно, что на Главной улице когда-то целых два квартала были наши?

– Верно.

– И что у нас были китобойные суда?

– И это верно.

– А где же они теперь?

– Мы их потеряли.

– Как так?

– Очень просто – взяли да и потеряли.

– Ты все шутишь.

– Это довольно серьезная шутка, если вскрыть ее смысл.

– А мы сегодня вскрывали лягушку в школе.

– Полезное занятие. Для вас, но не для лягушки. Какой из этих галстуков мне надеть?

– Синий, – сказал он без всякого интереса. – Скажи, когда ты оденешься, ты бы не мог... не нашлось бы у тебя минуты подняться на чердак.

– Если за делом, найдется и больше минуты.

– Нет, правда?

– Правда.

– Ладно. Я тогда пойду вперед, зажгу там свет.

– Я сейчас – вот только завяжу галстук.

Его шаги гулко зазвенели на голой чердачной лестнице.

Если, повязывая галстук, я сосредоточиваюсь на этом занятии, то концы скользят и у меня ничего не получается, но если мои пальцы действуют сами по себе, они отлично справляются со своим делом. Я препоручил галстук пальцам, а сам стал думать о чердаке старого дома Хоули, моем чердаке моего дома. Это вовсе не темный, паутиной увитый каземат для всякого хлама и завали. Окошки с частым переплетом пропускают достаточно света, но старинное толстое стекло придает этому свету лиловатый оттенок, и предметы в нем кажутся зыбкими, точно мир, видимый сквозь воду. Убранные на чердак книги не ждут, когда их выбросят вон или пожертвуют Мореходному училищу. Они чинно восседают на полках, дожидаясь вторичного открытия. Стоят там кресла, старомодные или с обветшалой обивкой, но глубокие и удобные. Пыли немного. Если в доме уборка – уборка и на чердаке, а так как он большей частью заперт, неоткуда попадать пыли.

Помню, как в детстве, устав вгрызаться в алмазы книг, или терзаясь непонятной тоской, или уйдя в полудремотный мир фантазии, который требует уединения, я забирался на чердак и подолгу сидел там, свернувшись клубком в длинном, по форме тела выгнутом кресле, в лиловатых сумерках, льющихся из окна. Оттуда хорошо были видны четырехугольные стропила, поддерживающие крышу, – можно было рассмотреть, как они плотно входят паз в паз и закрепляются дубовыми шпонками. Особенно там уютно в дождь, все равно – чуть-чуть ли моросит или льет как из ведра. А книги в мерцающих бликах света – детские книги с картинками, хозяева которых давно выросли, оторвались от родного корня и разбрелись по свету: «Пустомеля» и выпуски «Ролло»; богато иллюстрированные божьи дела – «Наводнения»; «Приливы и отливы», «Землетрясения»; «Ад» Гюстава Доре со строфами Данте, забитыми, как кирпичи, между рисунками; щемящие душу сказки Ганса Христиана Андерсена; свирепая жестокость братьев Гримм, величие «Morte d'Arthur» с рисунками Обри Бердслея, болезненного, хилого человечка: ему ли иллюстрировать могучего великана Мэлори?^[11]

Я не раз удивлялся мудрости Андерсена. Король поверял свои тайны колдцу и мог быть спокоен, что никто его тайн не узнает. Хранитель тайн или рассказчик должен думать о том, кто его слушает или читает, потому что сколько слушателей, столько и различных

версий рассказа. Каждый берет в рассказе что может и тем самым подгоняет его к своей мерке. Одни выхватывают из него куски, отбрасывая остальное, другие пропускают его сквозь сито собственных предрассудков, третьи расцветчивают его своей радостью. Чтобы рассказ дошел, у рассказчика должны найтись точки соприкосновения с читателем. Без этого читатель не поверит в чудеса. Рассказ, предназначенный Аллену, должен быть совершенно иначе построен, чем если я вздумаю пересказать его Мэри, а для Марулло пришлось бы искать новую подходящую форму. Но, пожалуй, идеал – андерсеновский колодец. Он только слушает, отголоски же, возникающие в нем, негромки и быстро замирают.

Все мы, или большинство из нас, вскормлены наукой девятнадцатого столетия, которая объявляла несуществующим все, чего не могла объяснить или измерить. От этого необъяснимое не перестало существовать, но без нашей, так сказать, санкции. Мы упорно не желаем замечать то, чему не можем найти объяснение, и таким образом многое в мире остается уделом детей, безумцев, дурачков и мистиков, больше заинтересованных в явлении, чем в его причинах. У мира есть свой чердак, куда убрано множество старинных и прелестных вещей, которые мы не хотим иметь перед глазами, но не решаемся выбросить.

Одинокая лампочка без абажура свисает с потолочной балки. Настил из сосновых, вытесанных вручную досок в два дюйма толщиной и в двадцать шириной достаточно прочен, чтобы выдержать пирамиды ящиков и сундуков, среди которых теснятся завернутые в бумагу лампы, вазы и прочие опальные предметы роскоши. А на открытых полках выстроились в неярком свете поколения книг. Ни грязи, ни пыли – моя Мэри не знает пощады в борьбе за чистоту и дотошна, как унтер-офицер. Книги все расставлены в строгом порядке – по величине и по цвету переплета.

Аллен стоял, прислонившись лбом к одной из верхних полок, и рассматривал книги на нижних. Правой рукой он опирался на рукоятку меча, как на набалдашник трости.

– Ты точно живая аллегория, сын мой. Что-нибудь вроде: Юность, Война и Знание.

– Я хотел спросить тебя – ты говорил, здесь, пожалуй, найдется подходящий материал.

– Какой материал?

– Ну, всякая там патриотическая музыка для сочинения.

– Ах, вот что. Патриотическая музыка. Хорошо. Нравится тебе такой мотив: «Как ни прекрасна жизнь и как ни дорог нашему сердцу мир, но оковы рабства не слишком ли дорогая цена за это? Помилуй бог! Не знаю, что решат другие, но для меня есть один только выбор: свобода или смерть».^[12]

– Ух ты! Здорово запущено.

– Еще бы. В те времена были титаны на свете.

– Вот бы мне жить в те времена. Морские пираты. Ух и здорово! Пиф-паф, пиф-паф! На абордаж! Кубышки с золотом, красавицы в шелках и бриллиантах. Вот это жизнь! Папа, а ведь среди наших предков были пираты. Ты сам говорил.

– Это было пиратство особого рода – они назывались каперами. Пожалуй, им жилось не так сладко, как кажется издали. Сухари да солонина, солонина да сухари. И цинга тоже была не редкость в те времена.

– Ну и пусть, я бы не испугался. Я бы захватил золота побольше и привез домой. Теперь ведь так нельзя.

– Да, теперь масштабы крупнее и организация лучше. И называется это дипломатией.

– У нас в школе есть мальчик, который два раза получал приз на телевизионных конкурсах – раз пятьдесят долларов, а другой раз двести. Здорово, а?

– Должно быть, способный малый.

– Он-то? Ничего подобного. Он говорит, там это все на обмане. Главное – нужно изобрести подход.

– Подход?

– Ну да. Например, будто ты калека, или у тебя старенькая мама и ты разводишь лягушек, чтобы заработать ей на пропитание. Что-нибудь такое, что может пронять публику, – тогда наверняка выберут тебя. У него есть журнал, в котором напечатано про все-все конкурсы в Америке. Ты мне можешь достать такой журнал, папа?

– Гм, времена пиратства прошли, но дух, видно, жив и поныне.

– Какой дух?

– Получать так, задаром. Богатеть без всяких усилий.

– Ты мне достанешь журнал?

– Мне казалось, такие затеи не в ходу после всех скандалов со взятками.

– Черта с два! То есть я хотел сказать: ошибаешься, папа. Просто теперь это делается немного по-другому. А хорошо бы мне отхватить какой-нибудь приз!

– Вот именно – не выиграть, а отхватить.

– Ну и что? Деньги – все равно деньги, как бы они ни попали в руки.

– Не могу с этим согласиться. Все равно для денег, но не для того, кому они, как ты говоришь, попали в руки.

– А что тут плохого? Законом это не запрещено. Даже самые выдающиеся люди Америки...

– О Карл, сын мой, сын мой.

– Почему Карл?

– Тебе хочется быть богатым, Аллен? Очень хочется?

– А что, думаешь, приятно жить без мотоцикла? Когда, может, двадцать мальчишек раскатывают на мотоциклах. А думаешь, приятно, если дома не то что машины, телевизора даже нет.

– Просто ужасно.

– Да, тебе хорошо говорить. Я вот раз писал в школе сочинение «Мои предки» и написал, что мой прадедушка был шкипером китобойного судна.

– Что ж, это правда.

– А весь класс так и загоготал. И знаешь, как меня прозвали после этого Хоули-Китолоули. Думаешь, приятно?

– Должно быть, не очень.

– И если бы еще ты был хоть адвокатом или хоть служил в банке, что ли. Вот отхвачу приз, знаешь, что я первым делом сделаю?

– Ну что, например?

– Куплю тебе машину, чтобы у тебя кошки на душе не скребли, когда другие катят мимо.

Я сказал:

– Спасибо тебе, Аллен. – В горле у меня пересохло.

– Не за что, пустяки. Мне-то ведь все равно еще прав не дадут.

– Вот на этих полках, Аллен, ты найдешь речи всех выдающихся деятелей нашей родины. Очень советую тебе почитать их.

– Непременно почитаю. Мне это пригодится.

– Еще бы. Ну, желаю удачи. – Я тихонько спустился с лестницы, облизывая на ходу губы. Аллен был прав. На душе у меня скребли-таки кошки.

Как только я уселся в свое большое кресло с лампочкой на спинке, Мэри принесла мне газету.

– Ах ты, моя добрая.

– Знаешь, тебе идет этот костюм.

– А ты не только хорошая хозяйка – ты еще и хороший стратег.

– Мне нравится этот галстук, он под цвет твоих глаз.

– Я вижу, ты что-то скрываешь от меня. Ладно, ладно. Хочешь сделку: секрет за секрет?

– Да нет у меня никакого секрета, – сказала она.

– Нет – так выдумай!

– Не умею. Говори, Итен, что случилось?

– А не торчат поблизости любопытные ушки?

– Нет.

– Ну, слушай. Приходила сегодня Марджи Янг-Хант. Будто бы за кофе. А я думаю, она просто в меня влюблена.

– Да ну тебя, говори дело.

– Разговор у нас зашел о вчерашнем гаданье, и я сказал, что любопытно бы раскинуть карты еще раз и посмотреть, выйдет ли опять то же самое.

– Ты так сказал? Неправда.

– Правда. И она со мной согласилась.

– Но ты ведь не одобряешь такие вещи.

– Когда все складывается благоприятно – одобряю.

– И ты думаешь, она сегодня повторит гаданье?

– Если тебя интересует, что я думаю, так, по-моему, она только за тем и придет.

– Ну что ты! Ведь это я ее пригласила.

– Да, когда она тебя навела на это.

– Ты не любишь Марджи.

– Напротив, я чувствую, что начинаю ее очень любить и даже уважать.

– У тебя никогда не поймешь, что в шутку, а что всерьез.

Тут вошла Эллен, тихонечко, так что неизвестно было, подслушивала она или нет. Впрочем, наверно, подслушивала. Эллен

тринадцать лет, и она девчонка во всем, по-девчоночьи нежная и грустная, веселая и чувствительная, даже сентиментальная, когда ей это зачем-нибудь нужно. Она сейчас как тесто, которое только-только начинает подходить. Может, будет хорошенькой, а может, и не очень. Она любит прислониться к чему-нибудь, часто прислоняется ко мне, дышит мне в лицо, а дыхание у нее нежное, как у тельца. И ластиться она любит.

Эллен облокотилась на ручку кресла, в котором я сидел, и прислонилась худеньким плечиком к моему плечу. Провела розовым пальцем по моему рукаву, погладила волоски у запястья, так что мне даже щекотно стало. Светлый пушок у нее на руке блестел под лампочкой, как золотая пыль. Хитрушка она, да, верно, все они, девчонки, такие.

– Маникюр? – сказал я.

– Светлым лаком мама не позволяет. А у тебя ногти корявые.

– Да ну?

– Но чистые.

– Я их вычистил щеткой.

– Терпеть не могу, у кого грязные ногти, как у Аллена.

– Может быть, ты вообще Аллена терпеть не можешь?

– Ненавижу.

– Вот даже как. Что же ты смотришь – убей его, и дело с концом.

– Глупый папка. – Она тихонько почесала у меня за ухом.

Подозреваю, что уже не один малец из-за нее лишился покоя.

– Ты, говорят, всю работу над сочинением?

– А, наябедничал уже!

– Ну и как, успешно?

– Очень! Вот увидишь. Я тебе дам прочесть, когда кончу.

– Польщен. Я вижу, ты принарядилась по случаю гостей...

– Ты про это старье? Вот завтра я надену новое платье.

– Правильно. В церкви будут мальчики.

– Подумаешь, мальчики. Я ненавижу мальчиков.

– Это мне известно. Непримируемая вражда – твой лозунг. Я и сам их не очень люблю. Ну а теперь отодвинься немножко. Я хочу почитать газету.

Она взвилась, как кинозвезда двадцатых годов, и отомстила мне тут же, без промедлений:

– Когда ты разбогатеешь?

Да, плохо придется с ней кому-то. Первым моим побуждением было схватить ее и отшлепать, но ведь именно этого она и добивалась. Мне показалось, что у нее и глаза подведены. Сострадания в ее взгляде было не больше, чем во взгляде пантеры.

– В следующую пятницу, – сказал я.

– А нельзя ли поскорее? Надоела мне бедность. – И она проворно выскользнула из комнаты. Подслушивать у дверей тоже в ее духе. Я люблю ее, и это странно, ведь в ней все то, что мне ненавистно в других, но тем не менее я души в ней не чаю.

Не суждено мне было прочесть газету. Не успел я развернуть ее, явилась Марджи Янг-Хант. Она была причесана как-то по-особенному, по-парикмахерски. Мэри, верно, знает, как такие прически делаются, я – нет.

Утренняя Марджи, приходившая в лавку за кофе, подстерегала меня, точно капкан – медведя. Вечерняя вся была нацелена на Мэри. Если ее зад и пружинил на ходу, это было незаметно. Если ее строгий костюм и скрывал что-нибудь, он это скрывал надежно. Приятнейшая гостья для любой хозяйки – всегда готовая помочь, любезная, обходительная, тактичная, скромная. Со мной она держалась так, как будто мне с утра прибавилось лет сорок. Что за удивительные создания женщины! Не могу ими не восхищаться, даже если не совсем понимаю их.

Марджи и Мэри затянули обычную светскую литанию: «Что вы сделали со своими волосами?»... «Мне нравится»... «Это ваш цвет. Ни в коем случае не меняйте его»... – безобидные вымпелы женской опознавательной системы, и мне вспомнился лучший из всех слышанных мной анекдотов о женщинах. Встречаются две приятельницы: «Что вы сделали со своими волосами? Как будто парик». – «А это и есть парик». – «Неужели? Никогда бы не подумала».

Быть может, тут кроются такие тонкости, которых нам не дано понять.

За обедом восторги по поводу жареных цыплят перемежались с сомнениями в их съедобности. Эллен не спускала с гостьи пытливый взгляд, изучая все детали ее прически и грима. Тут я понял, как рано начинаются те скрупулезные наблюдения, на которых основана так

называемая женская интуиция. На меня Эллен старалась не смотреть. Она знала, что выстрелила наверняка, и ожидала мести. Отлично, злая моя дочка. Я тебе отомщу самым жестоким для тебя образом. Я забуду твои слова.

Обед был отменный, все сытно, всего слишком много, как и полагается на званых обедах, и целая гора посуды, не употребляемой в обычные дни. А после обеда кофе, чего у нас тоже не бывает в обычные дни.

– А кофе не отобьет у вас сон?

– Ничто не может отбить у меня сон.

– Даже я?

– Итен!

А после – тихая упорная борьба из-за посуды.

– Позвольте мне помочь.

– Нет, нет, ни в коем случае. Вы гостья.

– Ну, хоть убрать со стола.

Мэри нашла глазами детей и приготовилась к штыковой атаке. Они поняли, что им грозит, но податься было некуда.

Мэри сказала:

– У нас это всегда делают дети. Они любят мыть посуду. И так прекрасно моют, я просто горжусь ими.

– Подумайте, какие молодцы! Редкость по нашим временам.

– Вы правы. Нам в этом смысле повезло с детьми.

Я словно бы видел, как заметались их коварные умишки в поисках спасения. Поднять кутерьму, прикинуться больными, уронить две-три чудесные старинные тарелки. Мэри, должно быть, видела их насквозь. Она сказала:

– И что самое замечательное, у них никогда ничего не разбивается. Даже рюмки все целы.

– Ну, вы просто счастливая мать, – сказала Марджи. – Как вам удалось этого достигнуть?

– Я тут ни при чем. Такие уж они от природы. Есть, знаете, люди, у которых все из рук валится, а у Эллен и Аллена всегда были золотые руки.

Я взглянул на ребят – как они проглотят это? Им уже ясно было, что они попались. Неясно было только, поняла ли это Марджи. Но они

все еще надеялись найти путь к спасению. Я окончательно отрезал им этот путь.

– Приятно, конечно, слушать, как тебя хвалят, – сказал я, – но не будем их задерживать. Пусть принимаются за дело, а то опоздают в кино.

Марджи великодушно сдержала улыбку, а Мэри глянула на меня с изумлением и восторгом. О кино даже речи не было.

Где есть дети в возрасте от десяти до пятнадцати – тишины быть не может, даже когда их не слышно. Самый воздух вокруг них кипит. После ухода Эллен и Аллена весь дом словно вздохнул с облегчением. Недаром нечистая сила поселяется только там, где в семье есть подростки.

Оставшись втроем, мы стали осторожно петлять вокруг темы, которая неизбежно должна была возникнуть. Я достал из стеклянной горки три высоких бокала в форме лилии, привезенных из Англии бог знает сколько лет назад. И наполнил их из оплетенной галлоновой фляги, потускневшей от времени.

– Ямайский ром, – сказал я. – Когда-то Хоули были моряками.

– Видно, очень старый, – сказала Марджи Янг-Хант.

– Старше нас с вами и даже моего отца.

– Он как ударит в голову, только держись, – сказала Мэри. – Сегодня у нас особенный вечер. Итен угощает этим ромом лишь по случаю свадьбы или похорон. Милый, а это ничего, как ты думаешь? В самый канун Пасхи?

– Причастие тоже не кока-кола, родная моя.

– Мэри, я никогда не видела вашего мужа таким веселым.

– Это все ваше гаданье. – сказала Мэри. – Он словно переродился со вчерашнего дня.

Что за устрашающая штука человек, что за сложная система шкал, индикаторов, счетчиков, а мы умеем читать показания лишь немногих из них, да и то, может быть, неверно. Где-то в глубине моих внутренностей вспыхнула жгучая, слепящая боль и хлынула вверх и острым клином вонзилась под ребра. Буйный ветер заревел у меня в ушах и понес меня, как утлое суденышко, лишившееся мачт, прежде чем успели убрать паруса. Рот наполнился горечью, перед глазами все закачалось и поплыло. Сигналы тревоги, сигналы опасности, сигналы бедствия. Это схватило меня, когда я проходил за спиной моих дам,

согнуло пополам в нестерпимой муке и так же мгновенно отпустило. Я выпрямился и пошел дальше, и они даже ничего не заметили. Могу понять, почему в старину верили, что человек бывает одержим дьяволом. Я сам, кажется, готов в это поверить. Одержимость! Стремительное вторжение чего-то инородного и отчаянные попытки отпора, и поражение, и жалкие старанья умиловить захватчика и сжиться с ним. Насилие – вот верное слово, если можешь увидеть его в синеватом ореоле, точно пламя паяльной лампы.

Послышался голос моей любимой.

– Когда тебе говорят приятное, это только на пользу.

Я попробовал свой голос, он звучал ясно и твердо.

– Немного надежды, пусть даже безнадежной надежды, никому не может повредить, – сказал я и, убрав флягу, в буфет, вернулся на свое место, и выпил полбокала душистого старого рома, и удобно уселся в кресле, и заложил ногу на ногу, и обхватил колено руками.

– Я не понимаю Итена, – сказала Мэри. – Всегда он презирал гаданье, смеялся над такими вещами. Я просто не понимаю.

Кончики моих нервов шуршали, как сухая зимняя трава под ветром, переплетенные пальцы были сжаты так сильно, что даже побелели.

– Попытаюсь объяснить миссис Янг... Марджи, – сказал я. – Мэри происходит из родовитой, но бедной ирландской семьи.

– Не такие уж мы были бедные.

– Разве вы не слышите по ее речи?

– Пожалуй, теперь, когда вы сказали.

– Так вот, была у Мэри бабка, добрая христианка, только по ошибке не причисленная к лику святых.

Мне почудилась тень враждебности в моей любимой. Я продолжал:

– Но это не мешало ей верить во всяких там фей и духов, хотя официальная христианская теология их не признает.

– Это совсем другое дело.

– Не спорю, маленькая. Во всем можно найти различие. Но как я могу не верить в то, чего не знаю?

– Вы с ним поосторожнее, – сказала Мэри. – Он вам подстроит какую-нибудь словесную ловушку.

– Ну зачем же. Просто я ведь ничего не знаю о гаданьях и на чем они основаны. Как же я могу в это не верить? Я верю, что гадать можно, потому что я видел, как гадают.

– Но ты не веришь, что в гаданье может быть правда.

– Миллионы людей верят и даже платят за это деньги. Уж это одно вызывает интерес.

– Но ты не...

– погоди! Я не не верю, а не знаю. Это не одно и то же. Я не знаю, что чему предшествует – гаданье правде или правда гаданью.

– Я, кажется, понимаю, что он хочет сказать.

– В самом деле? – Мэри явно была недовольна.

– Гадалке чутье может подсказать то, что неизбежно должно случиться. Вы это хотели сказать?

– Так то гадалка. А карты откуда знают?

Я сказал:

– Карты сами не ложатся, их кто-то раскладывает.

Марджи не смотрела на меня, но я знал, что она чувствует растущее беспокойство Мэри и ждет указаний.

– А давайте проверим, – предложил я.

– Понимаете, смешно сказать, но эти силы словно бы обижаются, если их проверяют, и из проверки ничего не выходит. Но попробовать можно. А как?

– Вы совсем не пьете.

Они обе взяли свои бокалы, пригубили и поставили на стол. Я допил до дна и опять пошел за флягой.

– Итен, а не довольно тебе?

– Нет, маленькая. – Я наполнил свой бокал. – Что, если разложить карты втемную?

– А как же тогда читать по ним?

– Ну, тогда разложу я или Мэри, а вы прочтете.

– Считается, что карты отвечают только тому, кто их раскладывает, а впрочем, не знаю – попробуем.

Мэри сказала:

– А по-моему, если уж вообще делать, надо делать все как полагается. – Вполне в духе Мэри. Она не любит перемен – мелких перемен. С крупными она справляется на удивление, – может раскричаться из-за порезанного пальца, но при виде перерезанного

горла сохранит хладнокровие и деловитость. Меня кольнуло беспокойство: я ведь сказал Мэри, что у меня был с Марджи разговор насчет проверки, а тут выходило, будто мы только что надумали это.

– Мы ведь уже сегодня говорили, помните?

– Да, когда я приходила за кофе. У меня это целый день не шло из головы. Я и карты захватила.

Мэри склонна путать упорство со злостью и злость с проявлением силы, а силы она боится. Ее дядюшки – забулдыги и пьяницы – внушили ей этот страх, и, стыдно сказать, она никогда от него не избавится. Я почувствовал, что она испугалась.

– Не надо шутить с этим, – сказал я. – Сыграем лучше в казино. ^[13]

Марджи поняла мой маневр и воспользовалась им, должно быть, не в первый раз.

– Давайте сыграем.

– Судьба моя предсказана. Меня ждет богатство. Чего же еще надо?

– Вот видите, я вам говорила, что он не верит. Это его манера – обведет, заморочит, а сам в кусты. Он меня подчас просто до бешенства доводит.

– Я – тебя? Ни разу не замечал. Ты у меня всегда такая ласковая, милая женушка.

Бывает, вдруг словно почувствуешь токи, возникающие между людьми, встречные или противоположные. Не всегда, но бывает. Мэри не утруждает свой мозг упорядоченным мышлением, может быть, поэтому она более восприимчива. Атмосфера в комнате сделалась напряженной. Я подумал, что дружбе Мэри с Марджи пришел конец. Мэри теперь никогда не будет легко с нею.

– Мне правда хотелось бы просветиться насчет гаданья на картах, – сказал я. – Ведь я тут полный профан. Мне казалось всегда, что этим занимаются цыганки. Вы разве цыганка, Марджи? У меня не было ни одной знакомой цыганки.

Мэри сказала:

– Девичья фамилия у нее русская, она с Аляски.

Вот откуда эти широкие скулы.

Марджи сказала:

– У меня есть преступная тайна, которую я от вас скрыла, Мэри, – о том, как я попала на Аляску.

– Аляска раньше принадлежала русским, – сказал я. – Мы ее купили у России.

– Да, но известно ли вам, что это было место ссылки, как Сибирь, только для более опасных преступников?

– Для каких же?

– Самых опасных. Мою прабабку сослали туда по суду за колдовство.

– А что она делала?

– Наклика́ла бурю.

Я засмеялся.

– Так это у вас наследственная способность.

– Наклика́ть бурю?

– Нет, предсказывать судьбу – пожалуй, это одно и то же.

Мэри сказала:

– Вы шутите. Это неправда.

– Я, может быть, и шучу, Мэри, но это чистая правда. Колдовство считалось самым тяжким преступлением, хуже убийства. У меня сохранились прабабкины бумаги – только там, конечно, все по-русски.

– А вы знаете русский язык?

– Знала, но почти все забыла.

Я сказал:

– Может быть, и в наши дни колдовство – самое тяжкое преступление.

– Ну, не права я была? – сказала Мэри. – То он в одну сторону вильнет, то в другую. И никогда не узнаешь, что у него на уме. Вчера – да нет, это уже сегодня – встал до зари и ушел из дому. Пройтись ему захотелось.

– Я негодяй, – сказал я. – Отъявленный закоренелый мерзавец.

– Мне все-таки хочется, чтобы Марджи погадала, но только ты, пожалуйста, не вмешивайся. А то за разговором мы упустим время, пока детей нет дома.

– Одну минутку, – сказал я. Я поднялся наверх, в спальню. Меч храмовника все еще лежал на постели, а коробка со шляпой стояла открытая на полу. Я прошел в ванную и спустил в унитазе воду. У нас, когда спускаешь воду, по всему дому слышно, как она льется. Я намочил полотенце холодной водой и приложил ко лбу и к глазам. В голове у меня давило так, что глаза, казалось, вылезают из орбит. От

холодной воды стало легче. Я присел на унитаз и уткнулся лицом в мокрую ткань, а когда она согрелась, намочил ее еще раз. Проходя опять через спальню, я выхватил из коробки шляпу храмовника и, надев ее на голову, спустился вниз.

– Фу, глупый, – сказала Мэри. Она улыбнулась и повеселела. Болезненная напряженность исчезла.

– Можно ли отбелить страусовое перо? – спросил я. – Оно стало совсем желтое.

– Наверно, можно. Надо спросить мистера Шульца.

– Зайду к нему в понедельник.

– Мне хочется, чтобы Марджи погадала, – сказала Мэри. – Мне очень-очень хочется.

Я водрузил шляпу на столбик лестничных перил, и он сделался очень похож на подвыпившего адмирала – если такое явление возможно.

– Достань ломберный столик, Ит. Нужно много места.

Я принес столик из чулана, раскрыл его и укрепил ножки.

– Марджи не любит сидеть в кресле.

Я пододвинул стул:

– А нам что делать?

– Сосредоточиться, – сказала Марджи.

– На чем?

– По возможности ни на чем. Карты у меня в сумке, вон там, на диване.

Я всегда представлял себе гадальные карты засаленными, пухлыми и мятыми, но эти были чистенькие и блестели, словно пластмассовые. Они были длинней и уже игральных карт, и в колоде их было гораздо больше, чем пятьдесят две. Марджи сидела за столом очень прямая и разбирала колоду – ярко раскрашенные фигуры со сложной иерархией мастей. Названия были все французские: l'empereur, l'ermite, le chariot, la justice, le mat, le diable^[14]; земля, солнце, луна, звезды, а мастей тоже четыре: мечи, чаши, дубинки и деньги – я так думаю, что deniero должно означать деньги, хотя рисунок напоминал геральдическую розу, – и в каждой масти свои король, королева и валет. Потом еще какие-то странные, жутковатые карты – башня, расколота молнией, колесо фортуны, виселица с

человеком, подвешенным за ноги, – le pendu, и смерть – la mort, скелет с косой.

– Довольно мрачные картинки, – сказал я. – Они и обозначают то, что на них изображено?

– Смотря по тому, как лягут. Если карта легла вверх ногами – значение будет обратное.

– А вообще значение может меняться?

– Может. Это уже вопрос толкования.

За картами Марджи сразу сделалась официально сдержанной. Под ярким светом ее руки выдавали то, что я уже однажды заметил: что она старше, чем кажется.

– Где вы научились этому? – спросил я.

– Девочкой я часто смотрела, как гадают бабушка, а потом стала брать с собой карты, когда шла в гости, – вероятно, как способ привлечь внимание.

– А вы сами верите?

– Не знаю. Иногда происходят странные вещи. Не знаю.

– Может быть, все дело в том, что карты заставляют сосредоточиться – психическая тренировка своего рода?

– Мне иногда самой так кажется. Бывает, я даю карте значение, которое ей вообще не свойственно, и в этих случаях почти никогда не ошибаюсь. – Ее руки двигались, точно живые существа, тасуя и снимая, тасуя и снимая, и наконец пододвинули ко мне колоду, чтобы я снял.

– На кого будем гадать?

– На Итена! – вскричала Мэри. – Посмотрим, сойдется ли со вчерашним.

Марджи взглянула на меня.

– Светлые волосы, – сказала она, – голубые глаза. Вам еще нет сорока?

– Сорок.

– Король дубинок. – Она достала карту из колоды. – Вот это вы. – Король в мантии и в короне, с увесистым красно-синим скипетром и внизу надпись: Roi de Baton. Она положила карту на стол лицом кверху и снова перетасовала колоду. Потом стала быстро раскладывать остальные карты, приговаривая нараспев. Одна карта легла над моим королем. – Это вам для покрова. – Вторая поперек первой. – Это вам

для креста. – Третья – сверху. – Это вам для венца. – Четвертая – снизу. – Это вам для опоры. Это – что было, это – что будет. – Карты ложились одна за другой, образуя на столе большой крест. Наконец она быстро выложила четыре карты в ряд слева от креста, говоря: «Для вас, для дома, что ожидается, как сбудется». – Последняя карта оказалась человек, повешенный за ноги, но я, сидя по другую сторону стола, видел его в нормальном положении.

– Неплохо сбудется.

– Это может означать спасение, – сказала она, кончиком указательного пальца обводя нижнюю губу.

Мэри спросила:

– А про деньги тут есть?

– Да, есть, – сказала она рассеянно. И вдруг смешала все карты, тщательно перетасовала их и снова принялась раскладывать, бормоча свои заклинания. Казалось, она не всматривается в каждую отдельную карту, но воспринимает всю картину в целом, и взгляд у нее был задумчивый и туманный.

Отличный номер, думал я, гвоздь программы для вечера в дамском клубе, да и где угодно. Так, верно, выглядела пифия – холодная, непроницаемая, загадочная. Сумей долго продержаться людей в напряженном, тревожном, захватывающем дух ожидании, и они поверят чему угодно – важны не действия, важна техника, расчет времени. Эта женщина зря растрчивает талант на коммивояжеров. Но что ей нужно от нас, от меня? Вдруг она снова смешала все карты, собрала их в колоду и вложила в красный футляр, на котором значилось: «L. Muller et Cie, Fabrique de Cartes». ^[15]

– Не могу, – сказала она. – Бывает иногда.

Мэри спросила, едва дыша:

– Вы что-то увидели в картах, о чем не хотите говорить?

– Да нет, я скажу, пожалуйста! Однажды, совсем еще девочкой, я увидела, как змея меняет кожу, гремучая змея Скалистых гор. И вот сейчас, когда я смотрела в карты, они вдруг куда-то исчезли и вместо них я увидела ту самую змею, частью в старой коже, пыльной и стертой, частью в новой и блестящей. Вот и понимайте, как хотите.

Я сказал:

– Это похоже на транс. С вами такое уже бывало?

– Да. Три раза.

– И так же непонятно к чему?

– Мне непонятно.

– И всегда змея?

– О нет! Другие вещи, но такие же нелепые.

Мэри сказала с увлечением:

– Может быть, это означает ту самую перемену в судьбе Итена?

– Разве Итен – змея?

– А! Понимаю, понимаю, – сказал я.

– У меня даже мурашки по телу пошли, – сказала Марджи. –

Когда-то мне не были противны змеи, но с годами я их возненавидела. Меня в дрожь бросает от одной мысли о змее. И вообще мне пора домой.

– Итен вас проводит.

– Пусть и не думает.

– Отчего же, я с удовольствием.

Марджи улыбнулась, глядя на Мэри.

– Держите его при себе, да покрепче, – сказала она. – Не знаете вы, каково жить одной.

– Что за вздор, – сказала Мэри. – Вам достаточно пальцем шевельнуть, и у вас будет муж.

– Раньше я так и делала. Да толку мало. Кого так легко заполучить, тот немного стоит. Держите, держите своего. А то как бы его не увели. – Она уже успела надеть пальто – она не из тех, что прощаются по часу. – Чудесный был обед. Буду ждать, когда вы меня еще позовете. Не сердитесь за гаданье, Итен.

– Увидимся завтра в церкви?

– Нет. Я еду в Монток до понедельника.

– В такую сырость и холод?

– Я люблю утренний морской воздух. Спокойной ночи. – Она исчезла прежде, чем я успел распахнуть перед нею дверь, точно спасалась от погони.

Мэри сказала:

– Я даже не знала, что она собирается за город.

Не мог же я ответить: «Она и сама этого не знала».

– Итен, что ты думаешь о ее гаданье?

– Так ведь она ничего не нагадала.

– Нет, ты забыл, она сказала про деньги. Но я не об этом. Тебе не кажется, она прочла в картах что-то, чего не захотела говорить? Что-то, что ее испугало.

– Просто эта змея, должно быть, запала ей в память.

– А ты не думаешь, что тут есть... какой-то другой смысл?

– Коврижка медовая, это ты у нас специалист по гаданьям. Откуда мне знать.

– Во всяком случае, я рада, что ты так дружелюбен с ней. Мне казалось, ты ее не выносишь.

– Я хитрый, – сказал я. – Умею скрывать свои чувства.

– Только не от меня. Они, наверно, останутся на второй сеанс.

– Кто останется?

– Дети. Они всегда смотрят два сеанса. Как это ты ловко придумал с посудой.

– Я коварный, – сказал я. – И в свое время я намерен посягнуть на твою честь.

Глава VI

Мне часто приходилось откладывать решение какого-нибудь вопроса на будущее. Потом, выкроив в один прекрасный день время для раздумий, я вдруг обнаруживал, что у меня уже все продумано, выход найден и решение вынесено. Так, вероятно, бывает со всеми, просто мне не дано это знать. Будто в темных, необитаемых пещерах сознания сошлись на совет какие-то безликие судьи и приговор готов. Эта бессонная, тайная область всегда представляется мне как черные, непроницаемые стоячие воды – глубокий омут, откуда редко что всплывает на поверхность. А может быть, это огромная библиотека, где сберегается все, что когда-либо произошло с живой материей с того первого мига, когда она начала жить.

Некоторые люди, по-моему, имеют более свободный доступ в этот тайник – например, поэты. Однажды, когда мне пришлось работать разносчиком газет, а будильника у меня не было, я выработал систему подачи сигнала и получения на него ответа. Ложась вечером в постель, я представлял себе, будто стою у края черной воды. В руке у меня белый камень, совершенно круглый белый камень. Я пишу на нем угольно-черными буквами «4 часа», потом бросаю его в воду и слежу, как он крутится, крутится, уходя вниз, и наконец исчезает. Это действовало безотказно. Я просыпался ровно в четыре часа. В дальнейшем я заставлял себя просыпаться и без десяти минут четыре и четверть пятого. И ни разу не проспал.

А иногда бывает и так, что нечто странное, нечто мерзкое высовывается над гладью этих вод, будто морская змея или какое-то чудище, возникающее из бездонных глубин.

Прошел только год, с тех пор как Деннис, брат Мэри, умер у нас в доме, умер в ужасных муках от базедовой болезни. Общая интоксикация разогнала микробы страха по всему его организму, и он потерял всякую власть над собой, метался, буйствовал. На этой по-ирландски добродушной лошадиной физиономии проступило что-то звериное. Я помогал держать его, успокаивал, старался рассеять предсмертный бред, и так продолжалось неделю, до тех пор пока у него не начался отек легких. Я не хотел, чтобы Мэри видела, как он умирает. Она никогда не видела умирающих, а я знал, что такая смерть

может убить в ней светлую память о хорошем, добром человеке, который был ее братом. И вот однажды, когда я дежурил у его постели, из глубин тех черных вод выплыло чудовище. Я возненавидел Денниса. Мне хотелось убить его, перегрызть ему горло. У меня сводило челюсти и, кажется, даже губы вздрагивали, обнажая клыки, как у волка, рвущего добычу.

Когда все было кончено, я, придавленный чувством вины, со страху признался в этом старенькому доктору Пилу, который подписывал свидетельство о смерти.

– То, о чем вы говорите, по-моему, не такое уж редкое явление, – сказал он. – Мне приходилось подмечать это в людях, но мало кто в таких вещах признается.

– Но откуда это во мне? Я к нему очень хорошо относился.

– Может быть, атавистическая память, – сказал он. – Может быть, возврат к тем временам, когда больные и раненые в стае представляли собой опасность. Некоторые животные и многие рыбы рвут на части и пожирают своих обессиленных собратьев.

– Но я не животное и не рыба.

– Да, вы не то и не другое. И, вероятно, поэтому такие ощущения кажутся чуждыми вашей натуре. Но они сидят в вас. Сидят крепко.

Доктор Пил хороший человек – старенький, усталый. Вот уже пятьдесят лет он встречается нас на этом свете и провожает на тот.

Но вернусь назад, к совету судей во тьме – там, видно, работают не считаясь с временем. Иной раз кажется, будто человека подменили, и мы говорим: «Нет, он на такое не способен. Это не похоже на него». Но, может быть, мы ошибаемся? Вернее всего, он предстал перед нами под другим углом, или же давление сверху или снизу изменило его форму. На войне сплошь и рядом так: трус становится героем, а у храбреца душа уходит в пятки. А то вдруг читаешь в утренней газете – добрый человек, хороший семьянин зарубил топором жену и детей. По-моему, человек меняется непрерывно. Но бывают минуты, когда перемены в нем становятся явными. Копнуть бы поглубже, и, может быть, я добрался бы до корней, откуда с самого моего рождения и даже еще раньше произрастала теперешняя перемена во мне. С недавних пор мелочи стали складываться одна за другой, образуя какой-то крупный узор. То или иное событие, те или иные наблюдения подзуживали меня и толкали на путь, противоположный моему

естественному пути или тому, который я считал естественным, – путь продавца из бакалейной лавки, неудачника, человека без инициативы, без надежд на будущее, связанного по рукам и ногам необходимостью накормить и одеть-обуть свое семейство, отгороженного со всех сторон привычками и устоями, которые кажутся ему высокоморальными и даже добродетельными. А возможно, еще и так, что во мне развилось самодовольство, ибо я считал себя тем, кого принято называть «хорошим человеком».

И, конечно, я знал, что творится вокруг. Марулло незачем было вдаваться в объяснения. Трудно жить в маленьком городке – таком, как наш Нью-Бэйтаун, – и ничего не знать о его делах. Правда, я над ними не очень задумывался. Судья Доркас по знакомству любезно освобождал от штрафов за нарушение правил уличного движения. Это даже не считалось нужным держать в тайне. Но любезность требует ответной любезности. Мэр города, он же фирма «Бадд – Строительные материалы», по высоким ценам продавал городу различное оборудование, подчас совершенно ненужное. Когда должны были асфальтировать новую улицу, вдруг выяснилось, что участки по обе ее стороны скуплены мистером Бейкером, Марулло и пятью-шестью другими финансовыми воротилами еще до того, как очередной план городского благоустройства стал официально известен. Все это было как бы в порядке вещей, но мне-то казалось, что я живу, руководствуясь какими-то иными законами. Марулло, и мистер Бейкер, и коммивояжер, и Марджи Янг-Хант, и Джой Морфи каждый по-своему подзуживали меня, а их старания, слитые воедино, превращались в весьма ощутимые толчки и вот пожалуйста: «Надо выбрать время и обдумать это как следует».

Моя ненаглядная с архаической улыбкой на губах мурлыкала во сне, и чувствовалось, что спать ей особенно удобно и уютно, как это всегда бывает с ней после нашей любви, после того как в ней все утихнет и успокоится.

Меня должен бы сморить сон после вчерашних ночных скитаний, но не тут-то было. Я давно заметил, что, когда не надо рано вставать, мне не сразу удается заснуть с вечера. Красные пятна плавали у меня перед глазами, уличный фонарь отбрасывал на потолок тени голых веток, и их сплетение медленно и величаво раскачивалось там, потому что на улице дул весенний ветер. Окно было наполовину открыто, и

белые занавески вздувались на нем, точно паруса лодки, отдавшей якорь. Мэри всегда стоит за белые занавески и чтобы их почаще стирать. Ей кажется, будто с белыми занавесками прилично, солидно. Она немного сердится для виду, когда я говорю, что в ней сказывается ее ирландская душа, обожающая всякие кружевца и оборочки.

Мне тоже было спокойно и хорошо. Но моя Мэри обычно сразу ныряет в сон, а у меня его не было ни в одном глазу. Мне хотелось как следует насладиться своим хорошим самочувствием. Хотелось думать о конкурсе на тему «Я люблю Америку», в котором примут участие мои отпрыски. Но за этими и некоторыми другими мыслями стояло еще нечто: надо было обдумать, что такое со мной происходит и как мне с этим быть, и, разумеется, последнее вышло на первое место, и я убедился, что судьи темных глубин уже все за меня решили. Решение лежало готовенькое, непреложное. Так бывает, когда тренируешься, готовишься к состязанию и вот наконец ты на старте и шипы твоих ботинок уперлись в колодку. Тут уж выбора не остается. Выстрел – и рывок вперед. Я понял, что шипы мои упираются в колодку и я жду только выстрела. И, вероятно, мне пришлось узнать об этом последним. Весь день мне говорили, что я хорошо выгляжу, понимай: не такой, как всегда, а более уверенный в себе. У коммивояжера физиономия днем была явно растерянная. Марулло поглядывал на меня как-то беспокойно. А Морфи вдруг почувствовал необходимость извиниться передо мной за мою же провинность. Потом – Марджи Янг-Хант с ее гремучей змеей. Может, она оказалась пронизательнее всех? Так или иначе, Марджи нащупала и открыла во мне нечто такое, в чем я сам еще не был уверен. И символ этого – гремучая змея. Я почувствовал, что улыбаюсь в темноте. А потом сбита с толку, она воспользовалась испытаннейшим средством – угрозой неверности, и это было как привада, брошенная в реку, чтобы узнать, какая рыба там кормится. Я не запомнил чуть слышного шепота ее тела, скрытого одеждой. Передо мной маячил другой образ: узловатые руки, выдающие возраст, беспокойство и ту жестокость, которая рождается в человеке, когда он перестает быть хозяином положения.

Мне иногда хочется вникнуть в природу ночных раздумий. Они в тесном родстве со снами. Иногда я могу сам управлять ими, но бывает и так, что они проносятся по мне, точно могучие, закусившие удила кони.

Пришел Дэнни Тейлор. Я не хотел думать о нем свои грустные думы, но он взял и пришел. Тогда я вспомнил об одной уловке, которой меня научил наш сержант, бывалый старый вояка. Уловка эта здорово помогает. Выдались однажды на фронте день и ночь, и еще один день, и они слились воедино, в одно целое, а части целого вместили в себя весь ужас и всю мерзость того грязного дела. Пока все это длилось, я вряд ли чувствовал что-либо сквозь невыразимую усталость, да и некогда мне было заниматься своими чувствами, но потом этот день-ночь-день повадился посещать меня во время моих ночных раздумий, и под конец эти посещения превратились в нечто вроде той болезни, которую называют теперь шоковым состоянием, а раньше именовали контузией. Как только я ни ухищрялся, чтобы не думать об этом, но это возвращалось ко мне, несмотря ни на что. Днем оно затаивалось, а дождавшись ночи, бросалось на меня в темноте. Однажды, размякнув во хмелю, я заговорил об этом со своим сержантом, кадровиком, участником войн, о которых мы и думать забыли. Если бы он носил все свои орденские ленточки и планки, на гимнастерке у него не осталось бы места для пуговиц. Майк Пуласки – поляк из Чикаго (не путать с прославленным генералом). По счастью, он был навеселе, не то надулся бы и промолчал, повинувшись закоренелому предубеждению относительно братания с офицерами.

Майк выслушал меня, уставясь мне прямо в переносицу.

– Как же, знаю! – сказал он. – Бывает. Только не вздумайте гнать это из головы. Не поможет. Надо наоборот.

– Как это, наоборот?

– Это ведь надолго, сразу не отвяжется. Надо вспоминать всё подряд с самого начала и доводить до конца. Как только накатит, так и начинайте – с первой и до последней минуты. Потом глядишь, ему надоест, и оно начнет будто отваливаться по кускам, а там и вовсе уйдет.

Я попробовал – и помогло. Не знаю, известно ли такое пользование нашим лекарям, и если нет, то не мешало бы им поинтересоваться.

Когда мою ночь навестил Дэнни Тейлор, я применил к нему метод сержанта Майка.

Помню нас мальчишками – одних лет, одного роста, одного веса – и как мы с ним ходили в фуражную лавку на Главной улице и

становились на весы. Одну неделю я тянул на полфунта больше, следующую – Дэнни сравнивался со мной. Мы вместе удили рыбу, вместе охотились, купались, ухаживали за одними и теми же девчонками. Родители у Дэнни были люди состоятельные, как большинство старых семейств Нью-Бэйтауна. Дом Тейлоров – тот белый особняк на Порлоке, с высокими дорическими колоннами. Когда-то у Тейлоров был и загородный дом в трех милях от города.

Местность у нас холмистая – куда ни глянь, все холмы, поросшие деревьями, где низкорослой сосной и мелким дубняком, а где орешником и кедром. Когда-то давным-давно, еще до моего рождения, дубы у нас были настоящие великаны – такие великаны, что пока их не свели окончательно, кили, шпангоуты и обшивка для судов местной постройки заготавливались в двух шагах от верфи. Среди этих уютных холмов и увалов на большом лугу – единственном ровном месте на много миль вокруг, – у Тейлоров когда-то стоял дом. В давние времена это, вероятно, было дно озера, потому что луговина тянулась ровная, как стол, а вокруг нее шли невысокие холмы. Лет шестьдесят назад Тейлоры сгорели и так и не отстроились. Мальчишками мы с Дэнни, бывало, ездили туда на велосипедах. Играли в каменном погребе, строили охотничий домик из кирпичей старого фундамента. Парк здесь, судя по всему, был великолепный. Среди порослей вернувшегося сюда леса еще угадывались аллеи, сохранился намек на строгие линии живых изгородей и бордюров. Там и сям виднелись остатки каменной балюстрады, а однажды мы нашли бюст Пана на сужающемся кверху пьедестале. Пан валялся лицом в траве, зарыв в землю свои рожки и бороду. Мы подняли его, обмыли и первое время отдавали ему всяческие почести, но потом жадность и интерес к девушкам взяли в нас верх. Пан был вывезен на тачке во Фладхэмтон и продан старьевщику за пять долларов. Это, наверно, была неплохая скульптура, может, даже какая-нибудь древность.

Мальчишки не могут жить без друзей, вот так дружили и мы с Дэнни. Потом он попал в Военно-морское училище. В форме я видел его только раз, а после этого мы не встречались несколько лет. Нью-Бэйтаун – город маленький, тайн у нас нет. Все знали, что Дэнни выгнали из училища, но вслух это не обсуждалось. Тейлоры вымерли – собственно говоря, так же, как и мы, Хоули. Из нашей семьи в живых остался один я, ну и, разумеется, мой сын Аллен. Дэнни вернулся в

Нью-Бэйтаун только после смерти всех своих родичей, и вернулся он запойным пьяницей. Первое время я старался помочь ему, но он не нуждался в моей помощи. Он ни в ком не нуждался. И все-таки, несмотря ни на что, мы с ним были близки, очень близки.

Я перебрал все, что мог вспомнить о нас, вплоть до того утра, когда он взял у меня доллар, чтобы напиться в каком-нибудь притоне.

Происходившую во мне перемену подготавливали мои собственные чувствования и давления извне – желания Мэри, требования Аллена, вспышки Эллен, советы мистера Бейкера. Только в последнюю минуту, когда все готово и смонтировано, мысль кроет крышей возведенную тобой постройку и подсказывает тебе слова для всяческих объяснений. А что, если мое скромное служение бакалее, которому не видно конца, отнюдь не добродетель, а следствие душевной лености? Успех требует отваги. Может, я просто робею, опасаясь, как бы чего не вышло, словом, ленюсь? В успешных операциях моих сограждан нет никакой особой премудрости, никаких особых тайн, и не столь уж они успешны – именно потому, что эти люди ставят искусственные преграды на своем пути. Преступления их мелкотравчатые, и так же мелкотравчат их успех. Если бы расследовать с пристрастием деятельность наших городских властей и весь финансовый комплекс Нью-Бэйтауна, то обнаружили бы нарушения сотен деловых и несметного множества моральных устоев, но все это были бы мелкие провинности – не серьезнее карманных краж. Отмене подвергалась только часть заповедей, прочие оставались в силе. И когда кто-нибудь из наших преуспевающих дельцов достигал поставленных перед собой целей, ему ничего не стоило вернуться к своим прежним добродетелям, все равно что сменить рубашку, и, насколько можно было судить, он не терпел никакого морального ущерба, нарушив долг, – разумеется, при условии, что его не ловили за руку. Задумывался ли над этим кто-нибудь из них? Не знаю. Итак, мелкие грешки простительны, но почему же тогда не отпустить самому себе преступления, совершенного одним махом, смело, без сантиментов? Неужели медленное, постепенное выжимание соков из человека лучше, чем быстрый благодетельный взмах ножа? Я совсем не чувствовал за собой вины, когда убивал немцев. А если мне отменить, но только на время, все законы до одного, не ограничиваясь двумя-тремя? Разве их нельзя восстановить после того, как цель будет

достигнута? Ведь бизнес – та же война, это факт неоспоримый. Почему же тогда не объявить тотальную войну ради достижения мира? Мистер Бейкер и его дружки не застрелили моего отца, но помогли ему советом и когда возводимая им постройка рухнула, они оказались в выигрыше. Разве это не убийство? И разве миллионные состояния, перед которыми мы благоговеем, можно было скопить, не проявляя жестокости? Вряд ли.

Если я отменю на время все законы и правила, без шрамов мне не обойтись, но чем они будут хуже тех, что остались у меня после всех моих неудач? Ведь жить – это значит покрываться шрамами.

Все мои раздумья были флюгерами на крыше здания, возведенного из тревог и сомнений. Не мы первые, не мы последние. Но если я отворю эту дверь, удастся ли мне снова захлопнуть ее? Не знаю. И не смогу узнать, пока не попробую. А мистер Бейкер знал? Да приходила ли ему в голову такая мысль? Старый шкипер думал, что Бейкеры сожгли «Прекрасную Адэр» ради страховки. Может быть, это обстоятельство да еще злключения моего отца и подвигли мистера Бейкера на то, чтобы помочь мне? Не это ли его шрамы?

То, что происходило со мной, можно сравнить с маневрами большого судна, которое тянут, подталкивают, вертят и так и сяк множество мелких буксиров. Послушное им и волнам, оно должно лечь на новый курс и развести пары. Стоя на капитанском мостике, откуда ведется командование, надо сказать самому себе: «Теперь я знаю, куда мне плыть. Так вот – как туда добраться, где там подводные камни и будет ли погода благоприятствовать плаванию?»

Один из самых опасных рифов – это болтовня. В тоске по славе – по любой славе, даже если ее принесет поражение, – столько людей предали сами себя до того, как их предали другие. Колодец Андерсена, вот кому единственному можно довериться – колодцу из сказки Андерсена.

Я окликнул Старого шкипера: «Прикажете лечь на курс? А верен ли этот курс, сэр? Приведет ли он меня, куда нужно?»

И впервые Старый шкипер отказался дать мне команду. «Сам все решай. Что одному на пользу, другому во вред, а наперед не угадаешь».

Старый хрыч мог бы подсказать мне что-нибудь, но, кто знает, может, это ничего бы не изменило? Советов мы не любим – нам нужно поддакивание.

Глава VII

Когда я проснулся, моя сонливая старушка Мэри уже встала и ушла, а в кухне закипал кофе и жарился бекон. До меня доносился их аромат. И какой день для воскресения из мертвых! Весь зеленый, голубой, золотистый. Лучшего, пожалуй, и не подберешь. Из окна спальни было видно, как все воскресает – трава, деревья. Подходящее время года отвели для этого праздника. Я надел халат, подаренный мне к рождеству, и домашние туфли – подарок ко дню рождения. Потом отыскал в ванной какую-то страшно клейкую помаду, которую употребляет Аллен, и так насандалил ею волосы, что после щетки и гребня кожу у меня на голове стянуло, точно резиновой шапочкой.

Пасхальный завтрак – настоящая оргия, когда стол ломится от оладий, яиц и бекона, завывающего на сковороде своими прожаренными краешками. Я подкрался к Мэри, шлепнул ее по обтянутому шелком задку и сказал:

– Kyrie eleison!^[16]

– Ой! – сказала она. – Я не слышала, как ты подошел. – Потом оглядела мой узорчатый, турецкими огурцами, халат. – Тебе идет, – сказала она. – Почему ты его редко носишь?

– Когда же мне его носить? До сих пор все как-то некогда было.

– Правда, очень хорошо, – сказала она.

– И неудивительно. Ведь ты сама его выбирала. Неужели ребята спят и не чуют этих восхитительных запахов?

– Нет, нет. Они во дворе, прячут крашеные яйца. Интересно, что там мистер Бейкер задумал?

Такие резкие переходы всегда застигают меня врасплох.

– Мистер Бейкер, мистер Бейкер!.. А, да! Он, вероятно, задумал устроить мое будущее.

– Ты ему говорил? Про гаданье?

– Конечно, нет, дорогая. Но, может, он сам догадался. – Потом я перешел на серьезный тон: – Слушай, ватрушка, ты ведь не сомневаешься в моих недюжинных финансовых способностях?

– Почему ты вдруг об этом спрашиваешь? – Она переворачивала оладьи на сковороде и, поддев одну ножом, так и застыла с вытянутой рукой.

– Мистер Бейкер считает, что я должен пустить в оборот деньги твоего брата.

– Ну, если мистер Бейкер...

– Стой, подожди. Я не хочу этого делать. Деньги твои, это твое обеспечение.

– Все-таки, милый, мистери Бейкеру лучше знать.

– Я в этом не уверен. Мне известно только, что мой отец тоже так считал. И поэтому я работаю на Марулло.

– И все-таки мистер Бейкер...

– Ты положишься на мое суждение, родная?

– Да, конечно...

– Во всем?

– Ты опять дурачишься?

– Я совершенно серьезно – как никогда.

– Ну, допустим. Но сомневаться в мистере Бейкере?... Ведь он... он...

– Он – мистер Бейкер. Мы послушаем, что нам предложат, а потом... Пусть эти деньги как лежали в банке, так и лежат.

Аллен ворвался в кухню, будто им выстрелили из рогатки.

– Марулло, – сказал он. – Мистер Марулло пришел. Он к тебе.

– Это еще зачем? – удивилась Мэри.

– Ну, пригласи его войти.

– Я приглашал. Он хочет поговорить с тобой во дворе.

– Итен, что это значит? Не выйдешь же ты в халате. Сегодня первый день Пасхи.

– Аллен, скажи мистери Марулло, что я не одет. Пусть зайдет попозже. Но если что-нибудь срочное и он хочет поговорить со мной с глазу на глаз, я впущу его с парадного хода.

Аллен исчез.

– Не представляю, что ему понадобилось? Может, лавку ограбили?

Аллен снова влетел в кухню.

– Пошел к парадному.

– Только чтобы он не вздумал портить тебе завтрак. Слышишь, милый?

Я прошел через весь дом и отпер парадную дверь. На крыльце стоял Марулло, нарядившийся к пасхальной мессе во все самое

лучшее, а лучшее у него было: черный шевиотовый костюм и жилетка с пропущенной по ней массивной золотой цепочкой от часов. Черную шляпу он держал в руке, а сам улыбался вымученной улыбкой, точно собака, когда на нее прикрикнут.

– Входите.

– Нет, – сказал он. – Я только одно слово. Я слышал, что этот тип предлагал тебе заработать?

– Да?

– Я слышал, что ты выгнал его вон.

– Кто это вам доложил?

– Не скажу. Нельзя. – Он снова улыбнулся.

– Ну, так, собственно, что же? Вы намекаете, что зря я отказался?

Он шагнул вперед, взял мою руку и весьма церемонно тряхнул ее – вверх и вниз, вверх и вниз.

– Ты молодец, – сказал он.

– Может, просто он мне мало посулил?

– Шутишь? Ты молодец. Вот и все. Молодец. – Он полез в свой оттопыренный боковой карман и вытащил оттуда кулечек. – Вот, возьми. – Потом похлопал меня по плечу и, сам не свой от смущения, повернулся и быстро зашагал прочь. Его короткие ноги так и мелькали, из-под тугого крахмального воротничка выпирала багровая складка закривка.

– Ну, что он?

Я заглянул в кулек – разноцветная карамель в виде пасхальных яиц. У нас в лавке ее была целая стеклянная банка.

– Принес гостинец ребятам, – сказал я.

– Марулло? Принес гостинец? Быть не может.

– Тем не менее.

– С чего это он? Никогда с ним раньше этого не бывало.

– Наверно, от любви ко мне.

– Может быть, я не все знаю?

– Гусиная травка, на свете восемь миллионов вещей, которых мы оба с тобой не знаем. – Дети смотрели на нас во все глаза, стоя в дверях кухни. Я протянул им кулек. – Это вам от одного вашего поклонника. Только не набрасывайтесь до завтрака.

Когда мы одевались, чтобы идти в церковь, Мэри сказала:

- Хотела бы я все-таки знать, в чем тут дело.
- Ты про Марулло? Должен тебе признаться, дорогая, что я тоже хотел бы это знать.
- Кулек дешевых карамелек...
- Это он, наверно, в простоте душевной.
- Не понимаю.
- Жена у него умерла. Родных – никого, один как перст. Надвигается старость. Может – ну, может, ему вдруг стало одиноко.
- Никогда он к нам не заходил. Попроси у него прибавки, пока ему одиноко. Мистера Бейкера ведь он не навещает. Мне даже как-то не по себе стало.

Я принарядился, как цвет полевой: строгая черная пара – мой черный похоронный костюм, белая рубашка, так сильно накрахмаленная, что она отбрасывала солнечные лучи солнцу прямо в лицо, и небесной синевы галстук-бабочка в скромный горошек.

Что она там затеяла, эта миссис Марджи Янг-Хант? Колдует на манер своей бабки? Откуда Марулло все узнал? Вернее всего так: мистер Биггерс – миссис Янг-Хант, а миссис Янг-Хант – мистеру Марулло. Я вам не верю, миссис Хант, я вас всегда подозревал. Не знаю сам я почему, но миссис Хант я не пойму. С этой белибердой в голове я прошелся по нашему саду в поисках каких-нибудь белых цветочков себе в петлицу по случаю Пасхи. В закутке между углом фундамента и покатой дверью погреба есть у нас заветное местечко, где земля прогревается от соседства с котельной и доступна каждому лучику зимнего солнца. Там растут белые фиалки, пересаженные с кладбища, где они бурно разрослись на могилах моих предков. Я выбрал три крохотные львиные мордочки себе в петличку, нарвал ровно дюжину для моей любимой, обложил их бледно-зелеными листочками и туго перетянул букетик понизу серебряной бумажкой от конфеты.

– Какая прелесть! – сказала Мэри. – Подожди, сейчас я приколю их и так пойду в церковь.

– Это первые, самые первые, белая моя птица. Я твой верный раб. Христос восстал из мертвых. Все прекрасно в божьем мире.

- Перестань, милый. Это ведь святое, не над чем тут потешаться.
- Что ты такое сделала со своими волосами?
- Нравится?

– Чудо, чудо! Всегда так причесывайся.

– А я боялась, тебе не понравится. Марджи сказала, что ты даже внимания не обратишь, а ты обратил! Ну, теперь я ей задам! – Она водрузила на голову настоящую вазу с цветами – ежегодное весеннее приношение Эостре.^[17] – Нравится?

– Чудо, чудо!

Затем начался осмотр младшего поколения – уши, носы, обувь. Все до мельчайших подробностей вопреки их бурным протестам. Аллен так намазал волосы, что даже моргать не мог. Задники башмаков остались у него не начищенными, зато прядь волос он вымуштровал, не пожалев трудов, и она волной вздымалась над его лбом.

Наша Эллен самая что ни на есть девчонская девчонка. Все, что на виду, было у нее в полном порядке. Я решил повторить удачный ход.

– Эллен, – сказал я. – Ты как-то по-новому причесалась. Тебе очень к лицу. Мэри, дорогая, ты одобряешь?

– Она у нас начинает следить за своей наружностью, – сказала Мэри.

Семейная процессия двинулась по садовой дорожке к Вязовой улице. С Вязовой мы повернули на Порлок, где стоит наша церковь, наша старинная церковь с белой колокольней, целиком спертая у Кристофера Рена. Мы влились в полноводную реку, и теперь каждая женщина наслаждалась возможностью разглядывать шляпки других женщин.

– Я придумал модель пасхальной шляпки, – сказал я. – Простенький, открывающий лоб золотой терновый венец с настоящими рубиновыми капельками спереди.

– Итен! – строго сказала Мэри. – А вдруг тебя услышат!

– Н-да, пожалуй, этот фасон не будет иметь успеха.

– Ты просто ужасен! – сказала Мэри, и я сам был о себе не лучшего мнения. Ужасен – это еще мягко сказано. И все же у меня мелькнула мысль: а если сделать мистеру Бейкеру комплимент по поводу его стрижки, как он к этому отнесется?

Наш семейный ручеек присоединился к другим ручьям и обменивался со всеми чинными приветствиями, а потом все эти ручьи в едином потоке стали вливаться в епископальную церковь св. Фомы.

Когда придет пора посвятить моего сына в тайны жизни (которые ему, несомненно, известны), не забыть бы проинформировать его о том, что такое женская прическа. Вооружившись добрым словечком о ней, он достигнет всего, чего только ни пожелает его блудливое маленькое сердечко. Впрочем, не мешает и предостеречь. Их можно толкать, колотить, валять, тормошить – все что угодно, только не портить им прическу. Усвоив этот урок, он будет кум королю.

Бейкеры поднимались по ступенькам как раз перед нами, и мы обменялись учтивыми приветствиями.

– Ждем вас к чаю.

– Да, непременно. Счастливых праздников.

– Неужели это Аллен? Какой он большой стал! И Мэри-Эллен тоже. Так вытянулись, что их просто не узнаешь.

В церкви, куда ты ходил ребенком, всегда есть что-то дорогое твоему сердцу. Я знаю все сокровенные уголки, мне знакомы все сокровенные запахи церкви св. Фомы. В этой купели я был окрещен, у этой ограды подошел к первому причастию, а сколько лет Хоули занимают свою скамью – одному Богу известно, и это не просто риторическая фигура. Меня, видимо, как следует пропитали благочестием, потому что я помню каждое свое нечестивое деяние, а их было много. И, вероятно, я смог бы показать все те места, где выцарапаны гвоздем мои инициалы. Когда мы с Дэнни Тейлором прокалывали булавами буквы в молитвеннике, из которых слагалось одно самое что ни на есть непристойное слово, мистер Уилер поймал нас за этим занятием, и нам воздали по заслугам, но ему пришлось просмотреть все молитвенники и все сборники гимнов, чтобы убедиться, что ничего такого больше нигде нет.

Вот на этом сиденье возле аналая однажды произошло нечто ужасное. В тот год я был служкой, ходил с крестом за священником и пел сочным дискантом. Как-то раз богослужение в нашей церкви совершал епископ – добродушный старичок с голой, точно вареная луковица, головой, но в моих глазах озаренный ореолом святости. И вот, когда пение смолкло, я водрузил крест на место и, одурманенный экстазом, забыл защелкнуть медную перемычку, которая закрепляла его в гнезде. После второго поучения, к ужасу моему, тяжелый медный крест покачнулся и хрястнул по благостной лысой голове. Епископ повалился наземь, как прирезанная корова, а мне пришлось уступить

свою должность мальчишке по фамилии Хилл, а по прозвищу Вонючка, который пел несравненно хуже. Он теперь антрополог, работает где-то в западных штатах. Этот случай убедил меня, что одних намерений – благих или дурных – недостаточно. Все зависит от везения или невезения, от судьбы или как там это называется.

Мы прослушали всю службу, и в конце ее нам возвестили, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. Всякий раз мурашки бегут у меня по спине от этих слов. Я с открытой душой подошел к причастию. Аллен и Мэри-Эллен у нас еще не подтвердились, и под конец они начали вертеться во все стороны, так что пришлось смирить их железным взглядом, чтобы прекратить ерзанье. Когда в глазах у Мэри появляется суровость, она способна пробить даже броню юношеского зазнайства.

Потом мы вышли на солнце, и тут снова начались рукопожатия, приветствия и снова рукопожатия и поздравления с праздником. Те, с кем мы заговаривали при входе в церковь, еще раз выслушивали наши приветствия, и это было продолжением того же обряда, нескончаемого обряда подчеркнутой благовоспитанности, таящей безмолвную мольбу, чтобы тебя заметили и почтили.

– Добрый день. Как поживаете, как здоровье?

– Хорошо, благодарю вас. А как ваша матушка?

– Стареет, стареет. Ничего не поделаешь, где годы, там и болезни.

Я ей передам, что вы о ней справлялись.

Сами по себе слова эти ничего не значат, они только проводники чувств. Что определяет наши действия – мысль? Или же они – результат чувств, а мысль только кое-когда помогает их осуществлению? Наше маленькое шествие по солнечной улице возглавлял мистер Бейкер, старавшийся не ступать на трещины в тротуаре; его мать, которая скончалась двадцать лет назад, могла спокойно лежать в могиле. А рядом с ним, приноравливая свою походку к его неровным шагам, мелко перебирала ножками Амелия, миссис Бейкер, – эдакая птичка, маленькая, востроглазая, но ручная, питающаяся из кормушки.

Мой сын Аллен шел рядом со своей сестрой, и оба старательно делали вид, что не имеют друг к другу никакого отношения. По-моему, она его презирает, а он ее не выносит. Это может остаться у них на всю жизнь, но они научатся скрывать свои чувства в розовом облачке

нежных слов. Дай им – каждому отдельно – их завтрак, моя сестра, жена моя: яйца вкрутую, огурчики, сэндвичи с джемом и ореховой пастой, красные, пахнущие бочкой яблоки, и пусть идут в мир плодиться и размножаться.

Так Мэри и сделала. И, получив по свертку, они ушли каждый в свой обособленный тайный мирок.

– Ты довольна службой, дорогая?

– Да, очень. Мне в церкви всегда нравится. А ты... признаться, я часто теряюсь – верующий ты или нет. Правда, правда! Твои шуточки иной раз...

– Подвинь стул поближе, родная моя родинка.

– Надо обед разогревать.

– К чертовой бабушке твой обед.

– Вот, вот они, твои шуточки. Об этом я и говорю.

– Обед не святыня. Будь на улице потеплее, посадил бы я тебя в лодку, выехали бы мы с тобой за волнорез и половили бы там рыбку.

– Сегодня нас ждут Бейкеры. Слушай, Итен, все-таки верующий ты или нет? Тебе самому-то это ясно? И почему ты даешь мне какие-то дурацкие прозвища? Хоть бы изредка называл по имени.

– Не хочу повторяться и надоедать тебе. Но в душе у меня твое имя гудит, как колокол. Верующий ли я? Что за вопрос! Разве так бывало, чтобы мне хотелось придирааться к каждому блистательному слову в Никейском символе и разглядывать его со всех сторон, точно мину замедленного действия? Нет. Мне этого не нужно. Но удивительное дело, Мэри! Если бы душа и тело мое иссохли в неверии, как горох в стручке, стоило бы мне услышать слова: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он возрастил меня на зланных пажитях», – и в желудке бы у меня похолодело, сердце в груди забилося, в голове вспыхнуло бы жаркое пламя.

– Ничего не понимаю.

– Умница. Я тоже не понимаю. Хорошо, скажем так: в младенчестве, когда косточки у человека еще мягкие и податливые, меня уложили в маленький епископальный крестообразный ящичек, и там тело мое сформировалось. Так удивительно ли, что я выключился из этого ящичка, как цыпленок из скорлупы, приняв форму креста? Ты разве не замечала – ведь у цыплят тельце тоже в какой-то степени яйцевидное.

– Ты говоришь ужасные вещи – и даже детям.

– А они – мне. Эллен только вчера вечером спросила меня: «Папа, когда мы разбогатеем?» Но я не сказал того, что знаю: «Разбогатеем мы очень скоро, и ты, не умеющая сносить бедность, не сумеешь снести и богатство». Это истина. В бедности ее терзает зависть. В богатстве она, того и гляди, задерет нос. Деньги не излечивают болезни как таковой, а только изменяют ее симптомы.

– И так ты отзываешься о своих собственных детях! Что же ты обо мне скажешь?

– Скажу, что ты моя радость, моя прелесть, огонек в тумане жизни.

– Ты как пьяный. Будто и в самом деле выпил.

– Так оно и есть.

– Неправда. Я бы учуяла.

– Ты и чуешь, моя дорогая.

– Да что с тобой происходит?

– Ага! Значит, заметно! Да, происходит. Перелом, такой перелом, что все во мне разбушевалось к чертовой матери! До тебя докатывают только те валы, которые дальше всего от центра бури.

– Итен, я начинаю беспокоиться за тебя. Самым серьезным образом. Ты стал какой-то дикий.

– Помнишь, сколько у меня наград?

– Медалей? С войны?

– Их давали за дикость, за одичание. Не было на свете человека менее склонного к смертоубийству, чем я. Но на фронте меня втиснули в новый ящик. Время – каждая данная минута – требовало, чтобы я убивал человеческие существа, и я выполнял это требование.

– Тогда было военное время, и так было надо – за родину.

– Время всегда бывает какое-то особое. Ему служишь, а свое упускаешь. Солдат я был что надо – решительный, находчивый, беспощадный. Словом, нечто весьма приспособленное к условиям военного времени. Но, может быть, мне удастся выказать не меньшую приспособленность и теперь, в наши дни.

– Ты меня к чему-то подготавливаешь?

– Да! Как это ни прискорбно. И мне самому слышатся извиняющиеся нотки в моих словах. Надеюсь, впрочем, что это обман слуха.

- Пойду накрывать на стол.
- После такого сокрушительного завтрака о еде и думать не хочется.
- Ну, хорошо, тогда перекуси тут чего-нибудь. Ты заметил, какая на миссис Бейкер была шляпа? Должно быть, привезена из Нью-Йорка.
- А что она сделала со своими волосами?
- Ты тоже обратил внимание? Они у нее почти лиловые.
- «Свет во просвещение языков и во славу народа израаилева».
- Что это Марджи вздумалось уехать в Монток в такое время года?
- Она же любит утренний воздух.
- Нет, рано вставать она не привыкла. Я ее всегда поддразниваю на этот счет. И все-таки очень странно, почему Марулло принес детям карамельные яйца?
- Ты связываешь эти два события? Марджи поднялась ни свет ни заря, а Марулло принес гостинец детям.
- Перестань дурачиться.
- Я не дурачусь. На сей раз я не дурачусь. Если рассказать тебе по секрету одну вещь, обещаешь молчать?
- Опять шуточки!
- Нет.
- Тогда обещаю.
- По-моему, Марулло собирается в Италию.
- Откуда ты знаешь? Он сам тебе говорил?
- Нет, не совсем. Но я сопоставляю кое-какие факты. Со-поставляю.
- Значит, ты останешься в лавке один! Тебе надо кого-то в помощники.
- Сам справлюсь.
- Ты и так все сам делаешь. Придется взять помощника.
- Помни, это еще не наверняка, и пока надо все держать в секрете.
- Я не нарушаю своих обещаний.
- Но намекать будешь.
- Не буду, Итен. Честное слово!
- Знаешь, кто ты? Милый маленький зайчик с цветочками на голове.

– Ну, похозяйничай на кухне сам. Я пойду приведу себя в порядок.

Когда она ушла, я развалился в кресле, и в ушах у меня слышался тайный голос: «Отпусти, господи, раба-а твоего с ми-иром!» И вот, клянусь вам, заснул! Сорвался с крутизны в темноту прямо здесь, в гостиной. Со мной это не часто случается. И так как я думал о Дэнни Тейлоре, Дэнни Тейлор мне и приснился. Мы с ним были будто не маленькие и не большие, но уже взрослые, и мы бродили по ровному высохшему дну озера, где еще виднелся фундамент их старого дома и зияла яма погребка. Стояло, наверно, лето, самое его начало, потому что листва на деревьях была тучная, а травы сгибались под собственной тяжестью. В такой день сам себя чувствуешь тучным и каким-то ошалелым. Дэнни зашел за деревцо можжевельника, высокое, стройное, как колонна. Его голос звучал в моих ушах глухо и странно, будто из-под воды. Потом я очутился рядом с ним, а он вдруг начал таять и весь потек. Я пытался подхватить его обеими руками, затирать верху, как жидкий цемент, когда он переливается через край, и ничего не мог сделать. Самая суть Дэнни уходила у меня между пальцами. Говорят, будто сны наши длятся мгновение. Этот сон снился, снился мне без конца, и чем больше я хлопотал около Дэнни, тем быстрее и быстрее он таял.

Когда Мэри разбудила меня, я тяжело дышал от усталости.

– Весенняя лихорадка, – сказала она. – Это ее первый признак. В годы, когда девочки начинают формироваться, я столько спала, что мама наконец вызвала доктора Грейди. Она думала, это сонная болезнь, а я просто росла весной.

– У меня был кошмар среди бела дня. Врагу не пожелаю, чтобы ему такое снилось.

– Это предпраздничная суета всему виной. Вставай. Пойди причешись и умойся. У тебя усталый вид, милый. Ты здоров ли? Нам скоро выходить. Ты два часа спал. Наверно, организм этого потребовал. Как бы я хотела знать, что мистер Бейкер там задумал.

– Узнаешь, родная. И обещай мне, что ты будешь слушать внимательно, не пропустишь ни слова.

– А вдруг он захочет поговорить с тобой наедине? Деловым людям присутствие женщин только мешает.

– Ничего, пусть терпит. Я хочу, чтобы ты была при этом.

– Ты же знаешь, что у меня нет никакого опыта в делах.

– Знаю, но ведь речь пойдет о твоих деньгах.

Таких людей, как Бейкеры, знаешь только в том случае, если это дано тебе с колыбели. Приятельские и даже дружеские связи не то – они завязываются совсем по-другому. Я знаю Бейкеров потому, что Бейкеры и Хоули родом из одних мест, равны по крови, по жизненному опыту и прошлое у обеих семей схожее. Это сплачивает нас в нечто вроде клана, крепостной стеной и рвом отгороженного от чужаков. Когда мой отец потерял все свое состояние, меня не вытеснили совсем за пределы этого клана. Как член семьи Хоули, я все еще личность приемлемая и, вероятно, останусь таким в глазах Бейкеров до конца дней своих, потому что они чувствуют наше родство. Но я бедный родственник. Патриции без денег мало-помалу перестают быть патрициями. Без денег мой сын Аллен потеряет связь с Бейкерами, а его сын будет для них чужаком, несмотря на свое имя, на своих предков. Мы теперь землевладельцы без земельных угодий, полководцы без войск, всадники на своих на двоих. Нам не уцелеть. Может быть, оттого со мной и произошла такая перемена? Я не гонюсь и никогда не гнался за деньгами ради денег. Но без них разве удержишься в той категории, существовать в которой мне привычно и удобно? Все это, вероятно, образовалось в тех темных глубинах моего сознания и поднялось оттуда на поверхность не как мысль, а как твердое убеждение.

– Милости просим! – сказала миссис Бейкер. – Очень рада вас обоих видеть. Вы нас совсем забыли, Мэри. Какой сегодня чудесный день, правда? Вам понравилась служба? По-моему, среди священников не часто встречаются такие интересные мужчины.

– Редко мы с вами стали видеться, – сказал мистер Бейкер. – А я ведь помню, как ваш дед, сидя вот в этом самом кресле, рассказывал, что подлые испанцы потопили «Мэн».^[18] Он даже расплескал тогда свой чай, который, собственно, только назывался чаем. Старый шкипер Хоули если и подливал его в ром, то самую малость. Крутой был человек, многие даже считали его самодуром.

Как я заметил, такой прием сначала ошеломил Мэри, а потом она расцвела. Ведь ей было невдомек, что я произвел ее в богатые наследницы. Репутация денежного человека котируется высоко, почти так же, как и сами деньги.

Подергивая головой, миссис Бейкер разливала чай по чашкам – прозрачным и хрупким, точно лепестки магнолии, и единственной частью ее тела, не подверженной тикю, была рука с чайником.

Мистер Бейкер задумчиво помешивал ложечкой.

– Сам не знаю, что я больше люблю – чай или церемонию чаепития, – сказал он. – Мне доставляют удовольствие любые церемонии, даже нелепые.

– Я вас понимаю, – сказал я. – Сегодня утром меня охватило такое чувство покоя в церкви, потому что служба не грозила никакими неожиданностями. Знаешь каждое слово заранее, до того, как его произнесут.

– Во время войны, Итен... Послушайте и вы, сударыни, вряд ли вам приходилось наблюдать что-либо подобное. Во время войны я был направлен в военное министерство, советником министра. Мы довольно долго прожили в Вашингтоне.

– Мне там ужасно не нравилось! – сказала миссис Бейкер.

– Так вот, министерство созвало гостей на чай, устроило пышный прием, человек на пятьсот. Первой дамой была жена генерала с пятью звездочками, а следующая за ней – жена генерал-лейтенанта. Хозяйка – супруга министра – попросила даму с пятью звездочками разливать чай, а трехзвездную – кофе. И представьте, первая отказалась, ибо – привожу ее доподлинные слова: «Каждому известно, что у кофе все преимущества перед чаем». Слыхали что-нибудь подобное? – Он усмехнулся. – А кончилось тем, что все преимущества оказались на стороне виски.

– Такой суматошный город! – сказала миссис Бейкер. – Люди приезжают, не успеют осмотреться, создать какой-то жизненный уклад, а уже надо ехать в другое место.

Мэри рассказала, как ее пригласили однажды в один ирландский дом в Бостоне, где воду грели в круглых бочонках на открытом очаге и разливали по чашкам оловянными половниками.

– И ведь они его не заваривают, а кипятят, – сказала она. – От такого чая лак на столе сойдет!

Каждому серьезному разговору или предприятию предшествует ритуал говорения, и чем щекотливее вопрос, тем длиннее и легковеснее эти обрядовые бормотанья. Каждый из собеседников должен добавить от себя перышко или цветной лоскуток. Если б Мэри

и миссис Бейкер не готовились принять участие в серьезном деле, они давно нашли бы общий язык. Мистер Бейкер уже удобрил вином землю нашей беседы, то же самое сделала моя Мэри, и она была так оживлена, ее так радовала любезность наших хозяев. Теперь надлежало внести свою лепту и нам с миссис Бейкер, и я почувствовал, что приличия ради мне следует выступить последним.

Дождавшись своей очереди, миссис Бейкер, так же как и другие, почерпнула вдохновение в чайнике.

– А помните, сколько раньше было всяких сортов чая? – с живостью проговорила она. – И в каждом доме свой рецепт. Кажется, не было на свете такой былинки, листочка и цветка, который не пускали бы на чай. А теперь остались только два сорта – индийский да китайский, и китайский не всегда найдешь. Помните? Пили и рябину, и настой из ромашки, из апельсинового цвета и листа, и... и кэмбрик.

– А что такое кэмбрик? – спросила Мэри.

– Пополам – кипяток и горячее молоко. Дети его очень любят. И совсем другой вкус, чем просто у разбавленного молока. – Миссис Бейкер отделалась.

Пришла моя очередь, и я рассчитывал обойтись двумя-тремя обдуманно бессмысленными фразами о так называемом «Бостонском чаепитии», ^[19] но не всегда у нас получается так, как мы предполагаем. Неожиданности высказывают, не спрашивая нашего разрешения.

– Я заснул после церкви, – донесся до меня мой собственный голос, – и увидел во сне Дэнни Тейлора. Сон был ужасный. Вы помните Дэнни?

– Бедняга, – сказал мистер Бейкер.

– Когда-то он был мне ближе, чем брат. В семье я рос один, без братьев. Да, в некотором отношении наша близость была поистине братской. Я, конечно, так не поступлю, но мне бы следовало стать сторожем брату моему Дэнни.

Мэри была явно недовольна, что я нарушил рисунок застольной беседы. И отомстила мне, как могла.

– Итен дает ему деньги. По-моему, этого не следует делать. Он все равно их пропивает.

– Помилуйте! – сказал мистер Бейкер.

– Следует – не следует... как знать. Но этот сон был настоящий кошмар. И много ли я ему даю? Кое-когда по доллару. А что сделаешь

на доллар? Только напьешься и больше ничего. Если бы дать ему сразу крупную сумму, может, он и вылечился бы.

– А кто на такое решится? – воскликнула Мэри. – Это все равно, что убить его. Как вы считаете, мистер Бейкер?

– Бедняга, – сказал мистер Бейкер. – И ведь из такой хорошей семьи! У меня душа болит, когда я вижу, до чего он дошел. Но Мэри права. С деньгами он совсем сопьется и вгонит себя в гроб.

– Он и без того спивается. Но я для него не опасен. У меня крупных сумм нет..

– Тут важен принцип, – сказал мистер Бейкер.

Миссис Бейкер добавила с чисто женской кровожадностью:

– Самое подходящее ему место – в лечебнице, где за ним был бы надлежащий уход.

Все трое остались недовольны мной. Нечего мне было отклоняться от «Бостонского чаепития».

Странно, почему это человеческий мозг вдруг затевает возню, игру в жмурки, в прятки, когда ему следовало бы засекаать каждую мелочь, отыскивая проход в минном поле тайных замыслов и скрытых препятствий. Я понимал, что такое дом Бейкеров и дом Хоули, мне были понятны их темные стены и портьеры, траурные фикусы, не выдавшие солнца портреты, гравюры и напоминания о прежних временах в виде морских раковин, фарфора и резьбы по дереву, в виде штофных тканей – всего того, что навязывает этим домам чувство реальности и незыблемости существования. Форма стульев меняется в зависимости от моды и понятий об удобстве, но гардеробы и книжные шкафы, столы обеденные и письменные – это связь с добротным прошлым. Хоули – больше чем семья. Хоули – это дом. Потому-то бедняга Дэнни так цеплялся за тот луг, где когда-то стоял дом Тейлоров. Без этого луга нет семьи, а скоро не останется даже имени. Тон, голоса, скрытая в них воля тех троих, что сидели рядом со мной, поставили крест на Дэнни Тейлоре. Некоторым людям, видимо, нужен дом, нужна семейная история, чтобы они уверовали в собственное существование, хотя, даже в самом лучшем случае, это не бог весть какая заручка. В бакалейной лавке я неудачник, простой продавец, дома я – Хоули. Значит, мне тоже не хватает уверенности в себе. Бейкер может протянуть руку помощи Хоули. Если ж у меня не будет дома, на мне тоже поставят крест. Человек с человеком? Нет! Дом с

домом. Я возмутился, что они вычеркнули Дэнни Тейлора из списка живых, но ничего не мог тут поделать. И эта мысль подстегнула меня и закалила в моем решении. Бейкер решил подремонтировать Хоули для того, чтобы ему, Бейкеру, можно было примазаться к несуществующему наследству Мэри. Вот теперь я ступил на самый край минного поля. Сердце мое ожесточилось против столь бескорыстного благодетеля. Я чувствовал, что оно черствеет, настораживается и ярится. И по его приказу пришло ощущение фронта, выстроились законы обузданного бешенства, а первый из них таков: даже если ты в обороне, придай ей видимость нападения.

Я сказал:

– Мистер Бейкер, не стоит нам углубляться в историю. Вы видели, как мой отец медленно, но верно шел к потере того, чем мы, Хоули, были сильны. Я ничего не знаю, я был тогда на войне. Как это случилось?

– О его намерениях ничего плохого не скажешь, но разбираться в обстановке он...

– Мой отец был человек непрактичный, что верно, то верно, но как это случилось?

– Да, знаете, времена были такие. Времена рискованнейших биржевых операций. Вот он и рисковал.

– Кто-нибудь руководил им в этих операциях?

– Он поместил деньги в устаревшие виды вооружений. Заказы были аннулированы, и у него все пропало.

– Вы жили тогда в Вашингтоне. Вы имели представление об этих заказах?

– Так, в общих чертах.

– Но всё же имели и сами этих акций не покупали.

– Да, у меня их не было.

– А отец с вами советовался?

– Я был в Вашингтоне.

– Но вы знали, что он делает займы под владения Хоули и покупает на эти деньги акции.

– Да, знал.

– И не отговорили его?

– Я был в Вашингтоне.

– Но ваш банк не дал ему отсрочки по платежам.

– Банк иначе не может, Итен. Вы сами это знаете.

– Да, знаю. Но все-таки очень жаль, что он с вами не посоветовался.

– Не обвиняйте его, Итен.

– Не буду. Теперь мне все понятно. Да я, собственно, никогда его не обвинял, только не мог понять, как это произошло.

Вступительная часть, видимо, была заготовлена у мистера Бейкера заранее. Сбитый с позиции, он стал нащупывать возможность для нового хода. Он кашлянул, высморкался и утер нос бумажным платком, вытянутым из плоской карманной пачки, вторым вытер глаза, третьим очки. У каждого человека свой способ оттягивать время. Я знал одного, который тратил пять минут на то, чтобы набить и раскурить трубку.

Выждав, когда он снова приведет себя в полную готовность, я сказал:

– Я, кажется, не имею права просить вас о помощи от своего имени. Но вы сами заговорили о давних деловых связях между нашими семьями.

– Замечательные были люди, – сказал он. – И, как правило, умели великолепно разбираться в обстановке, консерваторы по духу...

– Но не слепые упрямы, сэр! Просто, ступив на избранный путь, они с него не сворачивали ни при каких обстоятельствах.

– Это верно.

– Даже если надо было потопить судно противника или... поджечь?

– У них, разумеется, были соответствующие полномочия.

– Но, насколько мне известно, сэр, в тысяча восемьсот первом году им пришлось держать ответ перед специальной комиссией, кого считать противником?

– После войны всегда происходит некоторое изменение установок.

– Да, конечно. Впрочем, я вспомнил все это не просто так, лишь бы поговорить. Сказать вам откровенно, мистер Бейкер, мне бы хотелось наверстать потерянное.

– Браво, Итен! Одно время я уже начинал подумывать, что вы утратили боевой дух семьи Хоули.

– Признаться, утратил. А может быть, просто не дал ему ходу в себе. Вы предлагали свою помощь. С чего мне начинать?

– Беда в том, что начинать надо с капитала.

– Это я знаю. Но если капитал будет, тогда что?

– Дамам это вряд ли интересно, – сказал он. – Может быть, мы с вами перейдем ко мне в кабинет? Дела – скучная материя.

Миссис Бейкер встала.

– А я как раз собиралась попросить Мэри, чтобы она помогла мне выбрать обои для нашей спальни. Образчики у меня наверху, Мэри.

– Я бы хотел, чтобы она...

Но, как и следовало ожидать, Мэри переметнулась на их сторону.

– В делах я профан, – сказала она, – а в обоях кое-что смыслю.

– Но ведь это касается тебя, дорогая.

– Я всегда все путаю, Итен. Ты что, не знаешь меня?

– А я без тебя, дорогая, пожалуй, еще больше запутаюсь.

Трюк с обоями, вероятно, придумал мистер Бейкер. Вряд ли его жена на самом деле их выбирает. Во всяком случае, ни одной женщине не могли бы понравиться те мрачные, с геометрическим рисунком, которыми была оклеена комната, где мы сидели.

– Итак, – сказал мистер Бейкер, когда они вышли, – где достать капитал? Вот ваша задача, Итен. Дом у вас не заложен. Возьмите ссуду под него.

– Ни в коем случае.

– Ну что ж, уважаю такую твердость, но ведь другого обеспечения у вас нет. Есть еще деньги Мэри. Сумма небольшая, но, как известно, деньга деньгу делает.

– Мне не хочется их трогать. Это гарантия ее благополучия.

– Они у вас на общем счете, лежат без пользы.

– Ну а если, скажем, я решусь? Что вы имеете в виду?

– Вам известно, хотя бы приблизительно, какое состояние у ее матери?

– Нет, но, кажется, солидное.

Он старательно протер очки.

– То, что я скажу вам, должно остаться между нами.

– Ну конечно.

– Вы, слава богу, не из разговорчивых, это я знаю. Среди Хоули говорунов не было, разве только ваш отец. Так вот, мне, финансисту, известно, что Нью-Бэйтаун будет расти. У него есть все, что способствует росту: гавань, взморье, внутренние воды. Стоит только

начать, потом не остановишь. Добропорядочный делец обязан помогать развитию своего города.

– А также извлекать из этого выгоду.

– Это само собой.

– Почему же Нью-Бэйтаун до сих пор не развивался?

– Я думаю, вы сами это знаете. Замшели там, в муниципалитете.

Живут в прошлом. Задерживают прогресс.

Мне всегда любопытно слушать, когда извлечение прибылей подают под филантропическим соусом. Если бы сорвать с позиции мистера Бейкера ее одежды – дальновидно благодетельное «все для общества», – она предстала бы в своем натуральном виде. Он и еще несколько человек – буквально наперечет – будут поддерживать теперешние городские власти до тех пор, пока не скупят или не возьмут под свой контроль все будущие мероприятия по благоустройству Нью-Бэйтауна. Потом они вышвырнут вон весь муниципалитет вместе с мэром, возведут на трон прогресс, и вот тогда-то станет явным, что им принадлежат все пути, которыми этот прогресс шествует к нам в город. Из чисто сентиментальных побуждений Бейкер решил одарить меня небольшим кусочком общего пирога. Не знаю, входило ли в его намерения сообщить мне, как у них там все пойдет дальше, или же его «подхватило и занесло», но намеченный график вдруг мелькнул среди каких-то пустых фраз. Выборы в муниципалитет назначены на седьмое июля. К этому времени группа дальновидных граждан должна будет взять штурвал прогресса в свои руки.

Вряд ли найдется на свете человек, который не любит давать советы. Поскольку я все-таки продолжал оказывать некоторое сопротивление, наставник мой начинал все больше и больше горячиться и вдаваться в подробности.

– Хорошо, сэр, подумаю, – сказал я. – То, что для вас проще простого, для меня головоломка. И, конечно, мне надо посоветоваться с Мэри.

– Вот это, по-моему, зря, – сказал он. – Женский пол стал у нас слишком уж деятельный.

– Но ведь наследство-то ее.

– Вы скорее угодите ей, если преподнесете сюрпризом солидный куш. Им так больше нравится.

– Боюсь показаться вам неблагодарным, мистер Бейкер. Но я тяжелолюб. Мне надо как следует все обмозговать. Вы слышали, что Марулло собирается в Италию?

Взгляд у него сразу стал настороженный.

– Совсем?

– Нет, на время.

– Надо думать, он позаботится, чтобы место осталось за вами, на случай если с ним что-нибудь приключится. Годы его не молодые. Завещание есть?

– Не знаю.

– Смотрите! Нагрянет свора итальянской родни, и вы окажетесь без работы.

Пришлось уйти под прикрытие спасительной неопределенности.

– Я столько от вас узнал, что всего сразу не прожужушь, – сказал я. – Но все-таки не согласитесь ли вы дать мне хотя бы общее представление о том, с чего все начинается?

– Могу сказать вам только одно: развитие города во многом зависит от транспорта.

– Ну что ж, трансконтинентальную линию дотянут и до нас.

– И все-таки это слишком долгий путь! Те, кто нам нужен, крупные дельцы с крупными капиталами, предпочитают путешествовать по воздуху.

– А у нас нет аэропорта?

– Вот именно.

– И мало того – нет и места, где его выстроить, разве только срыть холмы вокруг города.

– Слишком дорогая затея. Не окупит себя.

– Тогда что же вы думаете предпринять?

– Итен, не обижайтесь и положитесь на меня во всем. Сейчас я ничего не могу вам сказать. Но обещаю: если деньги у вас будут, вы не прогадаете. Я имею в виду нечто совершенно конкретное, хотя тут еще требуются кое-какие уточнения.

– Я, может, этого и не заслуживаю.

– Старинные семьи должны держаться вместе.

– Марулло тоже входит в вашу группу?

– Нет, что вы! У них там своя компания, они действуют самостоятельно.

– И, кажется, весьма успешно?

– Слишком успешно. Не нравится мне, что эти иностранцы пролезают буквально во все щели.

– Значит, ждать седьмого июля?

– Разве я это сказал?

– Нет, мне, наверно, так слышалось.

– Наверно.

И тут, покончив с обоями, вернулась Мэри. Мы сказали и проделали все, что положено по ритуалу, и медленно пошли домой.

– Как они мило нас приняли, лучшего и желать нельзя. Что он тебе говорил?

– Все то же самое. Чтобы я для начала пустил в оборот твои деньги, а я этого не хочу.

– Я знаю, милый, ты беспокоишься обо мне. Но, по-моему, будет очень глупо, если мы не воспользуемся его советом.

– Не лежит у меня к этому душа, Мэри. А вдруг он ошибается? Ты же останешься ни с чем.

– Слушай, Итен, если ты этого не сделаешь, так и знай, я сама к нему пойду со своими деньгами. Вот увидишь!

– Дай мне подумать. Я ни во что не хочу впутывать тебя.

– И не надо. Ведь счет в банке у нас общий. Помнишь, что вышло на картах?

– О господи! Опять эти карты!

– Да! Я им верю.

– Если я потеряю твои деньги, ты же меня возненавидишь.

– Нет. Мое богатство в тебе. Так Марджи нагадала.

– То, что Марджи нагадала, так мне в голову запало, что, покуда буду жить, буду в памяти хранить.

– Оставь свои шуточки.

– Может, это и не шуточки. Как бы богатство не повредило тихим радостям нашей нескладной жизни.

– Не понимаю, каким образом небольшие деньги могут чему-то повредить. Я не говорю о больших деньгах, а так... Чтобы хватало.

Я молчал.

– Ну, Итен!

Я сказал:

– О прекрасная принцесса! Не бывает так, чтобы денег хватало. Одно из двух: денег нет совсем или денег не хватает.

– Неправда.

– Нет, правда. Помнишь тexasского миллиардера, который недавно умер? Он жил в гостиничном номере с одним чемоданчиком. Не оставил после себя ни завещания, ни наследников, но при жизни денег ему не хватало. Чем человек богаче, тем ему больше и больше нужно.

Она сказала ироническим тоном:

– Да, это, наверно, великий грех, но мне хочется купить новые занавески в гостиную и поставить котел побольше, так чтобы четыре человека могли принять ванну в один и тот же день, а я вдобавок – и вымыть посуду.

– Я не о твоих грехах сокрушаюсь, дурочка, а отмечаю факт, закон природы.

– Мало же в тебе уважения к человеческой природе.

– Не к человеческой, дорогая моя Мэри, а к природе вообще. Белки запасают орехов в десять раз больше, чем им потребуется. У хомяка брюхо того и гляди лопнет, а он все сует и сует за щеки, будто в мешок. А сколько умные пчелки съедают меда и сколько они, умницы, его выделывают?

Когда Мэри теряется, чувствуя себя сбитой с толку, она брызжет гневом, как спрут – чернильной жидкостью, и прячется в этом темном облаке.

– Противно слушать, – сказала она. – Хочется хоть немного порадоваться, так где там, разве ты позволишь!

– Нет, родная, не радость меня страшит, а горечь неудовлетворенности, сумятица, чванство, зависть – все, что несут с собой деньги.

Бессознательно она, вероятно, боялась того же. Она так вся и ощетинилась; поискала, где у меня больное место, нашла и с вывертом всадила туда колючки слов:

– Вот, полюбуйтеесь! Продавец из бакалейной лавки, ни гроша за душой, а разглагольствует о вреде богатства. Можно подумать, ты в любую минуту способен добыть кучу денег, стоит тебе только захотеть.

– И добуду.

– Каким образом?

– Вот в том-то и вся загвоздка.

– Ничего ты не можешь, а если бы мог, давно бы у тебя все было.

Хвастовство – и больше ничего. Обычная твоя манера.

Желание причинить другому боль рождает в нас злобу. Лихорадка уже овладела мной. Свинские, исступленно яростные слова поднимались во мне, как яд. Я ненавидел угрюмой ненавистью.

Мэри сказала:

– Смотри! Вон, вон там! Видел?

– Где? Что?

– Вон, мелькнуло под деревом – и прямо к нам во двор.

– Кто мелькнул? Мэри! Ну, говори! Что ты там увидела?

Я почувствовал, как она улыбнулась в темноте уму непостижимой женской улыбкой. Это называют мудростью, но тут дело, пожалуй, не в мудрости, а в том даре всепонимания, при котором и мудрость не нужна.

– Ничего ты не видела.

– Нет, видела – ссору... но она убежала.

Я обнял ее и повернул назад.

– Давай обойдем квартал, прежде чем домой.

Мы пошли туннелем ночи и больше ни о чем не говорили, да нам это и не требовалось.

Глава VIII

В детстве я с наслаждением преследовал и убивал мелкую живность, когда только мог. Кролики, белки, мелкие птички, а позднее дикие утки и гуси валялись наземь окровавленными комочками из костей, шерстки и перьев. В этом было какое-то остервенелое самоутверждение без примеси злобы, ненависти или чувства вины. Война отбила у меня аппетит к смертоубийству; так ребенок, объевшийся сладким, отворачивается от еды. Ружейный выстрел уже не исторгал из моей груди вопля неистового счастья.

В эту первую весну к нам в сад повадилась пара кроликов. Больше всего им пришлись по вкусу красные гвоздики моей Мари, и они начисто обгладывали их лепестки.

– Тебе придется покончить с ними, – сказала Мэри.

Я достал свою мелкокалиберную, всю жирную от смазки, нашел старые завалявшиеся патроны с дробью № 5, сел вечером на ступеньки заднего крыльца и, дождавшись, когда оба кролика оказались рядом, уложил их обоих с одного выстрела. Потом я похоронил пушистые останки под старой сиренью и почувствовал тоску где-то в желудке.

Я просто-напросто отвык от кровопролития. Привыкнуть человек может ко всему. К убийству, к ремеслу бальзамировщика и даже заплечных дел мастера. Привыкнешь – и дыба и клещи станут для тебя просто рабочим инструментом.

Когда дети легли спать, я сказал:

– Пойду погуляю немного.

Еще несколько дней назад Мэри стала бы допытываться – куда, зачем? – а сейчас только спросила:

– Поздно вернешься?

– Нет, не поздно.

– Я ждать не буду, мне спать хочется, – сказала она. Став на некий путь, моя Мэри, видимо, ушла по этому пути дальше меня. А я все еще терзался из-за кроликов. Может быть, это вполне естественно, когда человек, уничтоживший что-то, старается что-то создать и тем самым восстановить в себе равновесие? Не это ли послужило для меня толчком?

Я ошупью пробрался в зловонную конуру, где жил Дэнни Тейлор. Рядом с его койкой горела на блюдечке свеча.

Дэнни был совсем плох – лицо изможденное, какое-то синее со свинцовым отливом. Меня чуть не стошнило – так дурно пахло в этой грязной комнате, где под грязным одеялом лежал давно не мывшийся человек. Глаза у него были открыты и тускло поблескивали. Я приготовился услышать горячечный бред. И меня потрясло, когда он заговорил внятно, голосом и тоном прежнего Дэнни Тейлора.

– Зачем ты пришел, Ит?

– Я хочу помочь тебе.

– Будто ты не знаешь, что это бесполезно.

– Ты совсем болен.

– Думаешь, я сам этого не знаю? Еще как знаю, лучше вас всех. – Он потянулся за койку и достал оттуда бутылку «Старого лесничего», на две трети пустую. – Хочешь?

– Нет, Дэнни. А ведь это виски из дорогих.

– У меня есть друзья.

– Кто тебе его поднес?

– Не твое дело, Ит. – Он хлебнул из горлышка и сдержал отрыжку, хотя это далось ему нелегко. Лицо у него сразу порозовело. Он засмеялся. – Мой друг завел со мной деловой разговор, но я его околпачил. Он только-только собирался начать, а я уже скис. Ему, видно, невдомек было, как мне мало надо. А ты тоже с деловым разговором, Ит? Тогда я быстренько напьюсь до бесчувствия.

– Дэнни, ты меня любишь? Верить мне? Ну, хоть сколько-нибудь, любишь?

– Конечно, люблю, но если уж говорить начистоту, так я пьянчуга, а пьянчуги больше всего любят виски.

– Если я достану тебе денег, ты будешь лечиться?

Больше всего меня испугало то, как быстро он пришел в себя, стал держаться свободно, просто – по-прежнему.

– Я мог бы сказать да, Итен. Но ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Деньги я возьму и пропью.

– Ну а если я внесу их прямо в лечебницу?

– Тебе же объясняют. Отправлюсь я туда с самыми благими намерениями, а через несколько дней сбегу. На пьяниц полагаться

нельзя, Ит. Никак ты этого не поймешь! Я и соглашусь и сделаю, как надо, а потом все равно сбегу.

– Дэнни, неужели тебе не хотелось бы избавиться от этого?

– Да кажется, нет. И ты, конечно, знаешь, чего мне хотелось бы. – Он снова поднес бутылку ко рту, и меня снова поразила быстрота действия алкоголя. Мало того что он превратился в прежнего Дэнни, его восприятие, все его чувства так обострились, такая в них была ясность, что он читал у меня в мыслях. – Не обольщайся, – сказал он. – Это ненадолго. Алкоголь сначала взбадривает, а потом действует угнетающе. Надеюсь, ты уйдешь и второй стадии не увидишь. Сейчас мне не верится, что так все и будет. Пока ты на взводе, ты в это не веришь. – И тут его глаза, влажные, блестящие при свете свечи, посмотрели мне в душу. – Итен, – сказал он. – Ты предлагаешь заплатить за меня в лечебнице. У тебя же нет таких денег, Итен.

– Достану. Мэри получила наследство после брата.

– И эти деньги ты дашь мне?

– Да.

– Даже если я говорю тебе: не верь пьяницам? Даже если я заранее предупрежу тебя, что деньги я соглашусь взять, но сердце тебе разобью?

– Ты и так разбиваешь мне сердце, Дэнни. Ты мне снился. Мы с тобой были как раньше – там, в вашей усадьбе. Помнишь?

Он поднял бутылку и сразу опустил ее со словами:

– Нет, нет, потом – не сейчас. Итен, не верь, не верь пьянице. Когда он... когда я страшен, когда я как труп, мой хитрый умишко втихомолку продолжает свою работу и работает против тебя. Вот сейчас, сию минуту, я тот самый, кто был твоим другом. Я тебе наврал, что скис. Скис-то я скис, но про бутылку все помню.

– Стой, я тебя перебью, – сказал я. – А не то тебе покажется... ты меня заподозришь. Кто принес тебе эту бутылку? Бейкер?

– Да.

– И хотел, чтобы ты подписал что-то.

– Да, но тут я скис. – Он хмыкнул и снова поднес бутылку ко рту, и при свете свечи я увидел в горлышке у нее совсем крохотный пузырек. Он глотнул одну каплю.

– Вот и об этом я хотел поговорить с тобой, Дэнни. Что ему понадобилось – ваш луг?

- Да.
- Почему ты до сих пор его не продал?
- По-моему, я говорил тебе. С ним я все еще джентльмен, хотя джентльменским мое поведение теперь не назовешь.
- Не продавай его, Дэнни. Не поступайся им.
- А тебе-то что? Почему не продавать?
- Из чувства гордости.
- Нет во мне прежней гордости, только чванство осталось прежнее.
- Нет, есть. Когда ты попросил у меня денег, тебе было стыдно. Разве это не гордость?
- Да нет. Я просто ловчил. Тебе же говорят, пьяницы – они хитрые. Ты сам был смущен, и ты сам решил, что я стыжусь просить. А я не стыдился. Просто захотелось выпить.
- Не продавай его, Дэнни. Это ценнейший участок. Бейкер все знает. Иначе он не стал бы торговать его.
- А что в нем ценного?
- Это единственная ровная площадка вблизи города, где можно построить аэродром.
- Понятно.
- Если ты продержишься, Дэнни, вот тебе и начало новой жизни. Не поступайся им. Вылечишься, вернешься обратно, а в гнездышке у тебя яичко.
- Яичко без гнездышка. Может, лучше продать луг, деньги пропить, а когда... «подыметесь ветер и ветку пригнет, птенец желторотый в траву упадет», – сильным голосом пропел он и засмеялся. – Тебе тоже понадобился наш луг, Итен? Ты за этим сюда пришел?
- Я хочу, чтобы ты выздоровел.
- Я и так здоров.
- Выслушай меня, Дэнни. Какой-нибудь голодранец волен поступать как ему угодно. Но ты не голодранец, у тебя есть нечто такое, чем весьма интересуется группа дальновидных граждан нашего города.
- Поместье Тейлоров. Нет, я им не поступлюсь. Я тоже дальновидный. – Он с нежностью посмотрел на бутылку.

– Дэнни! Говорят тебе, это единственное место для аэропорта! Оно для них своего рода ключевая позиция. Им без него зарез! Или строить там, или срывать холмы, а это обойдется чересчур дорого.

– Значит, они у меня в руках, и я их еще поманежу.

– Ты забываешь, Дэнни. Имущий человек – драгоценный сосуд. Я уже слышал разговоры, что гуманнее всего было бы поместить тебя в соответствующее заведение, где ты будешь под присмотром.

– Не посмеют.

– Посмеют! Да еще возведут это в добродетель. Ты же знаешь, как в таких случаях поступают. Судья – человек тебе известный – вынесет решение о твоей неадекватности. Назначит опекуна, и я догадываюсь, кого именно. Все это обойдется недешево, твой земельный участок, разумеется, будет продан для покрытия расходов, а теперь догадайся, кто его купит.

Глаза у Дэнни блеснули, и он слушал меня, раскрыв рот. Потом отвернулся.

– Ты хочешь взять меня на испуг, Итен, но время выбрал неподходящее. Приходи с утра, когда я лежу пластом и весь мир как зеленая блевотина. А сейчас тройную силу придал мне сей штоф в моей руке. – Он взмахнул бутылкой, точно мечом, и глаза у него превратились в щелочки, блестящие при свете свечи. – Я тебе разве не говорил, Ит? По-моему, говорил. У пьяниц совсем особенный ум – хитрый, злой.

– Но я же предупредил тебя, как все будет.

– Да, ты прав. Я с тобой согласен. Очень убедительно у тебя получилось. Но вместо того, чтобы напугать меня, ты разбудил во мне дьявола. Кто думает, что пьяница – существо беспомощное, тот болван. Пьяница это существо особенное, и возможности у него тоже особенные. Я могу постоять за себя, и сейчас у меня просто руки чешутся схватиться с кем-нибудь.

– Молодец! Давно я хотел это услышать!

Он навел на меня бутылку и прицелился, будто на горлышке у нее была мушка.

– Дашь мне взаймы деньги Мэри?

– Да.

– Без гарантий?

– Да.

– Зная, что шансов получить их обратно – один против тысячи?

– Да.

– Пьяница способен на любую подлость, Ит. Не верю я тебе. – Он облизнул свои пересохшие губы. – И дашь деньги мне в руки?

– Когда прикажешь.

– Я же тебе говорил – нельзя давать.

– А я дам.

На этот раз он запрокинул голову, и со дна бутылки поднялся большой пузырек. Когда он отнял ее ото рта, глаза у него блеснули еще ярче, но они были холодные и бесстрастные, как у змеи. – На этой неделе принесешь?

– Да.

– В среду?

– Да.

– А сейчас у тебя не найдется двух долларов?

Как раз столько при мне и было – долларовая бумажка и монеты в пятьдесят, двадцать пять центов, две по десять, пятицентовик и три пенни. Я ссыпал все это в его протянутую руку.

Он допил виски и швырнул бутылку на пол.

– Ты у меня в умных никогда не числился, Ит. Тебе известно, что даже первоначальный курс лечения обойдется около тысячи долларов?

– Ну и пусть.

– Игра интересная! Но это не шахматы, Ит, а покер. Я когда-то был хорошим покеристом... пожалуй, слишком хорошим. Ты делаешь ставку на то, что мой луг пойдет в обеспечение займа. И вторая твоя ставка, что такое количество виски – на тысячу-то долларов – убьет меня, а тебе свалится в руки аэропорт.

– Как тебе не стыдно, Дэнни!

– А мне ничего не стыдно. Я ведь тебя предупреждал.

– Неужели ты не веришь, что я действительно хочу тебе добра?

– Нет. Но я... я не могу сделать так, чтобы все вышло, как ты хочешь. Ты помнишь меня мальчишкой, Ит. А я тебя разве не помню? В тебе судья еще в детские годы сидел. Ну ладно. Я уже весь высох. Бутылка пустая. Ухожу. Так, значит, тысяча долларов.

– Хорошо.

– В среду, наличными.

– Принесу.

– Никаких обязательств, никаких расписок – ничего. И не воображай, Ит, что я такой, как прежде. Вот эта моя подружка ведь камня на камне во мне не оставила. Ничего теперь нет – ни чести, ни совести. Посмеюсь я над тобой от всей души, и на большее не рассчитывай.

– Я об одном тебя прошу – начни, попробуй.

– Пообещать я могу, Ит. Но, надо думать, ты уже понял, чего стоят обещания пьяницы. Приноси деньги, приноси. Можешь остаться здесь, сколько пожелаешь. Мой дом – твой дом. А я ухожу. Итак, до среды, Ит. – Он встал с койки, сбросил одеяло на пол к стене и, пошатываясь, вышел из своей конуры. Молния у него на брюках была спущена.

Я посидел несколько минут один, глядя, как растет стеариновый наплыв на блюде. Он говорил правду – все было верно, кроме одной вещи, на которую я и делал ставку. Не настолько же он изменился! Где-то среди этих обломков был Дэнни. Я не допускал мысли, чтобы он отрубил от себя этого Дэнни Тейлора. Я любил Дэнни и был готов... на то, о чем он говорил. Был готов. Издали до меня донесся его резкий, пронзительный фальцет:

Лети же, корабль, быстrokрылою птицей
На всех парусах вперед!
Наш принц на борту – он душой веселится,
К родным берегам плывет.

Побыв так в полном одиночестве, я задул свечу и пошел домой. Вилли сидел в своей полицейской машине на Главной улице и еще не спал.

– Что-то вы повадились гулять, Ит, – сказал он.

– Да знаете, как бывает.

– Еще бы! Весна! И в сердце молодом волнение.

Мэри спала с улыбкой на губах, но, когда я тихонько лег рядом с ней, она шевельнулась, просыпаясь. Тоска где-то внутри по-прежнему терзала меня – холодная, сосущая тоска. Мэри повернулась на бок, прижала меня всего к своему пахнущему травой телу, и она стала нужна мне. Я знал, что мало-помалу тоска утихнет сама собой, но сейчас Мэри была нужна мне. Не знаю, проснулась ли она

окончательно, может, и нет, но ей, даже сонной, было понятно, что мне нужно.

А потом сон у нее прошел, и она сказала:

– Ты, наверно, проголодался.

– Да, Елена Прекрасная.

– Чего тебе дать?

– Сандвич с луком – нет, два! Ржаной хлеб и с луком.

– Тогда мне тоже надо, не то задохнусь.

– Будто тебе самой не хочется!

– Конечно, хочется.

Она сошла вниз и вскоре вернулась с сандвичами, картонкой молока и двумя стаканами.

Лук был свирепый.

– Мэри, краса, – начал я.

– Прожуй сначала.

– Ты правду тогда говорила, что не хочешь знать о моих делах?

– Д-да...

– Так вот. Я решил предпринять кое-что. Мне нужно тысячу долларов.

– Это по совету мистера Бейкера?

– До некоторой степени. Но там есть и моя идея.

– Ну что ж, выпиши чек.

– Нет, родная. Я хочу, чтобы ты взяла сама, причем наличными. И можешь обронить словечко в банке, что собираешься купить новую мебель, или ковры, или там не знаю что.

– Но я и не думала ничего покупать.

– Все равно.

– Секрет?

– Ты же сама так хотела.

– Да... правда. Так будет лучше. Да. Ой, какой лук едучий! А мистер Бейкер одобряет это?

– Он бы сам так действовал, если бы мог.

– Когда понадобятся деньги?

– Завтра.

– Не буду я есть этот лук. От меня и так, наверно, разит.

– Ты моя дорогая.

– Просто не дает мне покоя твой Марулло.

- Это почему же?
- Явился к нам в дом. Принес конфет.
- Неисповедимы пути господни.
- Перестань богохульствовать. Пасха еще не кончилась.
- Кончилась. Уже четверть второго.
- Ой-ой-ой! Спать, спать!
- Уснуть... а если сновиденья посетят?.. Это Шекспир.
- Тебе только бы шутить.

Но я не шутил. Тоска не проходила и все терзала меня, хоть я и не думал о ее причинах и иногда даже спрашивал себя: почему я так терзаюсь? Человек привыкает ко всему, но на это нужно время. Когда-то давным-давно я работал на пороховом заводе, развозил нитроглицерин по цехам. Платили там очень хорошо, потому что нитроглицерин – коварная штука. Сначала я боялся шаг ступить, а через неделю, через две привык – работа как работа. Да чего уж больше, к должности продавца бакалейной лавки я и то притерпелся! Привычное всегда тебя тянет, а новизна, наоборот, отпугивает.

В темноте, вглядываясь в красные пятна, плывущие у меня перед глазами, я проверил в самом себе то, что было принято называть совестью, и не обнаружил в ней больного места. Потом меня заинтересовало, смог ли бы я уклониться от намеченного курса или повернуть на девяносто градусов по компасу, и выяснилось, что при желании смог бы, но желания такого не было.

Я существовал в каком-то новом измерении, в том-то и была вся прелесть. Точно у тебя вдруг заработали бездействовавшие до сих пор мускулы или ты паришь над землей, как в своих детских снах. Я часто переигрываю заново разные случаи, сцены, разговоры и каждый раз подмечаю все новые и новые подробности, ускользнувшие от меня на первом представлении.

Мэри находит странным приход Марулло к нам в дом с кулечком карамелек, а на ее чутье можно положиться. Я расценил этот визит как подношение мне – в уплату за мою неподкупность. Но вопрос Мэри заставил меня вдуматься в то, что раньше я оставил без внимания. Марулло выдал мне награду не за прошлое, он одаривал меня наперед. Я интересую Марулло постольку, поскольку могу быть полезен ему. Я перебрал в памяти его деловые наставления и наш разговор о Сицилии. Где-то, в какой-то момент он потерял веру в себя. Что-то ему

от меня понадобилось, чего-то он от меня ждет. Есть способ проверить это. Попросить что-нибудь такое, в чем раньше было бы отказано, и если на сей раз отказа не будет, значит, он чем-то сильно встревожен и лишился покоя. Отставим Марулло в сторону и займемся Марджи. Марджи – по этому модному когда-то имени можно судить о ее возрасте. «Марджи! Царица снов моих! Марджи! Тебе весь мир...»

Я переиграл сцены с Марджи на фоне красных пятен, плывущих по потолку, стараясь вспомнить все как было, ничего не присочиняя. Долгое время, может года два, была такая миссис Янг-Хант, приятельница моей жены, к болтовне которой я не особенно прислушивался. Потом вдруг возникла Марджи Янг-Хант, а потом просто Марджи. Она, вероятно, заходила ко мне в лавку и до Страстной пятницы, но я этого не помню. А в тот день она будто доложила о себе. До тех пор мы с ней, по всей вероятности, не замечали друг друга. Но с той самой пятницы она словно все время здесь – подталкивает, тербит. Что ей нужно? Неужели это всего лишь интрига женщины, не знающей, чем себя занять? Или она действует по какому-то плану? Впечатление такое, что она именно доложила мне о своей персоне, заставила опознать, приметить себя. Второе гаданье она, вероятно, задумала без всякой задней мысли и рассчитывала обойтись набором профессионально гладких фраз. А потом что-то произошло, и все перевернулось. Мэри ничего такого ей не говорила, что могло бы настолько взвинтить ее, я тоже. Неужели про змею не выдумано? Если нет, тогда это самое простое и, пожалуй, самое правдоподобное объяснение. Может быть, она действительно наделена тонкой интуицией и способна проникать в чужие мысли? Тот факт, что она застигла меня в процессе моей метаморфозы, как будто и подтверждает это, но, может, тут было простое совпадение? Но что вдруг ни с того ни с сего погнало ее в Монток, почему она стакнулась с коммивояжером, выболтала все Марулло? Как-то не верится, что эта женщина способна нечаянно о чем-то проболтаться. В одном из книжных шкафов у нас на чердаке есть биография... как его, Беринга? Нет, Баранова, Александра Баранова, русского губернатора Аляски в начале 1800-х годов. Может быть, там говорится где-нибудь, что на Аляску ссылали за колдовство. Слишком уж невероятная история, такой не придумаешь. Надо полистать книжку. А не пробраться ли мне на чердак сейчас, подумал я, только бы не разбудить Мэри.

И тут я услышал, как скрипнули ступеньки нашей старой дубовой лестницы – одна, другая, третья... значит, это не осадка дома от перемены температуры. Наверно, Эллен опять ходит во сне.

Я, конечно, люблю свою дочь, но она у нас чересчур уж смышленная, будто такой на свет родилась, смышленная и завистливая, но привязчивая. Всегда в ней зависть к брату, а бывает так, что и ко мне. Я считаю, что сексуальные вопросы стали занимать ее слишком рано. Отцы, вероятно, всегда это чувствуют. Еще совсем малышкой она так интересовалась мужскими половыми органами, что нам становилось неловко. Потом она всем существом углубилась в тайну созревания. Ангельской девичьей кротости, о которой толкуют на страницах журналов, в ней не было и в помине. Дома у нас все кипело от ее нервозности, стены были пропитаны непокоем. Мне приходилось читать, что в средние века верили, будто в созревающих девушек вселяется нечистая сила, и я не берусь отрицать это. Одно время мы в шутку говорили, что у нас завелся домовый. Картины вдруг начинали срываться со стен, посуда разбивалась вдребезги. На чердаке слышался глухой стук, в подвале что-то гроыхало. В чем было дело – неизвестно, но эти странности настолько меня интересовали, что я все время слеживал за Эллен, за ее таинственными появлениями и исчезновениями. Она была как ночной зверек, как кошка. Я убедился, что все эти шумы, стуки, грохот не имеют к ней никакого отношения, но все же в ее отсутствие ничего такого не случалось. Она могла сидеть неподвижно, вперив взгляд в пространство, когда домовый давал о себе знать, но без нее дело не обходилось.

В детстве я слышал, что давным-давно в старом доме Хоули жило привидение – дух одного из наших пуританско-пиратских предков, но, судя по отзывам, это было вполне порядочное привидение, ходило-бродило по всему дому и издавало стоны, как ему и полагалось. Ступеньки поскрипывали под его невидимой тяжестью, оно стучало в стены, предвещая чью-нибудь неминуемую смерть, – и все это с большим достоинством, по законам хорошего тона. У домового нрав был совсем другой – вредный, злобный, коварный и мстительный. Дешевые вещи ему под руку не попадались – только те, что подороже. Потом он вдруг исчез. Я, собственно, не очень-то в него верил. Он был предметом наших семейных шуток, но шутки шутками, а домовый

домовым, и вот вам, пожалуйста, – картины с разбитым стеклом и черепки фарфоровой посуды.

Когда он перестал нас тревожить, Эллен начала ходить во сне – вот как сейчас. Я слышал ее медленные, но уверенные шаги вниз по лестнице. И в ту же минуту моя Мэри глубоко вздохнула и пробормотала что-то, и внезапно поднявшийся ветерок качнул тени листьев и веток на потолке.

Я тихонько встал с кровати и так же тихонько надел халат, ибо мне, как и всем, известно, что лунатиков пугать нельзя.

Из моих слов можно вывести, будто я плохо отношусь к своей дочери, а это неверно. Я люблю ее, но в то же время побаиваюсь, потому что многое в ней мне непонятно.

Если по нашей лестнице идти с краю, у самой стены, то ступеньки не скрипят. Я открыл это еще юнцом, когда возвращался домой после ночных гуляний, точно блудливый кот. И до сих пор пользуюсь своим открытием, если не хочу будить Мэри. Я вспомнил о нем и сейчас – бесшумно спустился по лестнице, ведя пальцами по стене, чтобы не оступиться. С той стороны, где улица, в окно проникал тусклый узорчатый свет фонаря, сливающийся с полутьмой в глубине комнаты. Но Эллен я видел. От нее словно исходило сияние – может, потому, что на ней была белая ночная рубашка. Лицо ее оставалось в тени, но плечи и руки излучали свет. Она стояла перед застекленной горкой, где у нас хранятся семейные реликвии, сами по себе пустяковые: резные, нарваловой кости киты и вельботы с веслами и гарпунами, со всей командой и с гарпунщиком на носу; изогнутые моржовые клыки и бивни; маленькая модель «Прекрасной Адэр», корпус поблескивает лаком, а свернутые паруса и снасти потемнели от времени, запылились. Есть там китайские вещицы, которые привозили с Востока старые шкиперы, опустошавшие китайские воды на своих китобойных судах; фигурки и безделушки черного дерева, слоновой кости – смеющиеся и серьезные божки, безмятежные и давно не мытые будды, цветы, вырезанные из розового кварца, мыльного камня и даже из нефрита – да, да, из настоящего нефрита, – и прелестные, совершенно прозрачные фарфоровые чашечки. Среди этих вещей, вероятно, есть и ценные – например, маленькие лошадки, хоть и грубо отесанные, а удивительно живые, – но это чистая случайность, не

иначе. Мореходы, охотники за китами – где им было отличать хорошее от плохого? А может, я не прав? Может, все-таки отличали?

Эта горка всегда была для меня святыней, точно маски предков у римлян, точно лары и пенаты, а если заглянуть еще дальше – точно камни, упавшие с луны. У нас есть даже корень мандрагоры – ни дать ни взять человек, плод семени удавленника, есть и самая настоящая русалка, сшитая из двух половинок – туловище обезьянье, а хвост рыбий. С годами она довольно сильно облезла, вся сморщилась и на ней стали видны швы, но ее мелкие зубки по-прежнему поблескивают в оскале свирепой ухмылки.

Вероятно, в каждой семье есть свой талисман, символ преемственности, который вдохновляет, и утешает, и подбадривает поколение за поколением. Наш талисман – это как бы сказать? – такой опалового цвета холмик то ли из кварца, то ли из яшмы или даже мыльного камня, четырех дюймов в диаметре, полутора – в высоту. И по нему идет бесконечно переплетающаяся извилина, и она будто непрестанно струится, бежит куда-то. Извилина живет, но у нее нет ни головы, ни хвоста, ни конца, ни начала. На ощупь камень не скользкий, а чуть шероховатый, как человеческая кожа, и всегда теплый. В него можно глубоко заглянуть, но насквозь он не просвечивает. Какой-нибудь старый моряк одной крови со мной привез этот камень из Китая. Он волшебный – его так приятно рассматривать, трогать, поглаживать пальцами, водить им по щеке. Этот странный талисман живет у нас за стеклом горки. В детстве, в юности и даже когда я стал взрослым мужчиной, мне разрешалось трогать его, брать в руки, но только не выносить из дому. И его цвет, его прожилки и фактура менялись вместе с переменами во мне самом. Однажды я представил себе, что это женская грудь, и она томила меня, жгла меня, мальчика. Потом он превратился в человеческий мозг и стал загадкой: что-то движется, плывет, но без истока, без устья – словно вопрос, замкнутый в самом себе, не требующий ответа, который исчерпал бы его, не знающий ни конца, ни начала обозримых границ.

В горку был вделан старинный медный замок, и в замке всегда торчал медный ключ.

Моя спящая дочка обеими руками держала волшебный камень, водила по нему пальцами, ласкала, как живое существо. Потом она прижала его к своей несформировавшейся груди, поднесла к щеке,

пониже уха, по-щелячьи ткнулась в него носом и чуть слышно замурлыкала что-то похожее не столько на песенку, сколько на стон удовольствия и сладость томления. В ней чувствовалась какая-то губительная сила. Я было испугался, – а вдруг она бросит его и разобьет или запрячет куда-нибудь, но тут же понял – в ее руках это мать, возлюбленный, ребенок.

Как же разбудить, не испугав? И вообще зачем будят лунатиков? Из страха, как бы они сами не причинили себе вреда? Но я не слышал, чтобы в таком состоянии с ними что-нибудь случилось, а вот когда их будят, это дело другое. Так зачем же нарушать ее сон? Ведь это не кошмар, мучительный, страшный; скорее всего, она испытывает приятное чувство, и наяву таких ощущений у нее не будет. Кто дал мне право портить все это? Я тихонько отошел и сел в свое глубокое кресло – ждать, что будет дальше.

Полутьма комнаты искрилась блесками ослепительного света, и они порхали и кружились, точно комариный рой. На самом деле ничего такого, вероятно, не было, просто у меня рябило в глазах от усталости, но отделаться от этого впечатления мне не удалось. А моя дочь Эллен действительно излучала сияние, и оно шло не только от белизны ее ночной рубашки, но и от самой кожи. В темной комнате нельзя было видеть ее лицо, а я его видел. И мне казалось, что оно у нее не как у маленькой девочки и не старообразное, а зрелое, с четкими, определившимися чертами. Даже губы ее, против обыкновения, были твердо сжаты.

Но вот Эллен твердой рукой положила талисман на прежнее место, затворила стеклянную дверцу и щелкнула медным ключом в замке. Потом она повернулась и, пройдя мимо моего кресла, стала подниматься по лестнице. Две вещи могли мне почудиться: первое – что поступь у нее была не как у девочки, а как у женщины, познавшей удовлетворение, и второе – что с каждым шагом сияние убывало в ней. Допустим, что это все домыслы, плод моей фантазии, но за третье я ручаюсь: под ее ногами ступеньки не скрипели. Она, вероятно, шла у самой стены, там, где старая лестница молчит, не жалуется.

Выждав несколько минут, я пошел следом за ней и увидел, что она лежит в постели и спит, уютно укрывшись одеялом. Она дышала ртом, и лицо ее было лицо спящего ребенка.

Что-то вынудило меня снова сойти вниз и открыть горку. Я взял волшебный камень в руки. Он еще хранил тепло тела моей дочери. Как в детстве, я стал водить кончиками пальцев по бесконечно струящейся извилине и успокоился. Я почувствовал, что Эллиен близка мне.

И вот не знаю, талисман ли связал ее со мной, с родом Хоули, или что другое.

Глава IX

В понедельник весна предательски вильнула назад, к зиме, разразившись холодным дождем и сырым, резким ветром, который сек молодую листву чересчур легковерных деревьев. Нахальных распутников воробьев, предававшихся блуду на газонах, ветер разгонял куда попало, и они сердитым чириканьем выражали неудовольствие по поводу капризов природы.

Я приветствовал мистера Рыжего Бейкера, который совершал свою утреннюю прогулку, как флажком помахивая хвостом на ветру. Старый мой знакомец, он жмурился от дождя. Я сказал:

– Мы можем казаться добрыми друзьями, но считаю своим долгом заметить вам, что отныне за нашими улыбками скрывается борьба, непримиримое столкновение интересов. – Я сказал бы еще больше, но он спешил кончить свои дела и убраться под надежный кров.

Морфи появился минута в минуту. Может быть, он поджидал меня, наверно даже так.

– Ну и погодка, – сказал он; его дождевик из прорезиненного шелка то вздувался пузырем, то облеплял ему колени. – Вы, говорят, были вчера у моего хозяина с визитом?

– Мне понадобился его совет. Но меня и чаем угостили.

– Не сомневаюсь.

– Знаете, как бывает с советами. Они вас устраивают лишь в том случае, если совпадают с вашими собственными намерениями.

– Ищете, куда бы поместить капитал?

– Моей Мэри захотелось новую мебель. А когда женщине чего-нибудь хочется, она первым делом изображает свою затею как выгодное помещение капитала.

– Это не только женская черта, – сказал Морфи. – Я и сам такой. Деньги-то ее. Вот она и хочет поискать что-нибудь подходящее.

На углу Главной улицы, у входа в игрушечный магазин Раппа ветер сорвал жестяной рекламный щиток и гнал его по мостовой с таким грохотом и звоном, как будто произошла автомобильная катастрофа.

– Скажите, верно я слышал, будто ваш хозяин собирается в Италию?

– Не знаю. Странно, что он до сих пор ни разу туда не съездил. Итальянцы такие горячие родственники.

– Зайдем, выпьем кофе?

– Мне еще нужно прибраться в лавке. После праздника с утра всегда много народу.

– Ладно уж, ладно. Не будьте мелочным. Личный друг мистера Бейкера может позволить себе не торопясь выпить чашку кофе.

Он это сказал не так ехидно, как оно выглядит на бумаге. Он умел говорить любые слова самым невинным и дружеским тоном.

За все эти годы я ни разу не пил утром кофе в «Фок-мачте» – вероятно, я один из всего города. Пить кофе в «Фок-мачте» – обычай, традиция, это все равно что клуб. Мы взгромоздились на табуреты у стойки, и мисс Линч – я вместе с ней ходил когда-то в школу – пододвинула нам чашки с кофе, ничего не расплескав. Рядом с каждой чашкой стоял крохотный сливочник, а два куска сахара в бумажных обертках она бросила вдогонку, словно игральные кости.

Мисс Линч, мисс Линч. «Мисс» уже стало частицей ее имени, частицей ее самой. Пожалуй, ей уже так и не удастся отделаться от этой частицы. Ее красный носик с каждым годом все красней, но это не алкоголизм, а хронический насморк.

– Доброе утро, Итен, – сказала она. – Что, сегодня какое-нибудь торжество?

– Это он меня затащил, – сказал я и, желая быть добрым, прибавил: – Анни.

Она дернула головой, как от револьверного выстрела, но потом, поняв, в чем дело, улыбнулась и, поверите ли, стала совершенно такой же, как в пятом классе, – и красный носик и все прочее.

– Приятно повидать тебя, Итен, – сказала она и высморкалась в бумажную салфетку.

– А я удивился, когда узнал, – сказал Морфи. Он снимал с сахара обертку. Его ногти блестели лаком. – Вот так, втемяшится тебе что-нибудь в голову, а там привыкнешь к этой мысли, и кажется, иначе и быть не может. Потом трудно поверить, что ты неправ.

– Не понимаю, о чем это вы.

– Я, пожалуй, и сам не понимаю. Черт бы побрал эти обертки. Почему не насыпать просто в сахарницу?

– Из экономии, должно быть, чтобы не брали слишком много.

– Разве что так. Я знал одного типа, он некоторое время только сахаром и питался. Пойдет в «Автомат», возьмет за десять центов чашку кофе, половину выпьет, а потом доверху добавляет сахаром. Все-таки хоть с голоду не умрешь.

И я, как всегда, подумал: не был ли этим типом сам Морфи – странный колючий человек без возраста, с наманикюренными ногтями. Он был как будто интеллигентным, об этом говорила его логика, ход его мыслей. Но язык у него был грубый, простецкий, с налетом вульгарности – язык человека из низов.

– Не потому ли вы пьете кофе с одним куском сахару? – спросил я.

Он ухмыльнулся.

– У каждого есть своя теория, – сказал он. – Самый распоследний голодранец разведет вам теорию, почему он попал в голодранцы. Едешь по дороге и вдруг упрешься в тупик, потому что считался с теорией, а не с дорожными знаками. Из-за этого самого и я, верно, дал маху насчет вашего хозяина.

Давно уж мне не случилось пить кофе не дома. Кофе был неважный. У него даже и вкуса кофе не было, разве что горячий и черный – в последнем я убедился, пролив немножко на свою сорочку.

– Честное слово, не понимаю, о чем вы.

– Хочу сообразить, с чего это мне вообще втемяшилось в голову. Верно, вот с чего: ведь он говорит, что приехал сорок лет назад. Тридцать пять или тридцать семь – это может быть, но не сорок, нет.

– Я, должно быть, очень туп.

– Если сорок, это выходит тысяча девятьсот двадцатый год. Все еще не дошло? Знаете, когда работаешь в банке, нужно уметь сразу раскусить человека, он протянул чек, а ты уже знаешь, что это за птица. Вот и вырабатывается сноровка. Не приходится даже думать. Все само встает на место, но бывает, что и ошибаешься. Может, он и в самом деле приехал в двадцатом. Может, я ошибся.

Я допил кофе.

– Пора, а то не успею прибраться в лавке, – сказал я.

– Вы меня перехитрили, – сказал Морфи. – Стали бы допытываться – ничего бы я вам не сказал. Но вы молчите, придется, значит, сказать. В двадцать первом году прошел первый чрезвычайный закон об иммиграции.

– Ну и что?

– В двадцатом он мог сюда приехать. В двадцать первом – едва ли.

– Ну и что?

– Значит – так подсказывает мне смекалка, – он приехал сюда после двадцать первого, но с черного хода. И, значит, он не ездит на родину потому, что не может получить документа на обратный въезд.

– Слава богу, что я не работаю в банке.

– А от вас бы там было больше проку, чем от меня. Я слишком много болтаю. Словом, если он едет, значит, я ошибся. Погодите, выйдем вместе. За кофе я плачу.

– Привет, Анни, – сказал я.

– Заходи, Ит. Ты никогда не заходишь.

– Зайду.

Когда мы пересекали улицу, Морфи сказал:

– Вы не рассказывайте его макаронному святейшеству, что я прохаживался насчет его отношений с иммиграционными властями, ладно?

– Зачем я стану ему рассказывать?

– А зачем я вам рассказал? Что за драгоценности в этом футляре?

– Шляпа рыцаря-храмовника. Перо пожелтело. Хочу узнать, не возьмут ли его в отбелку.

– Вы масон?

– Семейная традиция. Хоули были масонами еще до того, как Джордж Вашингтон стал Великим магистром.

– Вот не знал этого про Вашингтона. А мистер Бейкер тоже масон?

– У Бейкеров это тоже традиция.

Мы уже вошли в переулок. Морфи полез в карман за ключом от боковой двери банка.

– Может, потому мы и отпираем сейф с такими церемониями, будто это заседание масонской ложи. Только что свечей нет. А так – форменное священнодействие.

– Морфи, – сказал я, – вы что-то сегодня ко всему придираетесь. Пасха не внесла мира в вашу душу.

– Увидим через неделю, – сказал он. – Нет, правда. Когда стрелка подходит к девяти, мы уже все стоим, обнажив голову, перед святой

святых. А ровно в девять отец Бейкер преклонит колена, отопрет сейф, и мы все бьем земные поклоны Великому Богу Чистогана.

– Вы псих, Морфи.

– Может, я и псих. А, черт бы побрал этот замок! Его можно открыть чем угодно, только не ключом. – Он долго ворочал ключом в замке и пинал дверь ногами, пока она наконец не отворилась. Потом вытащил из кармана листок туалетной бумаги и затолкал его в замок.

Я едва удержался, чтобы не спросить: а это не рискованно?

Он ответил без моего вопроса:

– А то эта пакость захлопнется, когда не нужно. Понятно, после того, как открою сейф, Бейкер сам проверяет все замки. Смотрите же, не проболтайте Марулло о моих подозрениях. С такими клиентами шутить не приходится.

– Ладно, Морфи, – сказал я и пошел через дорогу к своей двери и оглянулся, ища кота, который всегда норовил прошмыгнуть в лавку, но кота не было.

Внутри лавки все как будто изменилось, все было новым для меня. Я видел то, чего никогда не замечал раньше, и не видел того, что меня всегда огорчало и раздражало. Ничего удивительного. Взглянешь на мир другими глазами или даже сквозь другие очки – и сразу перед тобой другой, новый мир.

В уборной из-за неисправного вентиля все время подтекала вода. Марулло не спешил сменить вентиль: расход воды не контролировался, и ему было наплевать. Я прошел в передний угол лавки, где стояли старомодные весы с чашками, и взял оттуда двухфунтовую гирию. Эту гирию я повесил к цепочке в уборной, поверх деревянной ручки. Вода полилась и стала литься не переставая. Я снова вышел в помещение лавки и прислушался: было слышно, как вода бурлит и клокочет в унитазе. Этот звук не спутаешь ни с чем другим. Я отвязал гирию, положил на место и вернулся за прилавок. Моя паства на полках замерла в ожидании. Бедняги, им некуда было податься. Мне бросилась в глаза маска Микки-Мауса, скалившая зубы с коробки в приделе, отведенном провизии для завтраков. Это мне напомнило про обещание, данное Аллену. Я нашел рогатую палку, которой достают товар с верхних полок, подцепил одну коробку, снес ее в кладовую и поставил там, где висел мой плащ. Вернувшись, я посмотрел на полку: оттуда точно так же скалил на меня зубы следующий Микки-Маус.

Я пошарил за батареей консервных банок и вытащил серый холщовый мешочек с мелочью, потом, вспомнив что-то, стал шарить дальше, пока не нащупал старый замасленный револьвер, валявшийся там с незапамятных времен. Это был «айвер-джонсон» 38-го калибра, когда-то посеребренный, но серебро почти все стерлось. Я открыл барабан и увидел позеленевшие от времени патроны. Барабан, перемазанный загустевшим маслом, вращался туго. Я сунул предательскую и, вероятно, опасную игрушку в ящик под кассой, достал чистый фартук и подвязал его, обведя тесемками вокруг пояса и аккуратно заправив их под отогнутый край.

Кому не случалось задумываться над решениями, поступками и замыслами сильных мира сего? Рождены ли они разумными побуждениями и добрыми намерениями или же в них повинны порой случай, мечта, разыгравшаяся фантазия, сказки, которые мы все любим рассказывать себе? Я хорошо знаю, сколько времени длится игра, которую я веду в своем воображении, – она началась с того дня, когда Морфи перечислял мне условия успешного ограбления банка. Я долго обдумывал его слова с ребяческим удовольствием, в каком взрослые обычно не сознаются. Так началась игра, которая шла параллельно действительной жизни лавки, и все, что происходило на самом деле, словно бы естественно укладывалось в эту игру. Неисправный вентиль в уборной, маска Микки-Мауса, которую просил Аллен, рассказ об отпирании сейфа. Возникали новые подробности и тоже легко находили себе место – например, туалетная бумага, засунутая в дверной замок. Игра постепенно расширялась, усложнялась, но до этого дня в ней участвовало только воображение. Гиря, привязанная к цепочке в уборной, была первой реальностью этого мысленного дивертисмента. Второй реальностью был старый револьвер. А теперь я занялся расчетом времени. Игра обретала точность.

Я до сих пор ношу при себе отцовский серебряный хронометр с толстыми стрелками и большими черными цифрами – вещь редкостная если не по красоте, то по верности хода. Утром, прежде чем взяться за метлу, я сунул его в кармашек сорочки. И измерил время так, что без пяти девять уже успел распахнуть двери и чиркал метлой по тротуару. Удивительно, сколько пыли скапливается за субботу и воскресенье, а от дождя пыль намокла и превратилась в грязь.

До чего же точный механизм – наш банк, под стать отцовскому хронометру! Ровно без пяти девять со стороны Вязовой улицы показался мистер Бейкер. Гарри Роббит и Эдит Олден, вероятно, подстерегали его приход. Они сразу вынырнули из «Фок-мачты» и догнали его на полдороге.

– Доброе утро, мистер Бейкер, – окликнул я. – Доброе утро, Эдит. Доброе утро, Гарри.

– Доброе утро, Итен. Вам сегодня без шланга не управиться. – Они вошли в банк.

Я поставил метлу у входа, взял гирию с весов, подошел к кассе, выдвинул ящик и начал быструю, но методичную пантомиму. Прошел в уборную и подвесил гирию к цепочке. Подобрал фартук, заткнул полы за пояс, надел свой плащ, подошел к боковой двери и осторожно приотворил ее. Когда минутная стрелка хронометра коснулась двенадцати, на башне ратуши начали бить часы. Я отсчитал в уме восемь шагов через дорогу, потом еще двадцать. Я сделал движение рукой – не шевеля губами, – выждал десять секунд, сделал еще движение рукой. Все это я видел мысленно – руки мои делали определенные движения, а я считал: двадцать шагов, быстрых, но размеренных, потом еще восемь шагов. Я затворил дверь, снял плащ, опустил фартук, прошел в уборную, снял гирию с цепочки, прекратив этим спуск воды, подошел к кассе, выдвинул ящик, открыл шляпную коробку, потом опять закрыл и застегнул на ней ремень, вернулся к входной двери, взял метлу и посмотрел на часы. Было девять часов две минуты и двадцать секунд; неплохо, но можно напрактиковаться так, чтобы все занимало меньше двух минут.

Я еще не кончил подметать тротуар, когда из «Фок-мачты» вышел Стони, начальник полиции, и, перейдя улицу, направился ко мне.

– Доброе утро, Ит. Отпустите-ка мне поскорей полфунта масла, фунт бекону, бутылку молока и десяток яиц. У моей супружницы подобрались все припасы.

– Сию минуту, начальник. Как вообще жизнь? – Я раскрыл бумажный пакет и стал складывать туда нужные продукты.

– Спасибо, ничего, – сказал он. – Я заходил минут пять назад, да услышал, что вы в уборной.

– Наешься крутых яиц, вот и сидишь без конца.

– Что верно, то верно, – сказал Стони. – Это уж такое дело.

Сработало, значит.

Уже собравшись уходить, он спросил:

– Что с вашим дружкой, Дэнни Тейлором?

– Ничего не знаю. Опять он за свое?

– Да нет, вроде бы он в порядке, почистился даже. Я сижу в машине, а он подходит и просит засвидетельствовать его подпись.

– Для чего?

– Не имею понятия. На двух бумагах, но он держал их сложенными, так что я ничего не мог разглядеть.

– На двух бумагах?

– Точно. Он дважды расписался, и я дважды засвидетельствовал его подпись.

– Он не был пьян?

– По-моему, нет. Подстриженный, при галстукке.

– Хорошо, если так, начальник.

– Да, конечно. Бедняга. Все ведь они надеются на что-то. Ну, мне пора. – И он с места припустил галопом. У Стони жена на двадцать лет его моложе. Я снова взялся за метлу и стал сбрасывать комки грязи в водосточную канаву.

На душе у меня было погано. Может быть, всегда трудно в первый раз.

Я был прав насчет послепраздничного утра. Казалось, все в городе остались без провизии. А нам овощи и фрукты подвозят только после полудня, так что в лавке поживиться было почти нечем. Но и с наличным товаром я только успевал поворачиваться.

Марулло явился около десяти и – удивительное дело! – стал мне помогать, взвешивать, завертывать, выбивать чеки в кассе. Давно уже он не прикладывал рук к торговле. С ним чаще всего бывало так: зайдет, посмотрит и скроется – точно лендлорд, мимоходом заглянувший в свое поместье. Но на этот раз он исправно трудился, помогая мне вскрывать коробки и ящики с вновь полученным товаром. Мне казалось, он чем-то встревожен и внимательно следит за мной, когда я отвернусь. У нас не было времени на разговоры, но я чувствовал на себе его взгляд. Я решил, что его смущает история со взяткой, от которой я отказался. Может быть, Морфи и прав. Есть такие люди – услышав, что кто-то поступил честно, они ищут бесчестных мотивов, заставивших его так поступить. «А какая ему от

этого выгода?» – излюбленное рассуждение тех, кто привык собственную жизнь разыгрывать, как партию в покер. Мне стало смешно от этой мысли, но я запрятал смешок поглубже, чтоб даже пузырька не поднялось на поверхность.

Около одиннадцати в лавку заглянула Мэри, прехорошенькая в новом платье из набивного ситца. Вид у нее был радостный и немножко взволнованный, как будто она только что совершила нечто приятное, но опасное, – так оно и было на самом деле. Она подала мне конверт из плотной желтоватой бумаги.

– Я думала, может, тебе это понадобится, – сказала она. И улыбнулась Марулло, по-птичьи склонив набок голову, как она всегда улыбается людям, которые ей несимпатичны. А Марулло с самого начала не внушал ей симпатии, и доверия тоже. Я это объяснял инстинктивной неприязнью, которую всякая жена питает к хозяину мужа и к его секретарше.

Я сказал:

– Спасибо, родная. Ты очень внимательна. Жаль, я не могу сразу же пригласить тебя покататься на яхте по Нилу.

– Я вижу, что тебе некогда, – сказала она.

– Наверно, и у тебя в хозяйстве все подобралось.

– Конечно. Вот список. Захвати, когда пойдешь домой, ладно? Сейчас тебе некогда возиться с этим.

– Только не корми меня больше крутыми яйцами.

– Не буду, милый. Целый год не буду.

– Пасхальная сдоба тоже дает себя знать.

– Марджи просит, чтобы мы сегодня пообедали с ней в «Фокмачте». Она огорчается, что ей никогда не удастся угостить нас.

– Что ж, отлично, – сказал я.

– Она говорит, дома у нее слишком тесно.

– Разве?

– Я тебя отвлекаю от дела, – сказала она.

Глаза Марулло были прикованы к желтоватому конверту, который я держал в руке. Я сунул его под фартук и спрятал в карман брюк. Марулло сразу узнал банковский конверт. И я почувствовал, что он весь насторожился, точно терьер, учуявший крысу на городской свалке.

Мэри сказала:

– Я еще не поблагодарила вас за конфеты, мистер Марулло. Дети были в восторге.

– Я просто хотел поздравить с праздником, – сказал он. – А вы совсем по-весеннему.

– Да, и очень некстати. Видите, промокла. Я думала, дождя больше не будет, а он опять пошел.

– Возьми мой плащ, Мэри.

– Еще чего не хватало. Такой дождь ненадолго. А ты занимайся своими покупателями.

Народу в лавке все прибавлялось. Заглянул мистер Бейкер, но, увидев длинную очередь, не стал входить.

– Зайду попозже! – крикнул он мне.

А народ все шел и шел вплоть до полудня, когда, как это обычно бывает, торговля сразу замерла. Люди завтракали. Движение на улице почти прекратилось. Впервые за это утро настала минута, когда никому ничего не было нужно. Я допил молоко из картонки, которую открыл раньше. Все, что я брал в лавке, я записывал, и потом это вычиталось из моего жалованья. Марулло считал мне по оптовым ценам. Так выходило гораздо дешевле. Иначе мы не могли бы прожить на мое жалованье.

Марулло прислонился к прилавку и скрестил руки на груди, но ему стало больно; тогда он заложил руки в карманы, но и это не спасло его от боли.

Я сказал:

– Спасибо, что помогли мне. Такого столпотворения никогда еще не бывало. Впрочем, это понятно – на одних остатках картофельного салата не проживешь.

– Ты хорошо работаешь, мальчуган.

– Я работаю, вот и все.

– Нет, не все. Ты умеешь привлечь покупателей. Они тебя любят.

– Они просто привыкли ко мне. Я ведь здесь спокон веку. – И тут мне пришло в голову пустить маленький, совсем крошечный пробный шарик: – Вы, наверно, ждете не дождетесь жаркого сицилийского солнца. Оно там очень жаркое. Я был в Сицилии во время войны.

Марулло отвел глаза в сторону.

– Я еще не решил окончательно.

– А почему?

– Уж очень много времени прошло – целых сорок лет. Я теперь там и не знаю никого.

– У вас же есть родные.

– Они меня не знают.

– С каким бы удовольствием я провел месяц в Италии без винтовки и вещевого мешка. Правда, сорок лет долгий срок. Вы в каком году приехали сюда?

– В тысяча девятьсот двадцатом. Давно, очень давно.

Кажется, Морфи попал в точку. Чутье у них, что ли, особое, у банковских служащих, таможенников и полицейских? Я решил пустить еще шар, чуть побольше. Я выдвинул ящик, достал револьвер и бросил его на прилавок. Марулло поспешно убрал руки за спину.

– Что это такое, мальчуган?

– Я хотел вам посоветовать – если у вас нет разрешения, выправьте, не откладывая. С актом Салливэна шутить не стоит.

– Откуда взялся этот револьвер?

– Все время здесь лежит.

– Я его никогда не видел. У меня не было револьвера. Это твой.

– Нет, не мой. Я его тоже никогда не видел раньше. Но принадлежит же он кому-то. А раз уж он есть, не мешало бы все-таки выправить разрешение. Вы уверены, что он не ваш?

– Говорят тебе, я его первый раз вижу. Я вообще не люблю оружия.

– Как странно. Мне казалось, члены мафии непременно должны любить оружие.

– При чем тут мафия? Ты что, хочешь сказать, что я член мафии? Я прикинулся наивным.

– А разве не все сицилийцы состоят в мафии?

– Что за чушь! Я даже не знаю никого, кто бы там состоял!

Я бросил револьвер в ящик.

– Век живи, век учись! – сказал я. – Ну, мне он, во всяком случае, ни к чему. Отдать его разве Стони? Скажу, что случайно наткнулся на него на полке за товаром – так оно, кстати, и было.

– Делай с ним, что хочешь, – сказал Марулло. – Я его никогда в жизни не видел. Он мне не нужен. Он не мой.

– Ладно, – сказал я. – Отдам, и дело с концом. Требуется целая куча бумаг, чтобы выправить разрешение по акту Салливэна, –

немногим меньше, чем для получения паспорта.

Моему хозяину стало явно не по себе. Все это были мелочи, но слишком уж много их накопилось за последнее время.

В лавку, идя в крутой бейдевинд с поставленными кливерами, вплыла престарелая мисс Эльгар, наследная принцесса Нью-Бэйтауна. Мисс Эльгар жила, отделенная от мира двойной стеклянной стеной с воздушной прослойкой. Ее привела в лавку необходимость купить десяток яиц. Она помнила меня маленьким мальчиком и, должно быть, не подозревала, что я за это время успел подрасти. Я видел, что она приятно удивлена моим умением считать и давать сдачу.

– Спасибо, Итен, – сказала она. Ее взгляд скользнул по кофейной мельнице и по Марулло с совершенно одинаковым интересом. – Как здоровье твоего батюшки, Итен?

– Хорошо, мисс Эльгар.

– Будь умницей, не забудь поклониться ему от меня.

– Слушаю, мэм. Непременно, мэм. – Я не собирался корректировать ее чувство времени. Говорят, она до сих пор каждое воскресенье аккуратно заводит стенные часы, хотя они давным-давно электрифицированы. А совсем не плохо жить вот так, вне времени, в бесконечном сегодня, которое никогда не станет вчера. Выходя, она благосклонно кивнула кофейной мельнице.

– Немножко того, – сказал Марулло, покрутив пальцем у виска.

– Для нее никто не меняется. Ни с кем ничего не происходит.

– Ведь твой отец умер. Почему ты не объяснишь ей, что он умер?

– Если ей даже объяснить, она тут же забудет. Она всегда справляется о здоровье отца. Только недавно перестала справляться о здоровье деда. Говорят, она с ним крутила, старая коза.

– Немножко того, – повторил Марулло. Но каким-то образом мисс Эльгар с ее смещенными представлениями о времени помогла ему восстановить свое душевное равновесие. Человек и проще и сложнее, чем кажется. И когда мы уверены, что правы, тут-то мы обычно и ошибаемся. Исходя из опыта и привычки, Марулло усвоил три подхода к людям: начальственный, льстивый и деловой. Вероятно, все три большей частью себя оправдывали в жизни и потому вполне устраивали его. Но на каком-то этапе своих отношений со мной он от первого отказался.

– Ты славный мальчуган, – сказал он. – И ты настоящий друг.

– Старый шкипер – это мой дед – любил говорить: если хочешь сохранить друга, никогда не испытывай его.

– Умно сказано.

– Он был умный человек.

– Так вот, мальчуган: я раздумывал весь воскресный день, даже в церкви я раздумывал.

Я знал – или догадывался, – что у него нейдет из ума не принятая мной взятка, и я решил избавить его от долгих предисловий.

– Наверно, всё о том щедром подарке.

– Ага. – Он восхищенно взглянул на меня. – А ты и сам умен.

– Видно, не очень, а то работал бы на себя, а не на хозяина.

– Ты здесь сколько времени – двенадцать лет?

– То-то и есть, что целых двенадцать лет. Не слишком ли долго, как вам кажется?

– И ты ни разу ни цента не положил в карман, ни разу не унес ничего домой, не записав в книжку.

– Честность – мой рэкет.

– Ты не шути. Я верно говорю. Я проверяю. Я знаю.

– Что ж, прицепите мне медаль на грудь.

– Все воруют – кто больше, кто меньше, а ты нет. Я знаю!

– Может, я просто жду случая украсть уж все сразу.

– Брось свои шутки. Я верно говорю.

– Альфио, вам попался бриллиант. Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка.

– Хочешь, я возьму тебя в дело компаньоном?

– А капитал? Мое жалованье?

– Что-нибудь придумаем.

– Тогда я ничего не смогу украсть у вас, не обворовав самого себя.

Он весело засмеялся.

– Ты умен, мальчуган. Но ведь ты и так не крадешь.

– Вы не слыхали, что я сказал. Может, я задумал украсть все сразу.

– Ты честен, мальчуган.

– Вот и я говорю. Чем ты честней, тем меньше тебе верят. Знаете, Альфио, лучший способ скрыть свои настоящие побуждения – это говорить правду.

– Что ты там мелешь?

– Ars est celare artem. [\[20\]](#)

Он пошевелил губами, повторяя, и вдруг расхохотался.

– Ха-ха-ха! *Nic erat demonstrandum.* [21]

– Хотите выпить холодной кока-колы?

– Мне вредно – вот тут! – Он хлопнул себя по животу.

– Не так вы еще стары, чтоб возиться с больным желудком, ведь вам еще нет пятидесяти?

– Пятьдесят два, и желудок у меня в самом деле больной.

– Допустим, – сказал я. – Вы, значит, приехали сюда двенадцатилетним, если это было в двадцатом году. Рано же в Сицилии начинают учить латынь.

– Я был певчим в церкви.

– Я сам участвовал в церковном хоре – носил крест во время богослужения. Ну, как хотите, а я выпью. Альфио, – сказал я, – вы придумайте для меня способ вступить в дело, а тогда я погляжу. Но предупреждаю вас, денег у меня нет.

– Придумаем, придумаем.

– Но у меня будут деньги.

Он смотрел на меня в упор, как будто что-то притягивало его взгляд. И наконец сказал тихо:

– *Io lo credo.* [22]

Чувство силы, если не славы, всколыхнулось во мне. Я открыл бутылку кока-колы и, поднося ее к губам, посмотрел поверх стеклянного ствола прямо в глаза Марулло.

– Ты славный мальчуган, – сказал он и, пожав мне руку, направился к выходу.

Что-то вдруг толкнуло меня его окликнуть:

– Альфио, а как ваше плечо?

Он удивленно оглянулся.

– Теперь не болит, – сказал он. И пошел дальше, повторяя самому себе: – Теперь не болит.

Вдруг он вернулся взволнованный.

– Надо тебе взять эти деньги.

– Какие деньги?

– Эти пять процентов.

– Зачем?

– Надо взять. Будешь мне выплачивать свой пай постепенно – сейчас немножко, потом еще немножко. Только требуй не пять, а

шесть.

– Нет.

– Как это нет, если я говорю да?

– Мне это не нужно, Альфио. Я бы взял, если бы мне нужно было, но мне не нужно.

Он глубоко вздохнул.

Днем в лавку не так валил народ, как с утра, но все-таки дела было много. Не знаю отчего, но между тремя и четырьмя часами всегда наступает затишье минут на двадцать или на полчаса. Потом идет новая волна покупателей – трудовой люд по дороге с работы или хозяйки, спохватившиеся, что у них ничего нет на обед.

В час затишья явился мистер Бейкер. Он долго разглядывал сыры и колбасы за стеклом холодильника, дожидаясь, когда уйдут два замешкавшихся покупателя, оба из породы нерешительных, таких, которые сами не знают, чего хотят, – возьмут одно, положат, возьмут другое, положат – и точно надеются, что нужная вещь сама вскочит им в руки и попросит купить ее.

Наконец они все-таки что-то купили и ушли.

– Итен, – сказал мистер Бейкер. – Вам известно, что Мэри взяла тысячу долларов?

– Да, сэр. Она меня предупредила об этом.

– А вам известно, зачем ей понадобились деньги?

– Еще бы, сэр. Она уже полгода толкует об этом. Вы же знаете женщин. На мебели разве что немного пообтерлась обивка, но с того дня, как она задумала купить новую, это уже старый хлам, на котором сидеть нельзя.

– А вы не считаете, что сейчас глупо тратить деньги на такие вещи? Я ведь вам вчера говорил, какие намечаются перспективы.

– Это ее деньги, сэр.

– Речь идет не о каких-нибудь рискованных спекуляциях, Итен. Речь идет об абсолютно надежном помещении капитала. С этой тысячей она бы через год и мебель купила и еще бы тысяча у нее осталась.

– Мистер Бейкер, я не могу запретить ей тратить ее собственные деньги.

– Но вы бы могли объяснить ей, вы бы могли ее урезонить.

– Мне как-то не пришло в голову.

– Это ответ в духе вашего отца. Это ответ слюнтя. Я берусь помочь вам стать на ноги, но только в том случае, если вы не будете слюнтяем.

– Постараюсь, сэр.

– Вдобавок она еще, кажется, не хочет иметь дело с местными фирмами. Польститесь на скидку где-нибудь на распродаже и уплатит все наличными. Да еще неизвестно, что ей там всучат. Здесь, может быть, обошлось бы и дороже, но по крайней мере есть с кого спросить, если что не так. Вы должны вмешаться, Итен. Заставьте ее положить деньги обратно. Или пусть доверит их лично мне. Она не прогадает.

– Эти деньги – ее наследство после брата, сэр.

– Знаю. Я попытался ее образумить, когда она пришла за ними. Она сделала голубые глаза и сказала, что хочет поехать посмотреть. Как будто нельзя ездить и смотреть без тысячи долларов в кармане! Если у нее соображения не хватает, так вы-то должны соображать!

– Не разбираюсь я в этих делах, мистер Бейкер, привычки нет. Ведь у нас, с тех пор как мы поженились, никогда не было денег.

– Ну так советую вам разобраться, и как можно скорее, а то у вас их и не будет. У некоторых женщин пристрастие к мотовству все равно что наркомания.

– У Мэри нет такого пристрастия, сэр. Откуда?

– Нет, так будет. Стоит ей раз отведать крови и она почувствует вкус к убийству.

– Мистер Бейкер, вы это не серьезно.

– Совершенно серьезно.

– Мэри – самая бережливая жена на свете, да ей и нельзя иначе.

Тут он неизвестно почему разбушевался.

– От вас я этого не ожидал, Итен. Если вы хотите чего-то добиться, прежде всего сумеете быть хозяином в собственном доме. Можете повременить с новой мебелью еще немного.

– Я-то могу, она не может. – Мне вдруг пришла в голову мысль, что у банкиров особое зрение на деньги, вроде рентгеновских лучей, и он сейчас видит конверт, лежащий в моем кармане. – Попробую ее уговорить, мистер Бейкер.

– Если она уже все не истратила. Где она сейчас, дома?

– Собиралась поехать автобусом в Риджхэмтон.

– Боже мой! Ну конечно, тысячи долларов как не бывало.

- Это ведь не весь ее капитал, сэр.
- Не в том дело. Без денег вам никуда нет хода.
- Деньга деньгу делает, – вполголоса сказал я.
- Именно. Зарубите это себе на носу, иначе вы пропащий человек, так и будете всю жизнь торчать за прилавком.
- Мне очень жаль, что так случилось.
- Чем жалеть, лучше заставьте ее слушаться.
- Женщины чудной народ, сэр. Вы вчера говорили о том, как наживают деньги, и, может быть, ей показалось, что это очень легко.
- Так рассейте ее заблуждение: ведь, если у вас не с чего будет начинать, вам ни о каких деньгах и думать не придется.
- Не хотите ли выпить холодной кока-колы, сэр?
- Да, хочу.

Пить из бутылки он не умел, пришлось открыть пачку бумажных стаканчиков. Зато он сразу поостыл и теперь только глухо ворчал, как гром, замирающий в отдалении.

Вошли две негритянки из дома на перекрестке, и ему оставалось только залпом проглотить свою кока-колу и свое негодование.

– Так не забудьте поговорить с ней! – сердито рявкнул он и пошел из лавки. Я подумал, не оттого ли он так злится, что заподозрил подвох, но тут же откинул эту мысль. Нет, просто он чувствует, что вышло не по его, а он к этому не привык, оттого и злится. Нетрудно прийти в ярость, когда ты советуешь, а твоих советов не слушают.

Эти негритянки – приятные покупательницы. На перекрестке живет целая колония цветных, очень славные люди. Они сюда ходят редко, потому что у них есть своя лавка, но иногда делают у нас кое-какие покупки для сравнения, чтобы выяснить, не слишком ли дорого обходится им расовая солидарность. Эти две не столько покупали, сколько приценивались, но я понимал, в чем дело, и потом на них приятно было смотреть: красивые женщины, с такими длинными, стройными, прямыми ногами. Удивительно, как много значит для человеческого тела относительно сытое детство – да и для духа тоже.

Перед самым закрытием я позвонил Мэри по телефону.

- Я сегодня приду немного позже, пушинка.
- Не забудь, что мы обедаем с Марджи в «Фок-мачте».
- Я помню.
- На сколько ты запоздаешь?

– Минут на десять – пятнадцать. Хочу сходить посмотреть, как работает землечерпалка в гавани.

– Зачем это?

– Я подумываю, не купить ли ее.

– Фу!

– Принести тебе рыбки?

– Разве если попадется хорошая камбала. Больше теперь ничего не найдешь.

– Ладно. Ну, я пошел.

– Только не копайся, пожалуйста. Тебе еще нужно мыться, переодеваться. Все-таки ведь «Фок-мачта».

– Будь спокойна, моя прелесть, моя красавица. И влетело же мне от мистера Бейкера за то, что я позволил тебе истратить тысячу долларов.

– Ах он старый козел!

– Мэри, Мэри! У стен есть уши.

– Скажи ему, пусть он... сам знаешь что.

– Ну, где ему! Кроме того, он тебя считает дурочкой.

– Что-о?

– А меня – слюняем, размазней и еще чем-то в этом роде.

Она засмеялась своим переливчатым смехом, от которого у меня сладкие мурашки по сердцу бегут.

– Жду тебя, милый, – сказала она. – Жду-жду-жду...

А каково мужчине слышать такие слова! Повесив трубку, я стоял у телефона весь обмякший, раскисший от счастья – если так бывает. Я пробовал вспомнить, как я жил до Мэри, но память ничего не подсказывала, пробовал вообразить, как бы я жил без нее, но воображение рисовало только какую-то серую неопределенность в траурной рамке.

Солнце уже зашло за кромку холмов на западе, но большое пухлое облако вобрало его лучи и отбрасывало их на гавань, на волнорез, на морскую даль, и от этого гребешки волн заалели, как розы. У самого мола торчат из воды причальные сваи – тройные связки бревен, стянутые наверху железным обручем и стесанные в форме пилонов, чтобы лучше сдерживать зимой напор льда. И на всех неподвижно стояли чайки, большей частью самцы, с ослепительно белой грудью и

аккуратными серыми крыльями. Интересно, может, у каждого из них свое место, которое он может продавать или сдавать внаймы.

Несколько рыбачьих лодок были вытащены на берег. Я знаю всех рыбаков, знаю их с тех пор, как помню себя. Мэри оказалась права. Ничего у них не было, кроме камбалы. Я купил четыре штуки получше у Джо Логана и постоял возле него, пока он разделявал их ножом, входившим в рыбу тушку легко, как в воду. Весной есть одна дежурная тема для беседы: скоро ли пойдет кумжа? Существует поговорка: «Сирень цветет – кумжа идет», но на эту примету положиться нельзя. Сколько я себя помню, всегда бывало так: или кумжа еще не пошла, или она уже прошла. А какая красивая эта рыбка, ладная, как форель, чистенькая, серебристая, как... как серебро. И пахнет хорошо. Так вот кумжа не шла. Джо Логану не удалось поймать ни одной штуки.

– Что до меня, так я люблю морского окуня, – сказал Джо. – Смешно! Когда говоришь «морской окунь», никто на него и смотреть не хочет, а назови его «морской курочкой» – покупатели прямо рвут из рук.

– Как ваша дочка, Джо?

– Да то вроде получше, а то опять словно тает. Горе мне с ней.

– Тяжело, конечно. Сочувствую вам.

– Если б хоть чем-нибудь можно было помочь...

– Я понимаю – бедная девочка. Вот бумажный мешок, Джо. Просто бросьте в него рыбку. Вы передайте дочке привет от меня, Джо.

Он впился в меня взглядом, точно надеялся выжать из меня что-то, какое-то лекарство.

– Ладно, Ит, – сказал он. – Передам.

За волнорезом работала землечерпалка, ее гигантский насос втягивал со дна ил и раковины и по трубе, уложенной на понтонах, гнал все на берег, за просмоленную черную загородку. На землечерпалке зажжены были и ходовые и якорные огни, и два красных шара на высоком шесте указывали, что работа производится. На палубе, опершись голыми локтями на поручни, стоял бледнолицый кок в белом колпаке и переднике, смотрел вниз, в растревоженную воду, и время от времени сплевывал за борт. Ветер дул с моря. Он доносил вонь ила, и мертвых моллюсков, и полусгнивших водорослей,

смешанную со сладким запахом яблочного пирога с корицей, который пекли на землечерпалке.

Маленькая яхта сверкнула парусами в последних отсветах зари, но розовую вспышку тотчас же погасила тень берега. Я повернул назад и, минуя старый яхт-клуб и здание Американского легиона с выкрашенными в темную краску пулеметами у входа, пошел налево.

На лодочной пристани, несмотря на поздний час, еще работали – смолили и красили лодки, готовя их к летнему сезону. Необычно поздняя весна задержала эту работу, а теперь нужно было спешно наверстывать упущенное.

Я обогнул лодочную пристань и через заросший сорняком пустырь дошел до конца гавани, а оттуда неторопливым шагом направился к хибарке Дэнни. Я шел и насвистывал старую песенку на тот случай, если Дэнни не расположен со мной встречаться.

Так оно, по-видимому, и было. Хибарка была пуста, но я мог бы дать голову на отсечение, что Дэнни где-то рядом – лежит в зарослях сорняков или прячется за одним из валяющихся кругом толстенных бревен. Не сомневаясь, что он вылезет, как только я уйду, я достал из кармана желтый конверт, стоймя пристроил его на грязной койке около стены и вышел из хибарки, только на минуту прервав свой свист, чтобы сказать вполголоса: «До свидания, Дэнни. Желаю удачи». Так, насвистывая, я и вернулся в город, прошел мимо нарядных особняков Порлока, вышел на Вязовую и наконец очутился у своего дома – старого дома Хоули.

Я застал мою Мэри храбро сражающейся с бурей. Вокруг нее свирепствовали ветры, плыли по волнам обломки крушений, а она, в туфельках и белой нейлоновой комбинации, управляла разбушевавшейся стихией, сохраняя выдержку и мужество. Только что вымытая голова, вся в навернутых на бигуди локонах, очень напоминала большой выводок колбасок-сосунков. Я не упомяну, когда мы с ней последний раз обедали в ресторане. Нам это не по карману, и мы давно отстали от этой привычки. Вихрь, закруживший Мэри, прихватил стороной и детей. Она кормила их, умывала, отдавала распоряжения, заменяла эти распоряжения другими. Посреди кухни стояла гладильная доска, и весь мой драгоценный гардероб, тщательно отутюженный, был развешан на спинках стульев. Мэри делала все дела сразу, поминутно подбегала к доске, чтобы провести утюгом по

разложенному на ней платью. Дети от возбуждения почти не могли есть, но не смели ослушаться.

У меня пять так называемых выходных костюмов – совсем недурно для продавца бакалейной лавки. Я по очереди потрогал пиджаки на спинках стульев. Каждый костюм имел у нас свое название: синий – Старый, коричневый – Джордж Браун, серый – Дориан Грей, черный – Похоронный и темно-серый – Сивый мерин.

– Какой мне надеть, мой ночничок?

– Ночничок? О-о!.. Погоди, обед не парадный, и сегодня понедельник. По-моему, Джорджа Брауна или Дориана, да, пожалуй, Дориана, это будет не парадно и в то же время достаточно парадно.

– И бабочку в горошек, да?

– Конечно.

Вмешалась Эллен:

– Папа! Нельзя тебе надевать бабочку! Ты слишком старый.

– Вовсе нет. Я молодой, веселый и легкомысленный.

– Над тобой будут смеяться. Очень рада, что я с вами не иду.

– Я тоже очень рад. С чего это тебе вздумалось записать меня в старики?

– В старики не в старики, но для бабочки ты стар.

– Ты противная маленькая доктринерка.

– Ну, если тебе хочется, чтобы все смеялись, пожалуйста.

– Да, мне именно этого хочется. Мэри, тебе разве не хочется, чтобы все смеялись?

– Не приставай к папе, ему нужно еще принять душ. Сорочку я приготовила, лежит на кровати.

Аллен сказал:

– Я уже написал половину сочинения.

– Тем лучше, потому что летом я тебя приставлю к делу.

– К какому делу?

– Будешь работать со мной в лавке.

– Ну-у! – Его явно не воодушевляла эта перспектива.

Эллен открыла было рот, но хотя мы повернулись к ней, так ничего и не сказала. Мэри в сто восемьдесят пятый раз стала объяснять детям, что они должны и чего не должны делать в наше отсутствие, а я пошел наверх, в ванную.

Когда я надевал перед зеркалом свою любимую синюю бабочку в горошек, вошла Эллен и прислонилась к двери.

– Все было бы ничего, если бы ты был помоложе, – сказала она до ужаса по-женски.

– Не завидую я твоему будущему счастливому супругу, моя дорогая.

– Даже мальчики в старших классах не носят бабочек.

– А премьер Макмиллан носит.

– Это другое дело. Папа, списывать из книжки жульничество?

– Не понимаю.

– Ну, если кто-то – например, если я буду писать сочинение и возьму чего-нибудь из книжки, это как?

– Ты хотела сказать – что-нибудь?

– Ну, что-нибудь.

– Зависит от того, как ты это сделаешь.

– Теперь я не понимаю.

– Если ты поставишь кавычки и сделаешь сноску с указанием, кто автор, это только придаст твоей работе солидность и значительность. Пожалуй, половина американской литературы состоит из цитат или подборок. Ну, нравится тебе мой галстук?

– А если без этих самых... кавычек?

– Тогда это все равно что воровство, самое настоящее воровство. Надеюсь, ты не сделала ничего подобного?

– Нет.

– Тогда что же тебя смущает?

– А за это могут посадить в тюрьму?

– Могут – если ты таким образом получишь деньги. Так что лучше ты этого не делай, дочка. Но что ты все-таки скажешь о моем галстуке?

– Я скажу, что с тобой невозможно разговаривать.

– Если ты намерена сейчас спуститься вниз, передай своему милейшему братцу, что я ему принес его дурацкого Микки-Мауса, хоть он этого вовсе не заслужил.

– Никогда ты не выслушаешь серьезно, по-настоящему.

– Я очень внимательно слушал.

– Нет, не слушал. Потом сам пожалеешь.

– До свиданья, Леда. Попрошайся с Лебедем.

Она побрела вниз – олицетворенный соблазн с необсохшим молоком на губах. Девочки ставят меня в тупик. Они оказываются – девочками.

Моя Мэри была просто прекрасна, просто блистала красотой. Сияние струилось из всех пор ее существа. Она взяла меня под руку, и когда мы шли по Вязовой улице под сенью деревьев, пронизанной светом уличных фонарей, честное слово, наши ноги несли нас с величавой и легкой резвостью чистокровок, приближающихся к барьеру.

– Мы с тобой поедem в Рим! Египет слишком тесен для тебя. Большой мир зовет.

Она фыркнула. Честное слово, она фыркнула с непосредственностью, которая сделала бы честь нашей дочери.

– Мы чаще будем выезжать в свет, родная моя.

– Когда?

– Когда разбогатеem.

– А когда это будет?

– Скоро. Я научу тебя носить бальные туфли.

– А ты будешь раскуривать сигары десятидолларовыми бумажками?

– Двадцатидолларовыми.

– Ты мне нравишься.

– Эх, мэм. Постыдились бы говорить такое. В краску меня вогнали.

Не так давно хозяин «Фок-мачты» вставил в окна, выходящие на улицу, рамы с частым переплетом, застекленные квадратиками толстого бутылочного стекла. Это должно было придать и придавало ресторану сходство со старинной харчевней, зато тем, кто смотрел с улицы, лица сидящих за столиками виделись чудовищно искаженными. На одном все заслоняла выпяченная челюсть, от другого оставался только один огромный глаз, но, впрочем, это, как и ящики с геранью и лобелиями на подоконниках, лишь способствовало впечатлению подлинной старины.

Марджи уже ждала нас, вся – воплощение гостеприимства. Она представила нам своего кавалера, некоего мистера Хартога из Нью-Йорка, у которого лицо было покрыто загаром, приобретенным под кварцевой лампой, а рот так тесно усажен зубами, что напоминал

кукурузный початок. Мистер Хартог казался хорошо упакованным и завернутым в целлофан и на любое замечание отвечал одобрительным смехом. Это была его форма участия в разговоре, на мой взгляд довольно удачная.

– Очень приятно познакомиться, – приветливо сказала Мэри.

Мистер Хартог засмеялся.

Я сказал:

– Вы, вероятно, знаете, что ваша дама – колдунья.

Мистер Хартог засмеялся. Мы все чувствовали себя непринужденно.

Марджи сказала:

– Для нас оставлен столик у окна. Вон тот.

– Я вижу, вы и цветы заказали, Марджи.

– Должна же я как-то отблагодарить вас, Мэри, за вашу постоянную любезность.

Они продолжали в этом роде, покуда мы рассаживались за столиком и потом, когда все уже заняли свои места по указанию Марджи. А мистер Хартог после каждой фразы смеялся. Как видно, выдающегося ума человек. Я решил, что все-таки вытяну из него хоть слово, но попозже.

Стол выглядел очень нарядно – ослепительно белая скатерть и серебро, которое не было серебром, но казалось более серебряным, чем серебро.

Марджи сказала:

– Вы мои гости, а значит, распоряжаюсь я, вот я и заказала без спроса для всех мартини.

Мистер Хартог засмеялся.

Мартини подали не в рюмках, а в бокалах с птичьей ванночку величиной, и в каждом плавал кусочек лимонной корки. Первый глоток обжигал, как укус вампира, и на миг притуплял все ощущения, но потом внутри разливалось приятное тепло и было уже по-настоящему вкусно.

– Сейчас повторим, – сказала Марджи. – Кормят здесь недурно, а после двух мартини покажется совсем хорошо.

Я сказал, что давно мечтаю открыть такой бар, где можно было бы начинать сразу со второго мартини. Верный способ нажать состояние.

Мистер Хартог засмеялся, и не успел я дожевать свою лимонную корку, как на столе появились еще четыре птичьи ванночки.

С первым глотком второго martini мистер Хартог обрел дар речи. У него оказался низкий, рокоchущий баритон, каким говорят актеры, певцы и коммивояжеры, занятые сбытом товара, который никто не хочет покупать. Такой баритон еще называют докторским.

– Я слышал от миссис Янг-Хант, что вы принадлежите к коммерческим кругам Нью-Бэйтауна, – сказал он. – Прелестный, кстати, городок. Такая патриархальная чистота нравов.

Я было вознамерился разъяснить ему, в каком качестве я подвизаюсь на ниве коммерции, но Марджи предупредила меня.

– Мистер Хоули – представитель растущих сил нашего края, – сказала она.

– Вот как? А чем вы занимаетесь, мистер Хоули?

– Всем, – сказала Марджи. – Решительно всем, но, как вы понимаете, не всегда открыто. – В глазах у нее играл хмельной огонек. Я посмотрел на Мэри – у нее еще только чуть затуманился взгляд, и я сделал вывод, что наши компаньоны успели пропустить рюмку-другую до нас, Марджи – во всяком случае.

– Мне остается только промолчать, – сказал я.

Мистер Хартог опять засмеялся.

– У вас очаровательная жена. Такая жена – это уже пятьдесят процентов победы в любой драке.

– Даже сто процентов.

– Итен, мистер Хартог подумает, что у нас с тобой бывают драки.

– А разве нет? – Я сразу отхлебнул полбокала, и теплая волна застлала мне глаза. Бутылочное стекло в одном из квадратиков оконного переплета вспыхнуло отражением свечи и медленно закружилось передо мной. Может, это было самовнушение, потому что я продолжал слышать собственный голос, звучащий как будто откуда-то извне:

– Миссис Янг-Хант – Колдунья с Востока. Ее martini не martini. Это отравленное питье. – Сверкающее стекло по-прежнему притягивало мой взгляд.

– А я-то всегда воображала себя Озмой. Ведь Колдунья с Востока была злая колдунья?

– Очень злая.

– Но под конец она, кажется, подобрела?

Мимо окна шел по улице человек. Кривое стекло искажало очертания его фигуры, но я видел, что голова у него немного наклонена влево и ноги он ставит, как-то странно выворачивая их внутрь. Так ходит Дэнни. Я мысленно вскочил и бросился за ним вдогонку. Добежал до угла Вязовой, но он уже исчез, может быть юркнув в боковую калитку соседнего дома. Я закричал: «Дэнни! Дэнни! Отдай мне деньги обратно. Отдай, Дэнни, прошу тебя. Не бери их. Они отравлены. Я их отравил!»

Я услышал смех. Знакомый смех мистера Хартога. Потом Марджи сказала:

– Нет уж, предпочитаю быть Озмой.

Я вытер салфеткой слезы, выступившие у меня на глазах, и сказал:

– Это можно пить, но промывать этим глаза ни к чему. Оно жжется.

– У тебя правда глаза красные, – сказала Мэри.

Но я не мог уже вернуться к ним, хотя слышал свой голос, рассказывавший анекдот, и слышал золотистый, лучезарный смех моей Мэри, так что, должно быть, я рассказывал смешно и даже остроумно, но вернуться к ним я все-таки не мог. И, кажется, Марджи понимала это. Она смотрела на меня с невысказанным вопросом в глазах, черт бы ее побрал. Она и в самом деле колдунья.

Что мы ели за обедом, я не знаю. Наверно, была рыба, потому что мне запомнилось белое вино. Стекло в окне вращалось, точно пропеллер. Потом был коньяк, так что, вероятно, мы пили кофе, – и потом обед пришел к концу.

Когда мы вышли на улицу и Мэри с мистером Хартогом ушли немного вперед, Марджи спросила меня:

– Где вы были?

– Не понимаю, о чем вы?

– Вас не было с нами. Вы только сидели за столом.

– Сгинь, нечистая сила!

– Ладно, приятель, – сказала она.

По дороге к дому я старался все время идти в тени деревьев. Мэри висела у меня на руке, шаг у нее был слегка неровный.

– Какой чудесный вечер, – сказала она. – Я никогда так чудесно не проводила время.

– Да, было очень мило.

– Марджи такая гостеприимная. Просто не знаю, чем и ответить на этот обед.

– Да, она очень любезна.

– А уж ты, Итен! Я всегда знала, что ты умеешь быть остроумным, но сегодня ты просто превзошел самого себя. Мы так смеялись! Мистер Хартог сказал, что у него все болит от смеха, после того как ты рассказал про мистера Рыжего Бейкера.

Я и про это рассказывал? Что именно? Надо же было. О Дэнни, отдай деньги обратно! Прошу тебя!

– С тобой никакого мюзик-холла не нужно, – сказала Мэри. В дверях нашего дома я так крепко прижал ее к себе, что она пискнула: – Ой, милый, ты пьян. Мне больно. Тише, не разбуди детей.

Я думал дождаться, когда она уснет, а потом выскользнуть из дома, пойти к нему в хибарку, разыскать его, натравить на него полицию, если понадобится. Но потом я понял, что это бесполезно. Дэнни уже нет здесь. Я знал, что Дэнни уже нет. И я лежал в темноте и вглядывался в желтые и красные пятна, расплывавшиеся перед моими мокрыми глазами. Я знал, что сделал, и Дэнни тоже это знал. Я вспоминал об убитых кроликах. Может быть, это только первый раз трудно. Но нужно пройти через это. В бизнесе и в политике человек должен силой и жестокостью прокладывать себе путь через гущу людскую, если он хочет, как в детской игре, стать Владыкой Горы. Потом он может быть милостивым и великодушным, но прежде надо добраться до вершины.

Глава X

Темплтонский аэродром расположен всего в сорока милях от Нью-Бэйтауна – от силы пять минут лёту для реактивной авиации. А ее становится все больше на регулярных линиях, то и дело гудят над головой тучи смертоносных комаров. Жаль, я не могу восхищаться реактивными самолетами, а тем более любить их, как мой сын Аллен. Будь у них другое назначение, может, я и мог бы, но они созданы, чтобы сеять смерть, а этим я сыт по горло. Аллен умеет находить их глазами, глядя не туда, откуда гул, а дальше, но мне это не удастся. Они преодолевают звуковой барьер с таким громом, что я всякий раз пугаюсь, не взорвался ли котел отопления. Пролетая ночью, они врываются в мои сны, и я просыпаюсь с сосущим, томительным чувством, словно у меня язва души.

На рассвете целая стая таких самолетов прошла в небе, и я очнулся, дрожа мелкой дрожью. Должно быть увидел во сне немецкие 88-миллиметровки, великолепное оружие, которого мы так боялись.

Весь взмокший от страха, я лежал в сером предутреннем сумраке и слушал, как затихает вдали мерное жужжание веретен зла. Мне кажется, нет теперь человека, у которого не гнезвился бы в теле этот страх – не в душе, а именно в теле, глубоко под кожей. Дело тут не в самолетах, дело в том, чему они призваны служить.

Когда какое-то положение, какая-то задача становится слишком трудной и неразрешимой, человеку дана спасительная возможность не думать о ней. Но тогда это уходит в подсознание и смешивается со многим другим, что там живет, и так рождается смутная тревога, и недовольство, и чувство вины, и потребность ухватить хоть что-то все равно что, – прежде чем все исчезнет. Может быть, мастера психоанализа имеют дело вовсе не с какими-то комплексами, а с теми боеголовками, что в один прекрасный день могут грибовидными облаками встать над землей. Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность, и беспокойство, и преувеличенное бесшабашное веселье, похожее на пьяный угар новогодней ночи. Забудьте дружбы долг святой, натешьтесь ближнего женой.

Я повернулся лицом к своей жене. Она спала без обычной улыбки. Углы ее губ были оттянуты книзу, и под дугами опущенных век лежали

усталые тени – верно, заболела, у нее всегда такой вид, когда она больна. Она редко болеет, можно позавидовать мужу такой жены, но уж если заболевает, тут ему не позавидуешь.

Опять взорвалась тишина – прилетела новая стая. Сотни веков понадобилось, чтобы человек привык к огню, а к этой силе, неизмеримо более сокрушительной, чем огонь, мы должны были привыкнуть за полтора десятка лет. Удастся ли нам когда-нибудь приручить эту силу? Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, может ли быть, что в душе происходит расщепление ядра? Это ли происходит со мной, со всеми нами?

Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то тетушкой Деборой. В середине прошлого столетия кое-кто из моих предков вступил в секту «Ученики Христа». Тетушка Дебора была тогда маленькой девочкой, но она хорошо помнила, как ее родители ждали конца мира, который был уже возвещен. Они раздали все, что имели, оставив себе только несколько простынь. В назначенный день они завернулись в эти простыни и ушли в горы, чтобы вместе со своими единомышленниками встретить там конец мира. Сотни людей, все в саванах из простынь, молились и пели. Когда стемнело, они запели еще громче, а некоторые пустились в пляс. Вдруг, когда до назначенного времени осталось лишь несколько минут, с неба скатилась звезда, и в толпе поднялся страшный крик. Нельзя забыть это, говорила тетушка Дебора. Люди выли как волки, как гиены, говорила она, хотя ей никогда не приходилось слышать вой гиен. И вот наступило великое мгновение. Закутанные в белое мужчины, женщины, дети, затаив дыхание, ждали. А мгновение длилось. У детей посинели лица – но мгновение миновало, и ничего не произошло. Люди почувствовали себя обманутыми, оттого что обещанная им гибель не состоялась. На рассвете они побрели вниз и попытались вернуть свое розданное добро – одежду и утварь, и волов своих, и ослов своих. Помню, я им очень сочувствовал, слушая рассказ тетушки Деборы.

Вероятно, эту историю мне напомнили реактивные самолеты, эти орудия смерти, накопленные ценой стольких усилий, времени, денег. Почувствуем ли мы себя обманутыми, если нам не придется использовать их по назначению? Мы запускаем ракеты в космос, но с тревогой, недовольством и злобой мы не можем справиться.

Мэри вдруг открыла глаза.

– Итен, – сказала она, – ты думаешь вслух. Я не знаю, о чем твои мысли, но я их слышу. Перестань думать, Итен.

Я было хотел посоветовать ей бросить пить, но уж очень жалкий у нее был вид. Бывает, что я шучу, когда шутки неуместны, но на этот раз я только спросил:

– Голова?

– Да.

– Желудок?

– Да.

– Вообще не по себе?

– Вообще не по себе.

– Я могу чем-нибудь помочь?

– Вырой мне могилу.

– Ты сегодня не вставай.

– Не могу. Нужно отправить детей в школу.

– Я сам все сделаю.

– Тебе надо идти на работу.

– Я все сделаю, не беспокойся.

Минуту спустя она сказала:

– Итен, я правда, кажется, не могу встать. Мне очень скверно.

– Дóктора?

– Не надо.

– Как же я тебя оставлю одну? Может, Эллен не ходить в школу?

– Что ты, у нее сегодня экзамен.

– Может, позвонить Марджи, чтобы она пришла?

– У Марджи телефон выключен. Что-то там такое меняют.

– Я могу по дороге зайти к ней.

– Она убить способна, если ее разбудить так рано.

– Ну, подсуну ей записку под дверь.

– Нет, нет, я не хочу.

– А что тут особенного?

– Я не хочу. Слышишь? Я не хочу!

– Но как же я тебя оставлю одну?

– Знаешь, смешно сказать, но мне уже лучше. Должно быть, оттого, что я покричала на тебя. Честное слово, лучше. – В

доказательство она поднялась и накинула халат. Вид у нее и в самом деле был немного лучше.

– Родная, ты просто чудо.

Я порезался во время бритья и сошел к завтраку с заплаткой из туалетной бумаги на подбородке. Когда я проходил мимо дома Филлипсов, Морфи с его неизменной зубочисткой не было на крыльце. Тем лучше. Мне не хотелось с ним встречаться. На всякий случай я ускорил шаг, чтобы он не нагнал меня по дороге.

Отпирая боковую дверь, я увидел подсунутый под нее желтоватый банковский конверт. Он был запечатан, а бумага, которая идет на банковские конверты, плотная, не разорвешь. Пришлось достать ножик из кармана.

Три листка из пятицентовой школьной тетрадки в линейку, исписанные простым мягким карандашом. Завещание: «Находясь в здравом уме и твердой памяти... Принимая во внимание изложенное, я...» Долговая расписка: «Обязуюсь уплатить в возмещение своего...» Обе бумаги подписаны, почерк твердый и четкий. «Дорогой Ит, вот то, чего ты хочешь».

Мне показалось, что кожа у меня на лице твердая, как панцирь краба. Я затворил боковую дверь медленным движением, каким затворяют двери склепа. Первые два листка бумаги я тщательно сложил и спрятал в бумажник, а третий – третий я смял в комок, бросил в унитаз и спустил воду. Унитаз у нас старинный, с уступом на дне. Бумажный комок долго вертелся на краю уступа, но в конце концов соскользнул и исчез в трубе.

Выйдя из уборной, я заметил, что наружная дверь чуть-чуть приоткрыта. Мне помнилось, войдя, я плотно затворил ее за собой. Я подошел поближе, но тут надо мной что-то зашуршало, и я поднял голову. Проклятый серый кот забрался на одну из верхних полок и пробовал зацепить лапой подвешенный к потолку окорок. Пришлось мне погоняться за ним с метлой, чтобы выставить его из лавки. Когда он наконец юркнул в дверь, я хотел наподдать ему вслед, но промахнулся и сломал метлу о дверной косяк.

Проповедь консервным банкам в этот день не состоялась. Я не мог подобрать текст. Но зато я принес шланг и тщательно вымыл не только тротуар перед входом, но даже часть канавы. Потом я навел

чистоту в лавке, добрался даже до самых дальних закоулков, где пыль и грязь копились месяцами. Я работал и пел:

Зима тревоги нашей позади,
К нам с солнцем Йорка лето возвратилось. [\[23\]](#)

Я знаю, что это не песня, но все-таки я ее пел.

Часть вторая

Глава XI

Нью-Бэйтаун – живописное местечко. Его обширная когда-то гавань защищена от резких северо-восточных ветров островом, который тянется параллельно суше. Сам городок раскинулся по берегам сети узких заливов, куда течение гонит из гавани морскую волну. Здесь не знают скученности и суеты большого города. За исключением особняков, некогда принадлежавших богатым китоловам, дома здесь невысокие, хотя и ладные, а вокруг них пышно разрослись вековые деревья, дубы разных пород, клены, вязы, орешник, изредка попадаются кипарисы, но если не считать вязов, посаженных в свое время вдоль первых городских улиц, преобладает все-таки дуб. Когда-то огромные дубы росли в этих краях так вольно и в таком изобилии, что у местных судостроителей всегда был под рукой отличный материал для планширов, килей, кильсонов и книц.

Людские сообщества, как и отдельные люди, знают периоды здоровья и периоды болезни – знают даже молодость и старость, время надежд и время уныния. Была пора, когда несколько таких городков, как Нью-Бэйтаун, доставляли китовый жир для освещения всему западному миру. Студенты Оксфорда и Кембриджа учились при свете ламп, заправленных горючим, полученным из далеких заокеанских поселений. Потом в Пенсильвании забили нефтяные фонтаны, дешевый керосин – жидкий уголь, как его называли, – вытеснил из обихода китовый жир, и большинству китоловов пришлось удалиться от дел. Нью-Бэйтаун захирел, пал духом – да так и не оправился до сих пор. Соседние города нашли себе новые дела и занятия, но Нью-Бэйтаун, не знавший других источников жизни, кроме китов и китобойного промысла, словно погрузился в оцепенение. Людской поток, змеившийся из Нью-Йорка, обходил Нью-Бэйтаун стороной, предоставляя ему жить воспоминаниями о прошлом. И как водится в таких случаях, обитатели Нью-Бэйтауна внушили себе, что они этим очень довольны. Летом город не наводняли приезжие, от которых только шум и разор, глаза не слепили неоновые вывески, не сыпались всюду туристские денежки, не вертелась пестрая туристская карусель. Лишь немного новых домов прибавлялось на живописных берегах заливов. Но людской поток змеился неумно, каждому было ясно, что

рано или поздно он захлестнет Нью-Бэйтаун. Местные жители и мечтали об этом и в то же время боялись этого. Соседние города богатели, без счета и меры наживались на туристах, чуть не лопались от своей добычи, их украшали роскошные резиденции новоявленных богачей. В Олд-Бэйтауне процветали художества, керамика и однополая любовь; плоскостопные исчадия Лесбоса плели кустарные коврики и мелкие домашние интриги. В Нью-Бэйтауне говорили о былых временах, о камбале и о том, когда пойдет кумжа.

В зарослях тростника гнездились утки, выводя там целые флотилии утят, рыли свои норы ондатры, ранним утром проворно шнырявшие в воду. Скопа неподвижно парила в воздухе, высматривая добычу, а высмотрев, камнем бросалась на нее; чайки взмывали вверх, держа в когтях раковину венерки или гребешка, и кидали ее с высоты, чтобы разбить створки и съесть содержимое. Иногда пушистой тенью ныряла в воду выдра; кролики браконьерствовали на ближних грядках, и серые белки мелкой зыбью пробегали по улицам городка. Фазаны хлопали крыльями, подавая свой хриплый голос. Голубые цапли замирали у отмелей, похожие на двуногие рапиры, а по ночам слышался тоскливый крик выпи, точно стон нераскаянной души.

Весна в Нью-Бэйтауне поздняя, и лето наступает тоже поздно, принося с собой совсем особенные звуки, запахи и веяния, диковатые и нежные. В начале июня, когда распахнется зеленый мир листьев, трав и цветов, сегодняшней закат не похож на вчерашний. По вечерам перепелки выкликают свое «пить-пора, пить-пора», а ночная темнота вся наполнена жалобами козодоя. Дубы разбухают от листвы и роняют в траву длинные кисточки соцветий. Городские собаки стаями совершают экскурсии в лес и по несколько дней пропадают там, одурев от восторга.

В июне мужчина, повинувшись инстинкту, косит траву, бросает семена в землю и ведет нескончаемую войну с кротоми и кроликами, с муравьями, жучками и птицами, со всеми, кто посягает на плоды его трудов. А женщина смотрит на кудрявые лепестки розы и вздыхает, оттаивая душой, и кожа у нее становится как лепесток, а глаза – как тычинки.

Июнь – веселый месяц, прохладный и теплый, влажный и звонкий, месяц, когда все идет в рост и все старое повторяется в новом, сладость и отравка, созидание и пагуба. По Главной улице

бродят, взявшись за руки, девушки в узких брючках, и крохотный радиоприемник, прижатый к плечу, напевает им на ухо любовные песни. В кафе-мороженом Тэнджера сидят на высоких табуретках юноши, полные сил, потягивая через соломинки залог будущих прыщей. Они смотрят на девушек козлиным взглядом и отпускают пренебрежительные шуточки на их счет, а у самих скулит нутро от любовного томления.

В июне почтенный делец завернет к «Элу и Сьюзен» или в «Фокмачту» выпить кружку холодного пива, заодно соблазнится стаканчиком виски, и там, глядишь, и напьется среди бела дня. И так же среди бела дня то одна, то другая запыленная машина воровато пробирается к неказистому дому с наглухо закрытыми ставнями, что стоит на отшибе в конце Мельничной улицы: там Элис, городская шлюха, разрешает послеполуденные сомнения ужаленных июнем мужчин. А за волнорезом весь день покачиваются стоящие на якоре лодки, и повеселевшие люди выпрашивают себе у моря пропитание.

Июнь – месяц ремонта и стройки, планов и замыслов. Редко кто не тащит к себе в дом цементные блоки и всякую строительную мелочь и не рисует на старых конвертах нечто, напоминающее Тадж-Махал. Десятки лодок лежат на берегу кверху килем, блестя свежей краской, а хозяева их, распрямив спину, любят свою работу. Правда, школа еще крепко держит в узде непокорных ребятишек, но бунт накапливается, и когда подходит время экзаменов, вспыхивает эпидемия простуды, свирепствующая вплоть до первого дня каникул.

В июне прорастает сладостное семя лета. «Куда мы поедим на Четвертое июля?.. Пора уж нам подумать, как мы проведем каникулы». Июнь – мать сокрытых возможностей и опасностей: храбро плывут утята, не видя под водой разинувшей пасть черепахи, салат зеленеет, подстерегаемый засухой, помидоры тянутся вверх, пока не добралась до них гусеница совки, отцы и матери семейств, размечтавшись о горячем песке и загаре, забывают бессонные ночи, звенящие музыкой комаров. «Уж в этом-то году я отдохну. Не измотаюсь, как в прошлом. Не дам ребятишкам устроить мне вместо отпуска двухнедельный ад на колесах. Я весь год тружусь. Эти две недели мои. Я весь год тружусь». Перед радужными перспективами отдыха бледнеют воспоминания, и кажется, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Нью-Бэйтаун долгое время пребывал в спячке. Те, что правили им – его политикой, моралью, экономикой, – правили так давно, что заведенный ими порядок успел окостенеть. Мэр, муниципалитет, судьи, полицейские – все были бессменны. Мэр продавал городу ненужное оборудование, судьи отменяли штрафы за нарушение уличного движения и за столько лет успели даже забыть, что это противоречит закону – его букве, во всяком случае. Будучи нормальными людьми, они не видели в своих действиях ничего безнравственного. Люди все нравственны. Безнравственны только их ближние.

Яркие дни веяли уже теплым дыханием лета. На улицах появились приезжие – из тех, у кого нет детей и кто может рано начать свой летний отдых, не дожидаясь школьных каникул. Они ехали на машинах с прицепами, погрузив туда лодки и навесные моторы. Они заходили в лавку, и Итен не глядя мог определить в них отпускников по их покупкам – антрекоты, плавленый сыр, крэкеры и сардины в банках.

Джой Морфи зашел выпить холодной кока-колы, он теперь делал это каждый день, с тех пор как установилась теплая погода.

– Вам бы надо завести сатуратор, – сказал он, махнув бутылкой в сторону холодильника.

– А заодно отрастить еще две пары рук или раздвоиться, как гороховый стручок. Вы забываете, кум Джой, что не я тут хозяин.

– И очень плохо, что не вы.

– Желаете выслушать печальную повесть об упадке королевского рода?

– Знаю я вашу повесть. Не умели отличить дебет от кредита в счетной книге. Пришлось в поте лица постигать премудрости двойной бухгалтерии. Но ведь постигли же в конце концов.

– Много мне от этого пользы.

– Будь лавка ваша, вы наживали бы большие деньги.

– Но она не моя.

– Если б вы открыли свою по соседству, все покупатели перешли бы к вам.

– Почему вы так думаете?

– Люди охотнее покупают у того, кого знают. Это называется репутация фирмы, и она всегда помогает делу.

– Как видно, не всегда. Меня и раньше знал весь город, что не помешало мне обанкротиться.

– Это совсем другой вопрос. Вы не умели обращаться с поставщиками.

– Может, я и сейчас не умею.

– Нет, умеете. Вы даже сами не заметили, как научились. Но беда в том, что вы и сейчас смотрите на жизнь глазами банкрота. Нельзя так, мистер Хоули. Нельзя так, Итен.

– Спасибо.

– Я вам желаю добра. Когда Марулло уезжает в Италию?

– Еще не знаю. Скажите мне, Джой, он очень богат? Впрочем, нет, не говорите. Вам не полагается рассказывать о делах клиентов.

– Для друга можно сделать исключение из правила. Я не все его дела знаю, но, судя по его банковскому счету, он безусловно человек богатый. А кроме того – во что только у него не вложены деньги! И недвижимость в разных местах, и свободные земельные участки, и дачи на взморье, и солидная пачка закладных, такая, что одной рукой не удержишь.

– Это-то вам откуда известно?

– Он у нас абонирует сейф – из тех, что побольше. Один ключ у него, а другой у меня. Каюсь, я нет-нет да и загляну одним глазком. Природное любопытство, что поделаешь.

– Но он не замешан в каких-нибудь темных делах? Ну там торговля наркотиками или вымогательство – знаете, о чем постоянно пишут в газетах.

– Не могу сказать наверняка. Он ведь нам не докладывает. Какие-то суммы берет, какие-то вносит время от времени. И потом, я же не знаю, где он еще держит деньги. Заметьте, я вам не называл никаких цифр.

– А я вас и не просил об этом.

– Хочется пива. У вас пива нет, Итен?

– Только в консервах – навынос. Но я могу открыть и дать вам бумажный стакан.

– Я не хочу, чтобы вы из-за меня нарушили закон.

– Ерунда. – Итен проткнул крышку консервной банки. – Если кто войдет, спрячьте за спину, вот и все.

– Спасибо. Я о вас часто думаю, Итен.

– Почему?

– Может быть, потому, что вообще люблю совать нос в чужие дела. Неудача действует на психику. Это как те ямки-ловушки, что выкапывает в песке муравьиный лев. Скользишь и скользишь вниз, и нужно большое усилие, чтобы выбраться. Но вы должны сделать это усилие, Ит. Раз выбравшись, вы почувствуете, что успех тоже действует на психику.

– И это тоже ловушка?

– Может быть, но приятная.

– А что если человек выберется из ямки, а другой в нее угодит?

– Без Божьей воли и малая пташка не упадет на землю.

– Никак не пойму, что вы мне, собственно говоря, советуете.

– Я и сам не пойму. Понимал бы, так, может, самому бы пригодилось. Банковские кассиры не выходят в президенты. А вот тот, у кого хоть грош капиталу, может выйти. В общем, вот мой совет: есть случай – не упускайте его. Другой может не подвернуться.

– Вы философ, Джой. Философ-финансист.

– А вы не смейтесь. Чего не имеешь, о том и думаешь. Одиночество располагает к раздумьям. Говорят, большинство людей на девяносто процентов живет в прошлом, на семь в настоящем, и, значит, для будущего остается только три процента. Умней всех об этом сказал старый Сэтчел Пейдж: «Не оглядывайтесь назад. Может быть, за вами погоня». Ну, мне пора. Мистер Бейкер завтра едет в Нью-Йорк на несколько дней. У него хлопот полон рот.

– Каких таких хлопот?

– Не могу знать. Но я разбираю почту. Последнее время он получает много писем из Олбани.

– Политика?

– Я только разбираю почту. Я ее не читаю. Что, у вас всегда так тихо?

– В это время дня всегда. Минут через десять затишье окончится.

– Ага, видите! Вот что значит опыт. Пари держу, до своего банкротства вы этого не знали. Ну, до скорого. Помните же: на Бога надейся, а сам не плошай.

От пяти до шести торговля, по обыкновению, шла бойко. Город жил уже по летнему времени, переведя стрелки на час вперед, и когда Итен, внося с улицы лотки с фруктами, запер дверь и опустил зеленые

шторы, солнце еще стояло высоко над горизонтом и было совсем светло. Он собрал по списку продукты для дома и уложил их в большую бумажную сумку. Потом снял фартук, надел плащ и шляпу и, взгромоздись на прилавок, оглядел свою паству, безмолвствовавшую на полках.

– Никаких проповедей! – сказал он. – Просто запомните слова Сэтчела Пейджа. Надо, видно, и мне взять себе за правило: не оглядываться назад.

Он достал из бумажника линованные странички и вложил их в пакетик из вощенной бумаги. Потом, открыв белую эмалированную дверцу холодильника, засунул скользкий пакетик в глубину, за компрессор, и снова захлопнул дверцу.

В ящике под кассой он разыскал пыльную, захватанную телефонную книгу Манхэттена, хранившуюся там на случай каких-нибудь срочных заказов поставщикам. Буква «С», Соединенные Штаты, департамент юстиции... Он вел пальцами вниз – вдоль длинного столбца названий, пока не дошел до Службы иммиграции и натурализации – БА 7-0300, веч. суб. вскр. праздн. ОЛ 6-5888.

Он сказал вслух:

– ОЛ 6-5888 – ОЛ 6-5888, звонить вечером просим. – И добавил, обращаясь к консервным банкам, но не глядя на них: – Если все честно и в открытую, никому вреда не будет.

Итен вышел из лавки через боковую дверь и запер ее за собой. Держа в руке сумку с продуктами, он направился через улицу к подъезду, над которым красовалась вывеска: «Отель и ресторан „Фокмачта“». В ресторане толпились любители коктейлей, но в маленьком вестибюле, где стояла телефонная будка, не было никого, даже портье. Он затворил за собой стеклянную дверь, поставил сумку на пол, высыпал на полочку всю свою мелочь, нашел десятицентовую монетку и, опустив ее в щель, набрал 0.

– Вас слушают.

– Коммутатор? Мне нужно поговорить с Нью-Йорком.

– Пожалуйста. Наберите номер.

И он набрал номер.

Итен пришел домой с полной сумкой продуктов. Хорошо, когда вечер такой длинный! Он шел, приминая подошвами пышно

разросшуюся траву газона. Войдя, он смачно поцеловал Мэри.

– Лапка, – сказал он, – газон в невозможном виде. Что, если послать Аллена подстричь его?

– Право, не знаю. Уж очень сейчас горячее время – конец года, экзамены.

– А что это за отвратительное карканье несется из гостиной?

– Аллен упражняется в чревовещании. Он будет выступать на заключительном вечере в школе.

– Да, придется мне, видно, самому подстригать газон.

– Не сердись, милый. Ты же знаешь детей.

– Начинаю узнавать понемножку.

– Ты не в духе? Был трудный день?

– Как тебе сказать. Пожалуй, нет. Но я с утра на ногах, и перспектива топтаться по газону с косилкой не приводит меня в восторг.

– Хорошо бы нам иметь мотокосилку. Вот как у Джонсонов – садишься и едешь.

– Хорошо бы нам иметь садовника или еще лучше двух. Как у моего деда. Садишься и едешь! Да, с такой косилкой Аллен, может, и согласился бы подстригать газон.

– Не придирайся к мальчику. Ему всего четырнадцать лет. Они все такие.

– Кто это придумал, что дети – радость родителей?

– Конечно же, ты не в духе.

– Как тебе сказать. Может быть. А это карканье меня приводит в бешенство.

– Аллен упражняется.

– Это я уже слышал.

– Пожалуйста, не вымещай на нем свое дурное настроение.

– Постараюсь. Хотя это, в общем, было бы невредно.

Итен толкнул дверь в гостиную, где Аллен выкрикивал какие-то искаженные до неузнаваемости слова, держа во рту маленькую трубочку вроде свистульки.

– Что это такое?

Аллен выплюнул трубочку на ладонь.

– Это чревовещание. Помнишь, ты мне принес коробку «Пикса»?

– А ты его уже съел?

– Нет. Я не люблю корнфлекс. Ну, папа, мне надо упражняться.
– Успеешь. – Итен сел в кресло. – Что ты думаешь о своем будущем?

– О чем?

– О будущем. Разве вам в школе не говорят о таких вещах? Что будущее в ваших руках?

Эллен успела проскользнуть в комнату и клубочком, по-кошачьи свернуться на диване. Она тотчас же отозвалась журчащим смешком, в котором было спрятано стальное лезвие.

– Он хочет попасть на телевидение, – сказала она.

– А что, один мальчишка, ему всего тринадцать лет, выиграл в телевикторину сто тридцать тысяч долларов.

– А потом оказалось, что это все было подстроено, – заметила Эллен.

– А все равно сто тридцать тысяч у него остались.

Итен спросил негромко:

– Моральная сторона дела тебя не беспокоит?

– Чего там, когда столько денег.

– Ты, значит, не считаешь это нечестным?

– Подумаешь, все так делают.

– А ты слыхал о тех, кто предлагает себя на серебряном блюде и не находит охотников? Это значит – ни чести, ни денег.

– Что ж, риск всегда есть. Когда режут пирог, хорошо тому, с чьей стороны он крошится.

– Ах вот как, – сказал Итен. – Чем философствовать, ты бы лучше последил за своими манерами. Как ты сидишь? Сядь прямо!

Мальчик вздрогнул, посмотрел на отца, как бы желая удостовериться, что он не шутит, потом выпрямился с обиженным видом.

– Как у тебя дела в школе?

– Нормально.

– Я не понимаю, что это значит. Хорошо или плохо?

– Ну, хорошо.

– А нельзя ли без «ну»?

– Хорошо.

– Ты собирался писать сочинение на тему о своей любви к Америке. Судя по твоей готовности погубить Америку, ты, видно,

передумал.

– Как это – погубить?

– Разве можно любить по-честному, поступая нечестно?

– Да ну, папа, все так делают.

– По-твоему, это меняет суть дела?

– Ничего тут такого нет. А сочинение я уже написал.

– Отлично, дашь мне прочесть.

– Я его уже отправил.

– Но копия у тебя, вероятно, осталась?

– Нет.

– А если оно пропадет?

– Я как-то не подумал. Папа, все мальчики летом едут в лагерь, я тоже хочу.

– Это нам не по карману. И далеко не все мальчики едут.

– Эх, были бы у нас деньги. – Он посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях, и облизнул губы.

У Эллен, не отводившей от него взгляда, сузились зрачки.

Итен внимательно наблюдал за сыном.

– Это можно устроить, – сказал он.

– Что, папа?

– Можешь летом поработать в лавке.

– Как так – поработать?

– То есть ты хочешь знать, что тебе придется делать? Носить товар, расставлять его на полках, подметать пол, а может быть, если я увижу, что ты справляешься, – и с покупателями заниматься.

– Но я хочу ехать в лагерь.

– Ты и сто тысяч выиграть хочешь.

– Может, я получу премию за сочинение. Хоть в Вашингтон тогда поеду. Все-таки разнообразие после целого года учебы.

– Аллен! Существуют неизменные правила поведения, чести, вежливости – вообще всякого проявления себя вовне. Пора научить тебя считаться с ними хотя бы на словах. Возьму тебя в лавку, и будешь работать.

Мальчик поднял голову.

– Не имеешь права.

– Что, что такое?

– Закон о детском труде. До шестнадцати лет даже специального разрешения нельзя получить. Что ж, ты хочешь, чтобы я нарушал закон?

– По-твоему, значит, все дети, которые помогают родителям, наполовину рабы, наполовину преступники? – Гнев Итена был неприкрытым и беспощадным, как любовь. Аллен отвел глаза.

– Я этого не хотел сказать, папа.

– Надеюсь, что не хотел. И другой раз не скажешь. Тебе должно быть стыдно перед двадцатью поколениями Хоули и Алленов. Они все были достойными людьми. Когда-нибудь, может, и ты таким будешь.

– Да, папа. Можно, я пойду к себе, папа?

– Ступай.

Аллен медленно побрел к лестнице.

Как только за ним закрылась дверь, Эллен задргала ногами в воздухе. Но тут же выпрямилась и чинно, благонаравно одернула юбку.

– Я читала речи Генри Клея^[24]. Вот умел говорить.

– Еще бы.

– Ты помнишь эти речи?

– Не так уж хорошо, пожалуй. Я ведь их читал давно.

– Мне понравилось.

– Я бы сказал, это все же чтение не для школьников.

– А мне очень понравилось.

Итен поднялся с кресла, преодолевая тяжесть долгого, утомительного дня.

В кухне он застал Мэри, сердитую и заплаканную.

– Я все слышала, – сказала она. – Ты просто сам не знаешь, что говоришь. Ведь он еще ребенок.

– Вот и хорошо, а то потом поздно будет, голубка моя.

– Пожалуйста, без голубок. Я не позволю тебе тиранить детей.

– Тиранить? О господи!

– Он еще ребенок. Что ты вдруг напал на него?

– Ничего, ему это на пользу.

– Не знаю, о какой пользе ты говоришь. Раздавил мальчика, как козявку.

– Ты не права, родная. Я просто хочу, чтобы он увидел жизнь, как она есть. А то у него складывается ложное представление о ней.

– А кто ты такой, чтобы судить о жизни?

Итен молча пошел к выходу.

– Куда ты?

– Подстригать газон.

– Но ведь ты же устал.

– Я уже отдохнул. – Он через плечо оглянулся на Мэри, стоявшую у двери в гостиную. – Трудно людям понять друг друга, – сказал он и на мгновение улыбнулся ей уже с порога.

Через минуту со двора донесся стрекот косилки, врезающейся в мягкую, густую траву.

Звук приблизился к двери и затих.

– Мэри, – позвал Итен, – Мэри, голубка, я люблю тебя. – И косилка снова застрекотала, энергично выравнивая разросшийся газон.

Глава XII

Марджи Янг-Хант была привлекательная женщина, начитанная, умная, настолько умная, что знала, когда и как маскировать свой ум. Ей не повезло с мужьями: один оказался слаб, второй еще слабее – умер. Романы давались ей не легко. Она их создавала сама, укрепляла шаткие позиции частыми телефонными звонками, письмами, поздравительными открытками, тщательно подстроенными случайными встречами. Она варила бульон больным и помнила все дни рождения. Этим она не давала людям забыть о себе.

Ни одна женщина в городе не заботилась так об отсутствии живота, о чистоте и гладкости кожи, белизне зубов, округлой линии подбородка. Львиную долю ее средств поглощал уход за ногтями и волосами, массаж, кремы и притирания. Женщины говорили: «Она гораздо старше, чем кажется».

Когда, несмотря на кремы, массаж и гимнастику, ее груди потеряли упругость, она заковала их в гибкую броню, и они торчали высоко и задорно, как прежде. Ее грим отнимал все больше времени и труда. Ее волосы обладали тем блеском, отливом и волнистой пышностью, которую обещает телевизионная реклама косметических фирм. Гуляя, обедая, танцуя с очередным кавалером, она была весела, остроумна, опутывала кавалера тонкой, но прочной сетью – и кто бы мог догадаться, как скучно ей в который уже раз пускать в ход испытанные приемы. После затраты некоторого времени и денег дело обычно кончалось постелью – если обстоятельства позволяли. А потом снова следовало закрепление позиций. Рано или поздно постель должна была послужить капканом, который, захлопнувшись, гарантировал бы ей покой и благополучие в будущем. Но намеченная добыча всякий раз ускользала из стеганой шелковой ловушки. Кавалеры все больше попадались женатые, хворые или чересчур осмотрительные. И никто лучше самой Марджи не знал, что время ее уже на исходе. Ей самой ее старинные карты не могли посулить ничего утешительного.

Марджи знала многих мужчин, и среди них были люди, угнетенные чувством вины, уязвленные в своем честолюбии или просто отчаявшиеся; оттого у нее постепенно выработалось чувство

презрения к объекту, как у профессиональных истребителей паразитов. Таких людей нетрудно было пронять, действуя на их трусость или честолюбие. Они сами напрашивались на обман, и потому с ними она не испытывала торжества, а лишь нечто вроде брезгливой жалости. Это были ее друзья, ее сообщники. Из сострадания она даже не позволяла им обнаружить, что они для нее друзья. Она давала им лучшее, что в ней было, потому что они не требовали от нее ничего. И она держала в тайне свои отношения с ними, в глубине души сама себя не одобряя. Так было у нее с Дэнни Тейлором, так было с Альфио Марулло, с начальником полиции Стонуоллом Джексоном Смитом и с некоторыми другими. Они доверяли ей, а она – им, и тайный факт их существования был тем уголком, где она могла иногда отогреться и отдохнуть от притворства. Эти друзья разговаривали с ней откровенно и без страха, для них она была чем-то вроде андерсеновского колодца – слушателем внимательным, неосуждающим и безмолвным. У большинства людей есть скрытые пороки, у Марджи Янг-Хант была тщательно скрываемая добродетель. Может быть, именно в силу этого обстоятельства ей было известно больше, чем кому-либо о делах Нью-Бэйтауна и даже Уэссекского округа, и то, что она знала, так при ней и оставалось – должно было оставаться, ибо никакой выгоды для себя она из этого извлечь не могла. В других случаях у Марджи ничего даром не пропадало.

Замысел относительно Итена Аллена Хоули возник у нее случайно, от нечего делать. Отчасти Итен был прав, подозревая ее в коварном желании испытать на нем свою женскую силу. Из тех унылых мужчин, что искали у нее поддержки и утешения, многие были стреножены чувством неполноценности, не могли освободиться от сексуальных травм, омрачавших и прочие стороны их жизни. С ними ей было легко: немножко лести, вовремя сказанное ободряющее слово – и они уже готовы были к новому бунту против супружеского ярма. Дружба с Мэри Хоули – кстати, вполне чистосердечная – постепенно привлекла ее внимание к Итену, человеку, страдавшему от травмы иного рода, жертве социально-экономической неудачи, подорвавшей его силы и уверенность в себе. В ее пустой жизни, без дела, без любви, без детей, явился вдруг интерес: вылечить душевное увечье этого человека, поставить перед ним новую цель. Это была игра, нечто вроде головоломки, задача, которую ей захотелось решить

не столько из добрых чувств, сколько из любопытства и от скуки. Итен был головой выше всех ее мужчин. Взяв его под свое начало, она возвысилась бы в собственных глазах, а это ей было очень и очень нужно.

Вероятно, только она одна видела всю глубину совершившейся в Итене перемены, и ей было страшно, потому что виновницей этой перемены она считала себя. У мыши отрастала львиная грива. Марджи видела, как твердеют мускулы под тканью рукавов, как в глазах откладывается беспощадность. Так, должно быть, чувствовал себя кроткий Эйнштейн, когда выношенная им мысль о природе материи огненной шапкой накрыла Хиросиму.

При всем своем расположении к Мэри Хоули Марджи не испытывала к ней ни сочувствия, ни жалости. Женщины легко мирятся с невзгодами, особенно если они выпадают на долю других женщин.

Крохотный чистенький домик близ Старой гавани белел в оправе большого запущенного сада. Там Марджи Янг-Хант, склонившись к туалетному зеркалу, проверяла свое оружие и сквозь крем, пудру, цветные тени на веках и тушь ресниц видела замаскированные морщинки, одряблевшую кожу. Годы подступали, как волны прилива, даже в тихую погоду захлестывающие прибрежные скалы. У зрелости есть свой арсенал, свои средства обороны, но их применение требует особых знаний и навыков, которыми она еще не успела овладеть. Надо поторопиться с этим, пока не обрушилась декорация жизнерадостной молодости, выставив ее всем напоказ, голую, жалкую и смешную. Секрет ее успеха был в том, что она никогда не позволяла себе распускаться, даже наедине с собой. Сейчас, сидя перед зеркалом, она в виде опыта дала на миг обвиснуть углам рта, приспустила веки. Слегка пригнула голову, и под обычно вздернутым подбородком обозначилась мятая складочка, похожая на след от веревки. Сразу изображение в зеркале постарело на двадцать лет, и она содрогнулась от ледящего предчувствия. Слишком долго она оттягивала срок. Женщине требуется специально оформленная витрина, где бы она могла стариться, свет, бутафория, черный бархат, на фоне которого можно спокойно сесть и толстеть, хихикать и жадничать, ей нужны дети, любовь, забота, солидный, нетребовательный муж или еще более нетребовательная и солидная вдовья часть в банке. Женщина, старящаяся в одиночестве, – никому не нужная ветошь, жалкая

развалина, если нет хотя бы дряхлых домочадцев, которые бы клохтали и охали над ней, растирая больные места.

К горлу вдруг подкатил горячий комок страха. С первым мужем ей посчастливилось в одном. Он был слаб, и она научилась играть на его слабости. Его безответное обожание было так велико, что, когда она захотела с ним развестись, он не оговорил себе права прекратить выплату алиментов в случае ее вторичного замужества.

Второй муж думал, что у нее есть свой капитал, да так оно, в сущности, и было. Умирая, он не оставил ей почти ничего, но благодаря алиментам от первого мужа она жила без нужды, хорошо одевалась и делала, что хотела. Но что, если первый муж умрет! Вот откуда был этот комок страха. Вот откуда брался кошмар, преследовавший ее днем и ночью: ведь каждый месячный чек мог оказаться последним.

В январе она повстречала его на просторном перекрестке Мэдисон-авеню и Пятьдесят седьмой улицы. Он постарел и похудел. Мысль о бренности его существования не давала ей покоя. Если старый хрыч умрет, перестанут поступать деньги. Пожалуй, она была единственным человеком на свете, который от всей души молился о его здравии.

И вот сейчас это изможденное, немое лицо с потухшими глазами всплыло на экране ее памяти и подтолкнуло горячий комок к горлу. Если эта скотина умрет...

Марджи на мгновение замерла у зеркала и, собрав всю волю, метнула ее, как дротик. Подбородок вздернулся, складки как не бывало, глаза заблестели, кожа плотно прилегла к черепу, плечи распрямились. Она вскочила и стремительным вальсом прошлась по ворсистому красному ковру. На босых ногах ногти алели лаком. Спешить, спешить, торопиться, пока не поздно.

Она распахнула дверцы стенного шкафа, схватила платье из мягкой, соблазнительной ткани, припасенное для праздника Четвертого июля, туфли на каблуках-гвоздиках, незаметные глазу чулки-паутинки. От вялости не осталось и следа. Она одевалась с деловитой быстротой мясника, оттачивающего нож перед началом работы, для проверки порой оглядывая себя в зеркало, как мясник пробует пальцем остроту лезвия. Поскорей, но не наспех, поскорей ведь мужчины не любят ждать, – а потом перейти на размеренную

небрежность элегантной, шикарной, уверенной в себе светской дамы со стройными ножками, в безукоризненных белых перчатках. Ни один мужчина не проходил мимо, не оглянувшись на нее. Шофер фирмы «Миллер и братья» даже присвистнул, проезжая на трехтонке, груженной досками, а два юнца-старшеклассника сощурили узкие, как у Родольфо Валентино, глаза и, разинув рот, судорожно глотнули слюну.

– Ничего, а? – спросил один.

А другой только выдохнул:

– Йэхх!

– Хотел бы ты...

– Йэхх!

Даме просто так по улице расхаживать не положено – в Нью-Бэйтауне по крайней мере. Дама должна куда-то направляться, иметь перед собой цель, пусть хоть самую пустяковую. Отмечая пунктиром шагов тротуар Главной улицы и раскланиваясь со знакомыми, Марджи почти машинально давала каждому оценку в уме.

Мистер Холл – живет в кредит, и уже не первый год.

Стони – крепкий мужчина, без оговорок, но какая женщина может прожить на оклад или пенсию полицейского? К тому же он из числа друзей.

Гарольд Бек – у этого собственный дом и даже еще кое-какая недвижимость, но он тронутый, это все знают, кроме разве его самого.

Макдоуэлл – «Давно вас не видела, сэр. Как Милли?» Нет, невозможно – шотландец, скуп, ни на шаг от больной жены, а она из тех больных, что живут вечно. Притом скрытен. Его финансовые дела – тайна для всех.

Дональд Рэндолф со своим томным взором – незаменимый партнер для коктейля, джентльмен до мозга костей, даже в пьяном виде, но в мужья не годится, разве если мечтаешь о семейном уюте за стойкой бара.

Гарольд Люс – говорят, он в родстве с издателем журнала «Тайм», но ведь кто это говорит? Он сам. Угрюмый человек с репутацией умницы, основанной на его неумении связать два слова.

Эд Уонтонер – враль, плут и на руку нечист. По слухам, ухитрился сколотить капиталец, и жена у него одной ногой в могиле, но Эд

никому не доверяет. Даже пса своего держит на цепи – из недоверия, чтобы не убежал.

Пол Стрэйт – главарь местных республиканцев. Жену его зовут Баттерфляй, и это не прозвище. Баттерфляй, так она и наречена при крещении. Пол тогда в силе, когда в штате Нью-Йорк губернатор – республиканец. Он владеет городской свалки и берет за вывозку мусора по двадцать пять центов с бака. Говорят, когда на свалке развелось столько крыс, что это грозило бедствием городу, Пол выдавал желающим платные разрешения на отстрел, а также предоставлял напрокат карманные фонари и винтовки с патронами. Он до того похож на нынешнего президента, что многие называли его Айком. Но Дэнни Тейлор как-то под пьяную руку окрестил его Непрекрасным Полом, так оно и пошло. Теперь за глаза его и не зовут иначе.

Марулло – что-то он совсем плох последнее время. В лице ни кровинки. А глаза – как у человека, получившего крупнокалиберную пулю в живот. Прошел мимо собственной лавки и не оглянулся. Марджи круто свернула и вошла в лавку, пружиня подбористым задом.

Итен разговаривал с каким-то моложавым брюнетом в модных брюках и шляпе с узкими полями. Лет под сорок, подтянутый, крепкий, деловито сосредоточенный. Он стоял, далеко перегнувшись через прилавок, словно хотел посмотреть, нет ли у Итена налетов в горле.

Марджи сказала:

– Привет! Я вижу, вы заняты. Зайду попозже.

Если женщине некуда девать время, проще всего зайти в банк: там всегда найдутся дела, пустые, но вполне оправданные. Марджи перешла на другую сторону и вступила под своды из мрамора и нержавеющей стали.

Джой Морфи, увидя ее, засиял во всю решетку кассового окошка. Сплошная улыбка, сплошное добродушие, сколько угодно развлечений и никаких матримониальных перспектив. Марджи правильно считала его прирожденным холостяком, который умрет, но своей природе не изменит. Двуспальная могила не для Джоя.

– Скажите, сэр, есть у вас парные, свежие деньги?

– Прошу прощения, мэм, сейчас взглянем. Вроде бы где-то были. Сколько прикажете отпустить?

– Шесть унций, если можно. – Она достала чековую книжку из белой лайковой сумочки и выписала чек на двадцать долларов.

Джой рассмеялся. Марджи ему нравилась. Время от времени, не слишком часто, он приглашал ее пообедать, а потом спал с ней. Но он ценил в ней и собеседницу, понимающую шутку.

Он сказал:

– Миссис Янг-Хант, вы мне напомнили одного знакомого, который в Мексике был сподвижником Панчо Вильи^[25]. Знаете такого?

– Понятия не имею.

– Ну, неважно. Он мне рассказывал такой анекдот. Когда Панчо попал на север, он завел станок и печатал сам деньги, бумажки по двадцать песо. Напечатал такую тьму, что его люди их считать перестали. Тем более что в счете были не слишком сильны. Брали их на вес.

Марджи сказала:

– Джой, вы никак не можете без личных воспоминаний.

– Что вы, миссис Янг-Хант, побойтесь Бога. Я тогда еще под стол пешком ходил. Это просто анекдот. Так вот является раз к нему аппетитная такая дамочка, хоть из краснокожих, но аппетитная, является и говорит: «Мой генерал, вы казнили моего мужа и оставили меня вдовой с пятью детьми, разве ж так делают народную революцию?» Панчо ей подвел баланс, вот как я сейчас.

– У вас нет закладных, Джой.

– Знаю. Но ведь это анекдот. Панчо, значит, говорит адъютанту: «Отвесить ей пять кило денег!» Вышла целая кипа бумаги. Перевязали ей эту кипу проволокой, и дамочка потащила ее домой. Вдруг подходит к Панчо лейтенант, руку под козырек и докладывает: «Мой генерал („ми грал“ по-ихнему), а ведь мы ее мужа не расстреляли. Он был пьян. Мы его пока посадили в каталажку». А Панчо все глядел дамочке вслед. Услышал он это и говорит: «Сейчас же ставьте его к стенке. Нельзя обманывать бедную вдову».

– Джой, вы невозможный человек.

– А между прочим, анекдот основан на истинном происшествии. Я в это верю. – Он повертел в руках ее чек. – Вам какими купюрами – по двадцать, по пятьдесят, по сто?

– Четвертаками, если можно.

Им было весело друг с другом.

Из-за двери с матовым стеклом выглянул мистер Бейкер.

Тут тоже таилась возможность. В свое время мистер Бейкер делал ей авансы в виде невинных по форме, но многозначительных по содержанию любезностей. А мистер Бейкер – это мистер Доллар. Он, правда, был женат, но Марджи хорошо знала Бейкеров этого грешного мира. Если им чего-нибудь хочется, за моральным оправданием дело не станет. Очень хорошо, что она его тогда отшила. Таким образом, он еще не скинут со счетов.

Она спрятала в сумочку четыре пятидолларовые бумажки, полученные от Джоя, и уже двинулась было навстречу седовласому банкиру, но в это время давешний собеседник Итена вошел в банк, не спеша прошел мимо нее, предъявил карточку и был приглашен в кабинет министра Бейкера. Дверь за ним затворилась.

– Ну, прощайте, – сказала Марджи.

– Грустно слышать такие слова, тем более из самых прелестных уст в Уэссексе, – ответил Джой. – А может быть, встретимся сегодня вечером? Пообедаем, потанцуем и так далее?

– Сегодня я занята, – возразила она. – Что это за тип?

– Первый раз его вижу. Похож на банковского ревизора. Когда я смотрю на такую физиономию, я всегда думаю: хорошо, что я честный человек, и еще лучше – что я усвоил четыре правила арифметики.

– Знаете, Джой, от такого мужа, как вы, даже ангел сбежал бы.

– На том стоим, сударыня.

– Ну, пока.

Она вышла, вернулась к лавке Марулло и заглянула в дверь.

– Привет, Итен.

– Здравствуйте, Марджи.

– Кто был этот прекрасный незнакомец?

– А где же ваш магический кристалл?

– Тайный агент?

– Хуже. Интересно, почему все так боятся полиции? Даже если за тобой никакой вины нет, все равно, увидишь полицейского, и сразу тебе делается неуютно.

– А что, разве этот кучерявый херувимчик шпик?

– Не совсем, но около того. Из Федерального бюро, говорит.

– Что вы натворили, Итен?

– Натворил? Я? Почему «натворил»?

– А что ему нужно?

– Я знаю только, о чем он меня спрашивал, а что ему нужно, я не знаю.

– А о чем он спрашивал?

– Давно ли я знаю Марулло. Кто здесь еще его знает. С какого времени он живет в Нью-Бэйтауне.

– Что же вы отвечали?

– Когда я уходил на фронт, его здесь не было. Когда я вернулся, я его встретил здесь. Когда я обанкротился, он стал хозяином лавки и взял меня к себе на службу.

– Как вы думаете, что бы это значило?

– Бог его знает.

Марджи старалась не смотреть ему в глаза. Она думала: прикидывается простачком. Любопытно, зачем, в самом деле, приходил этот тип.

Он вдруг сказал так просто, что она даже испугалась:

– Вы мне не верите, Марджи. Странное дело, когда говоришь правду, тебе никто не верит.

– Правда бывает разная, Ит. Если у вас курица на обед, все едят курятину, но одним достается белое мясо, а другим темное.

– Пожалуй, верно. Честно говоря, Марджи, меня это встревожило. Я дорожу своим местом. Если что-нибудь стряется с Альфио, я лишусь работы.

– У вас ведь скоро будет много денег, забыли?

– Как-то трудно держать это в уме, пока их нет.

– Итен, я вам хочу кое-что напомнить. Дело было весной, перед самой Пасхой. Я заходила в лавку, и вы меня называли дочерью иерусалимской.

– Да, это было в Страстную пятницу.

– Значит, не забыли. Так вот я теперь знаю. Это от Матфея. Красиво – и жутковато.

– Да.

– А с чего это вы вдруг?

– Тетушка Дебора виновата. Она меня регулярно раз в год распинала. Так оно и продолжается до сих пор.

– Вы шутите. А тогда вы не шутили.

– Не шутил. И сейчас не шучу.

Она оказала весело:

– А знаете, мои предсказания, кажется, начинают сбываться.

– Да, кажется.

– Выходит, вы передо мной в долгу.

– Согласен.

– Когда же думаете расплачиваться?

– Не угодно ли пройти со мной в кладовую?

– Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло.

– Вот как?

– Да, Итен, и вы сами этого не думаете. Вы ни разу в жизни не сходили с прямой дорожки.

– Можно попробовать.

– Вы блудить не умеете, даже если бы захотели.

– Можно научиться.

– Научить вас могла бы или любовь, или ненависть. И в том и в другом случае это долго и сложно.

– Может быть, вы и правы. Но откуда вы знаете?

– Так, просто знаю – и все.

Он отворил дверцу холодильника, достал две бутылки кока-колы, открыл и протянул Марджи мгновенно запотевшую бутылку, а сам стал открывать вторую для себя.

– Что же вам от меня нужно?

– У меня еще не было таких мужчин, как вы. Может быть, я хочу испытать, как это, когда тебя так любят или так ненавидят.

– Вы же колдунья. Свистните – и поднимется буря.

– Свистеть я не умею. С другими мужчинами мне довольно поднять брови, чтобы вызвать бурю – маленькую, в стакане воды. А вот как вас зажечь, не знаю.

– Может быть, вы уже зажгли.

Он бесцеремонно разглядывал ее со всех сторон.

– Постройка на совесть, – сказал он. – Гладко, мягко, крепко и приятно.

– Откуда вам это известно? Вы меня никогда руками не трогали.

– А если трону – спасайтесь, пока целы.

– Любовь моя!

– Ладно, бросьте. Что-то тут не то. Я достаточно тщеславен, чтобы знать цену своим чарам. Что вам нужно? Вы славная женщина,

но вы себе на уме. Что вам нужно?

– Я предсказала вам удачу, и мое предсказание сбывается.

– И вы желаете получить свою долю?

– Хотя бы.

– Вот это уже похоже на правду. – Он возвел глаза к потолку. – Мэри, владычица души моей, – сказал он. – Взгляни на меня, твоего мужа, твоего возлюбленного, верного твоего друга. Сохрани меня от зла, что во мне самом, и от напасти извне. Я взываю к твоей помощи, Мэри, ибо сильны и непостижимы алкания мужчины и ему от века предначертано всюду сеять свое семя. Ora pro me^[26].

– Ох, и плут же вы, Итен.

– Допустим. Но бывают смиренные плуты.

– Я вас стала бояться. Раньше этого не было.

– А почему, собственно?

У нее вдруг появилось в глазах то, гадальное выражение, и он это заметил.

– Марулло.

– Что Марулло?

– Я вас спрашиваю.

– Одну минуточку. Пяток яиц и пачку масла, так? А кофе не нужно?

– Пожалуй, дайте банку. Пусть будет в запасе. А что, хорошие эти мясные консервы – «Ам-ам»?

– Не пробовал. Но многие хвалят. Одну минуточку, мистер Бейкер. Кажется, миссис Бейкер брала эти консервы, как они?

– Не знаю, Итен. Я ем то, что мне подают. Миссис Янг-Хант, вы хорошеете с каждым днем.

– Благодарю за комплимент.

– Это не комплимент, это чистая правда. И потом вы всегда так элегантны.

– Я как раз то же самое подумала о вас. Вы не какой-нибудь там красавчик, но портной у вас первоклассный.

– Вероятно, судя по его ценам.

– Кто это сказал: «Манеры создают человека»? Теперь надо говорить иначе: «Портной создает человека, и по любому образцу и подобию».

– У хорошо сшитых костюмов есть один недостаток: их невозможно носить. Этот я ношу уже десять лет.

– Да не может быть, мистер Бейкер! А как здоровье миссис Бейкер?

– Достаточно хорошо, чтобы она могла жаловаться. Отчего вы никогда не навестите ее, миссис Янг-Хант? Она скучав без общества. В нашем поколении мало людей, способные вести культурный разговор. А насчет манер – это слова Уикхэма^[27]. Они служат девизом Винчестерского колледжа.

Она повернулась к Итену.

– Найдите мне в Америке еще одного банкира, который бы знал такие вещи.

Мистер Бейкер покраснел.

– Жена выписывает «Великие творения». Она большая любительница книг. Так вы ее непременно навестите.

– С удовольствием. Сложите, пожалуйста, мои покупки в сумку, мистер Хоули. Я за ними зайду на обратном пути.

– Хорошо, мэм.

– В высшей степени привлекательная женщина, – сказал мистер Бейкер.

– Она с моей Мэри приятельницы.

– Итен, был у вас этот приезжий чиновник?

– Да.

– Что ему нужно?

– Не знаю. Задавал мне вопросы относительно Марулло. Я не знал, как на них отвечать.

Мистер Бейкер наконец отпустил от себя видение Марджи – так актиния выпускает из щупалец скорлупу высосанного ею краба.

– Итен, вы не видели Дэнни Тейлора?

– Нет, не видел.

– И не знаете, где он?

– Нет, не знаю.

– Мне необходимо найти его. Вы не догадываетесь, где он может быть?

– Я его последний раз видел... позвольте, когда это... еще в мае. Он собирался ехать лечиться.

– А куда, не знаете?

– Он не говорил куда. Сказал только, что хочет еще раз попробовать.

– В каком-нибудь государственном заведении?

– Нет, не думаю, сэр. Он занял у меня деньги.

– Что-о?

– Я ему дал займы немного денег.

– Сколько?

– Я не понимаю вас, сэр...

– Да, простите, Итен. Вы ведь с ним старые друзья. Простите. А кроме тех, что вы ему дали, у него еще были деньги?

– По-видимому, да.

– Сколько, вы не знаете?

– Нет, сэр. Но у меня создалось впечатление, что у него деньги есть.

– Если вы случайно узнаете, где он, пожалуйста, скажите мне.

– Да я бы с удовольствием, мистер Бейкер. Может быть, узнать телефоны всех таких лечебниц и навести справки?

– Он у вас взял наличными?

– Да.

– Тогда всякие справки бесполезны. Он наверняка изменил имя.

– Почему?

– Люди из хороших семейств всегда так поступают. Итен, а те деньги вы забрали у Мэри?

– Да.

– Она не сердится?

– Она не знает.

– А вы, я вижу, поумнели.

– Учусь у вас, сэр.

– Учитесь, учитесь.

– Я таким образом много выясняю для себя. Главным образом – как мало я знаю.

– Что ж, и это полезно. Мэри здорова?

– Она у меня всегда молодцом. Как бы мне хотелось прокатиться с ней куда-нибудь. Мы ведь уже много лет за городом не были.

– У вас еще все впереди, Итен. А я вот думаю на Четвертое июля уехать в Мэн. Праздничный шум уже не по мне.

– Вам, банкирам, в этом смысле вольготно. Ведь вы, кажется, недавно ездили в Олбани?

– Откуда вы взяли?

– Сам не знаю – слышал от кого-то. Может быть, миссис Бейкер говорила Мэри.

– Не могла она сказать. Она не знает. Постарайтесь вспомнить, от кого вы слышали.

– А может, мне просто показалось.

– Итен, меня это очень беспокоит. Напрягите свою память и постарайтесь вспомнить.

– Право, не могу, сэр. Да не все ли равно, раз это неправда?

– Я вам скажу по секрету, почему я так встревожился. Дело в том, что это правда. Губернатор вызывал меня. Вопрос очень серьезный. Не представляю себе, как это стало известно.

– Никто вас там не видел?

– Как будто нет. Я летел туда и обратно. Очень серьезный вопрос. Я вам сейчас кое-что расскажу. Если и об этом станет известно, я хоть буду знать, от кого.

– Тогда лучше не говорите.

– Нет уж, раз вы знаете насчет Олбани, я вам должен сказать. Власти штата заинтересовались делами нашего округа, и в частности нашего города.

– А почему?

– Думаю, в Олбани кое-что учуяли.

– Политика?

– То, что делает губернатор, всегда политика.

– Мистер Бейкер, а почему об этом нельзя говорить открыто?

– А вот почему. Где-то что-то просочилось, и, когда началась ревизия, ревизоры уже почти ничего не могли обнаружить.

– Понятно. Очень жаль, что вы мне сказали. Я не из болтливых, но все-таки предпочел бы ничего не знать.

– Если на то пошло, я и сам бы предпочел не знать, Итен.

– Выборы назначены на седьмое июля. Вы думаете, все может раскрыться раньше?

– Не знаю. Будет зависеть от Олбани.

– А не может быть, что и Марулло тут замешан? Я боюсь потерять работу. Да нет, едва ли. Тот чиновник был из Нью-Йорка. Из

министерства юстиции. А вы не проверяли его полномочий?

– Признаться, не подумал. Он мне показывал какую-то бумажку, но я не стал смотреть.

– Напрасно. Всегда нужно проверять.

– А ничего, что вы теперь хотите уехать?

– Ну, это пустяки. В такой день, как Четвертое июля, ничего случиться не может. Недаром японцы выбрали праздничный день для нападения на Перл-Харбор. Они знали, что в городе никого не будет.

– Как бы мне хотелось поехать куда-нибудь с Мэри.

– Придет время – поедете. А сейчас я вас очень прошу, пошевелите мозгами и найдите мне Тейлора.

– А зачем? Разве это так важно?

– Очень важно. Я вам пока не могу сказать почему.

– В таком случае мне очень жаль, что я не знаю, где он.

– Может быть, если вы его разыщете, вам не нужно будет цепляться за эту вашу работу.

– Ну, раз так, уж я приложу все старания, сэр.

– Вот и хорошо, Итен. Я на вас надеюсь. И как только он найдется, сейчас же дайте мне знать – будь то днем или ночью.

Глава XIII

Удивляюсь я людям, которые говорят, что им некогда думать. Я, например, могу думать сколько угодно. Взвешиваешь товар, здороваешься с покупателями, споришь или спишь с Мэри, стараешься обуздать детей – это совершенно не мешает в то же время думать, рассуждать, соображать. И, наверно, у всех так. Если человеку некогда думать, значит, он не хочет думать, вот и все.

Вступив в чуждый для меня, неизведанный мир, я просто не мог не думать. Вопросы накопились беспрестанно, настойчиво и требовательно. Новичок в этом мире, я становился в тупик даже перед тем, что для старожилов было решено раз навсегда еще в детском возрасте.

Я воображал, что могу завертеть колесо и контролировать каждый его оборот – могу даже остановить его, когда заблагорассудится. Но все больше росла во мне пугающая уверенность, что оно может стать обособленным, почти живым существом со своими целями и планами и вполне независимым от того, кто дал ему первый толчок. Смущало меня еще и другое. Я ли, в самом деле, завертел колесо, или это оно вовлекло меня в свое движение? Пусть я сам сделал первый шаг, но по своей ли воле я шагаю дальше? Казалось, на длинной дороге, куда я вышел теперь, нет ни перекрестков, ни развилок, путь только один – вперед.

Рассуждать можно было раньше, при выборе пути. Что есть нравственность, честность? Пустые слова или за словами что-то стоит? Честно ли было воспользоваться слабостью моего отца – природным его великодушием, его наивной иллюзией, будто все другие так же великодушны? Нет, просто в интересах бизнеса выгодно было вырыть ему яму. Ведь он сам в нее свалился. Никто его не толкал. А раздеть его донага, когда он уже лежал на дне, – это что, безнравственно? По-видимому, нет.

И вот сейчас на Нью-Бэйтаун накинута петля, и те, кто затягивает ее медленно и осторожно, – честные люди. Если им удастся затянуть петлю до конца, их назовут не жуликами, а умными дельцами. И если возникнет новое обстоятельство, которое они не предусмотрели, будет ли это безнравственным или нечестным? Зависит, я думаю, от

результатов. Для большинства людей кто преуспел, тот всегда и прав. Я помню, когда Гитлер без помех и препятствий победно шествовал по Европе, немало честных людей искали и находили в нем всяческие достоинства. А у Муссолини поезда стали ходить по расписанию, а коллаборационизм Виши служил на благо Франции. Сила и успех выше критики и выше морали. Выходит, важно не то, что делаешь, а то, как делаешь, как это называешь. Есть ли в человеке такие внутренние силы, которые могут чем-то помешать, что-то осудить? Непохоже. Судят только за неудачу. Преступление, в сущности, лишь тогда становится преступлением, когда преступник попался. В этом нью-бэйтаунском деле кто-то пострадает, кто-то даже погибнет, но дело все равно будет сделано.

Не могу сказать, что мне пришлось выдержать борьбу со своей совестью. С той минуты, как я осознал положение вещей и принял его, мне был ясен путь и хорошо видны все опасности. Самым удивительным тут было то, что все как бы складывалось само собой, одно вырастало из другого и сразу приходилось к месту. А я только наблюдал за ходом событий и легким прикосновением направлял его.

Задумав то, что я задумал и частью уже осуществил, я вполне понимал, что все это чуждо мне, но необходимо, как необходимо стремя, чтобы вскочить на высокого коня. А когда я буду в седле, стремя мне больше не понадобится. Может быть, мне не остановить вертящегося колеса, но другого я не заверчу. Я не хочу и мне незачем оставаться в этом сумрачном и полном опасностей мире. К трагедии, намеченной на седьмое июля, я непричастен. Это колесо вертится помимо меня, но ничто не мешает мне воспользоваться его вращением.

Есть такой старый, много раз опровергнутый предрассудок, будто мысли человека отражаются на его лице, или, как говорят, глаза – зеркало души. Неправда это. На лице отражается только болезнь, или неудача, или отчаяние тоже своего рода болезни. Но бывают люди, одаренные особым чутьем, они видят насквозь, замечают скрытые перемены, ловят знаки, непонятные для других. Моя Мэри уловила перемену во мне, но неверно ее истолковала, а Марджи Янг-Хант, мне кажется, поняла все, но Марджи – колдунья, что осложняет дело. Впрочем, она, кроме того, умная женщина, а это еще сложнее.

Я предвидел, что мистер Бейкер позаботится уехать из города загодя, не позднее пятницы, с тем чтобы вернуться уже после

Четвертого июля, то есть во вторник. Гром должен грянуть в пятницу или в субботу, чтобы последствия успели сказаться до выборов, и, разумеется, мистер Бейкер предпочтет в критический момент оказаться подальше. Для меня это мало что меняло. Но кое-что нужно было предпринять в четверг, на случай, если он вздумает уехать с вечера. Субботняя операция была у меня так детально продумана, что я мог бы проделать все даже во сне. Может быть, я и волновался немного, но только так, как волнуется актер перед выходом на сцену.

В понедельник, двадцать седьмого июня, не успел я открыть лавку, явился Марулло. Он долго ходил из угла в угол, смотрел как-то странно на полки, на кассу, на холодильник, зашел и в кладовую, там тоже все оглядел. Можно было подумать, что он все это видит в первый раз.

Я сказал:

– Едете куда-нибудь на Четвертое июля?

– С чего ты взял?

– Да все едут, у кого только есть деньги.

– Гм! Куда ж бы это я поехал?

– Мало ли куда. В Кэтскилз, например, или даже в Монток, половить рыбку. Сейчас тунец идет.

От одной мысли о единоборстве с верткой рыбиной весом фунтов в тридцать у него заломило руки до самого плеча, так что он даже сморщился от боли.

Я чуть было не спросил, когда он собирается в Италию, но решил, что это будет уж слишком. Вместо того я подошел к нему и тихонько взял его за правый локоть.

– Альфио, – сказал я, – вы все-таки чудак. Надо поехать в Нью-Йорк, посоветоваться с хорошим специалистом. Наверно, есть какое-нибудь лекарство от этой боли.

– Не верю я в лекарства.

– Да ведь терять вам нечего. Попробуйте. А вдруг!

– Тебе-то какая печаль?

– Никакой. Но я уже много лет работаю здесь у глупого, упрямого итальяшки. Если б даже распоследний подлец мучился так на твоих глазах, и то бы жалко стало. Вы как придете да как начнете тут руками крутить, у меня у самого потом полчаса все болит.

– Ты меня жалеешь?

– Очень нужно! Просто подлизываюсь в расчете на прибавку.

Он посмотрел на меня из-под покрасневших век собачьими глазами, такими темными, что в них не видно было зрачка. Он как будто хотел о чем-то заговорить, но передумал.

– Ты славный мальчуган, – сказал он только.

– Напрасно вы так думаете.

– Славный мальчуган! – повторил он запальчиво и, точно устыдившись своего порыва, поспешно вышел из лавки.

Я отвешивал миссис Дэвидсон два фунта стручковой фасоли, вдруг вижу – Марулло бежит обратно. Остановился в дверях и крикнул мне:

– Возьми мою машину!

– Что такое?

– Возьми и поезжай куда-нибудь на воскресенье и понедельник.

– Это мне не по карману.

– И ребяташек захвати. Я сказал в гараже, что ты придешь за моим «понтиаком». Бензину полный бак.

– Погодите минутку.

– Нечего мне годить. Захвати ребяташек. – Что-то похожее на комок табачной жвачки полетело в меня и шлепнулось прямо в фасоль. Миссис Дэвидсон удивленно посмотрела вслед Марулло, уже бежавшему по улице. Я подобрал зеленый квадратик, валявшийся среди стручков фасоли, – три двадцатидолларовые бумажки, сложенные в несколько раз.

– Что это с ним?

– Итальянец, знаете, – все они неуравновешенные.

– Оно и видно. Швыряется деньгами!

Больше он всю неделю не показывался, и это было к лучшему. До сих пор он никогда не уезжал, не предупредив меня. Все было так, как бывает, когда в праздник смотришь на уличную процессию, стоишь, и смотришь, и знаешь наперед, что будет дальше, а все-таки не уходишь.

Вот только «понтиака» я не ожидал. Марулло никогда никому не одалживает свою машину. Происходило что-то странное. Словно какая-то посторонняя сила или воля взялась управлять событиями и так их нагнетала, что они теснились, как скот на погрузочных мостках. Я знаю, бывает и наоборот. Иногда вмешательство этой посторонней

силы или воли портит и разрушает даже самые продуманные планы. Вероятно, именно это мы называем «везет» или «не везет».

В четверг тридцатого июня я, как всегда, проснулся с первым, жемчужно-серым светом зари. Сейчас, в летнее время, светает рано. Стол и стулья казались темными кляксами, картины были пятнами чуть посветлее. Белые занавески на окнах колыхались, как будто дышали, – ведь на заре с моря почти всегда тянет ветерком.

Просыпаясь, я несколько секунд пребывал в двух мирах: облачную мглу сновидений не сразу развеяла земная четкость бодрствующего разума. Я сладостно потянулся – ни с чем не сравнимое ощущение. Как будто вся кожа съежилась за ночь, и нужно вновь расправить ее, натягивая на выпяченные округлости мускулов, от чего так приятно пощипывает тело.

Сперва я бегло припомнил виденное во сне – так мельком просматриваешь газету, чтобы установить, есть ли в ней что-нибудь достойное внимания. Потом перебрал мысленно то, что еще не случилось, но может случиться сегодня. И наконец предался занятию, которое перенял от лучшего моего боевого командира. Его звали Чарли Эдвардс, это был пожилой майор, пожалуй даже слишком пожилой для строевой службы, однако офицер очень хороший. У него была большая семья, жена и четверо ребятишек-погодков, и, когда он позволял себе о них думать, сердце у него исходило любовью и тоской. Но, занятый страшным делом войны, он не мог допустить, чтобы мысли о семье отвлекали и рассеивали его внимание. И вот он придумал выход, о котором рассказывал мне. Утром – если, конечно, в его сон не врывается до времени сигнал тревоги – он все свои помыслы и чувства сосредоточивал на своих близких. Он думал с любовью о каждом по очереди, какой он, как выглядит, что говорит, он ласкал их и обращался к ним со словами нежности. Он как будто стоял у раскрытого ларца с драгоценностями и перебирал его содержимое: возьмет одну вещь, осмотрит внимательно со всех сторон, погладит, поцелует, положит на место и возьмет другую, а под конец оглянет их все на прощанье и замкнет ларец. Все это занимало у него с полчаса – когда удавалось выкроить эти полчаса, – и потом уже весь день можно было не думать о близких. Можно было всем существом сосредоточиться на работе, которой он был занят и которая состояла в том, чтобы убивать людей. Он был превосходный офицер, я не встречал лучшего. Я просил

разрешения воспользоваться его методом, и он разрешил. Потом, когда он погиб в бою, я всегда вспоминал о нем с уважением, как о человеке разумной и плодотворной жизни. Он умел наслаждаться, умел любить и платил долги – многие ли могут похвастать тем же?

Я не часто прибегал к методу майора Чарли, но в этот четверг, зная, что мне понадобится вся моя способность сосредоточиться, я проснулся, как только ночная тьма дала первую трещину, и по примеру майора стал думать о своей семье.

Я шел по порядку и начал с тетушки Деборы. Она была наречена так в честь Деборы, судии народа израильского, а я читал, что в те времена судьи были также и полководцами. Пожалуй, имя было выбрано удачно. Тетушка Дебора вполне могла командовать армиями. Воинством разума она повелевала весьма успешно. Именно ей я обязан своей бескорыстной любовью к знанию. При суровом нраве она была полна любознательности и не жаловала тех, кто не отличался этой чертой. Первую дань почтения я отдал в своих мыслях ей. Потом я почтил память Старого шкипера и мысленно склонил голову перед своим отцом. Я даже не забыл того пустого места в прошлом, которое по праву должно было принадлежать матери. Свою мать я не помню. Она умерла, когда я еще не мог ничего запомнить, и ее место навсегда осталось в моей памяти пустым.

Одно смущало меня. Образы тетушки Деборы, Старого шкипера и отца вырисовывались передо мной недостаточно четко. Вместо контрастных фигур я видел зыбкие, расплывающиеся силуэты. Быть может, воспоминания выцветают от времени, как старые дагерротипы, и фигуры мало-помалу сливаются с фоном. Нельзя сохранить их навсегда.

Следующей по порядку шла Мэри, но я намеренно отодвинул ее на конец.

Я вызвал образ Аллена. Но я не мог вспомнить его маленьким мальчиком, полным непосредственной радости, внушавшей мне веру в способность человека совершенствоваться. Я увидел его таким, каков он теперь, – хмурый, тщеславный, обидчивый, замкнутый в тайнах трудной поры полового созревания, когда хочется, оскалив зубы, бросаться на всех, даже на самого себя, как собака, попавшая в капкан. Даже в мыслях я не мог увидеть его свободным от обуревавших его тревог, и я не стал больше думать о нем, сказав только: я тебя

понимаю. Я сам прошел через это, и я не могу тебе помочь. Помочь и нельзя. Я бы мог только сказать тебе, что это пройдет. Но ты бы мне все равно не поверил. Ступай же с миром – и пусть моя любовь будет с тобой и теперь, когда мы едва выносим друг друга.

Мысль об Эллен обдала меня радостью. Она будет хорошенькой, даже лучше матери, потому что, когда ее личико совсем сформируется, в нем будет что-то от властной значительности облика тетушки Деборы. Ее капризы, ее злые выходки, ее нервозность – все это обещает сложиться в прекрасное и гармоническое целое. Я в этом уверен, потому что я видел, как она во сне прижимала талисман к своей детской груди, а на лице у нее был покой женщины, познавшей удовлетворение. И этот талисман так же полон значения для нее, как и для меня. Быть может, именно Эллен сохранит и понесет дальше то, что во мне есть бессмертного. И, прощаясь с мыслью о ней, я ее обнял, а она, как живая, пощекотала меня за ухом и тихонько засмеялась. Моя Эллен. Дочка моя.

Я повернул голову к Мэри, спавшей справа от меня с улыбкой на губах. Она всегда ложится справа, и когда все хорошо и все так, как надо, она кладет мне голову на правое плечо, оставляя мою левую руку свободной для ласк.

Несколько дней назад я порезал указательный палец кривым ножом для бананов, и на кончике пальца был теперь жесткий рубец. Поэтому я стал обводить средним пальцем милый изгиб шеи от уха к плечу, тихо-тихо, чтобы не испугать мою любимую, но достаточно твердо, чтобы ей не было щекотно. Она, как всегда, вздохнула сладко и глубоко, точно медля расстаться с приятной истомой. Некоторые люди просыпаются неохотно, про Мэри этого сказать нельзя. Она встречает день в надежде, что он будет хорошим. Зная это, я стараюсь приготовить ей какой-нибудь маленький сюрприз, чтобы она не обманулась в своих ожиданиях. И я всегда держу что-нибудь про запас на этот случай, какую-нибудь приятную новость вроде той, которую я сейчас собирался ей преподнести.

Она открыла глаза, совсем еще сонная.

– Уже пора? – спросила она и повернулась к окну посмотреть, близок ли день. Над письменным столиком висит картина – деревья и озеро и в воде у берега стоит корова. Мне с кровати уже нетрудно было различить хвост коровы, и это был признак, что день наступил.

– У меня для тебя есть радостное известие, белка-попрыгунья.
– Болтун.
– Я разве тебе когда-нибудь лгал?
– Кто тебя знает.
– Ты уже совсем проснулась? Можешь воспринять радостное известие?
– Нет.
– Тогда подожду говорить.
Она пригнула голову к левому плечу, так что нежную шею перерезала глубокая складка.
– Опять твои шуточки. Наверно, скажешь, что решил залить газон асфальтом...
– Ничего подобного.
– Или заняться разведением сверчков...
– Вовсе нет. Однако ты все помнишь.
– Значит, это все-таки шутка?
– Нет, но это так замечательно и невероятно, что тебе придется сделать усилие, чтобы поверить.
Ее глаза смотрели пытливо и ясно, а углы губ подрагивали – вот-вот рассмеется.
– Ну, говори.
– Известен тебе джентльмен итальянского происхождения, по фамилии Марулло?
– Да ну тебя, опять дурачишься.
– Не торопись с выводами. Так вот означенный Марулло на время выбыл из нашего города.
– Куда?
– Он не сказал.
– А когда вернется?
– погоди, не сбивай. Этого он тоже не сказал. Но зато он сказал и даже настаивал – когда я попробовал спорить, – чтобы мы взяли его машину и куда-нибудь поехали на праздники.
– Ты меня разыгрываешь!
– Ты считаешь меня способным на такую недобрую шутку?
– Но с чего это он?
– Не могу сказать. Но могу заверить тебя, начиная от честного бойскаутского и кончая священной папской присягой, что роскошный

«Понтиак» с полным баком чистейшего бензина готов к услугам вашей светлости.

– Но куда же мы поедем?

– Куда моя козявка пожелает. У тебя есть сегодняшний, завтрашний и послезавтрашний день на решение этого вопроса.

– Ведь понедельник – Четвертое июля. Значит, целых два дня праздника?

– Совершенно точно.

– А это не слишком дорого? Мотель и другие расходы.

– Дорого или нет, а мы себе это позволим. У меня есть секретные фонды.

– Знаю я твои фонды, дурачок. Но как же он решился дать нам машину? Я себе просто представить не могу.

– Я тоже представить не могу, но тем не менее он ее дал.

– А помнишь, он принес детям конфеты на Пасху?

– Может быть, это старческое слабоумие.

– Интересно, что ему от нас нужно.

– Фи, что за недостойное предположение. Может быть, ему просто хочется, чтобы мы его любили.

– Мне нужно успеть сделать тысячу вещей.

– Я в этом не сомневаюсь. – Я уже видел, как ее мысль бульдозером взрезает пласты неожиданно открывшихся перспектив. Для меня ее внимание было явно и безвозвратно потеряно. Что ж, тем лучше.

За завтраком, прежде чем я дошел до второй чашки кофе, она успела перебрать и отвергнуть половину увеселительных маршрутов Восточной Америки. Бедная моя девочка, для нее последние годы были не слишком богаты развлечениями.

Я сказал:

– Хлоя, прошу твоего внимания, хоть и знаю, что добиться его будет сейчас нелегко. Мне предлагают одно очень выгодное помещение капитала. Я хочу взять еще часть твоих денег. В тот раз вышло удачно.

– А мистер Бейкер знает про это?

– Он и предложил мне.

– Тогда бери. Подписывай чек на сколько нужно.

– Ты даже не хочешь знать, сколько нужно?

– А зачем?

– И тебя не интересуют подробности? Сроки, проценты, ориентировочный размер дивиденда и тому подобное?

– Я в этом все равно ничего не пойму.

– Поймешь, если захочешь.

– А я и не хочу понимать.

– Не мудрено, что таких, как ты, называют демонами Уолл-стрита. Этот холодный, острый, беспощадный деловой ум просто внушает страх.

– Мы поедем путешествовать, – сказала она. – Мы поедем путешествовать на целых два дня.

Ну как, черт возьми, не любить ее, как ее не боготворить? «Кто она, Мэри, какая она?» – напевал я, собирая пустые молочные бутылки, чтобы захватить с собой в лавку.

Мне хотелось повидать Джоя, просто как-то соприкоснуться с ним, но, должно быть, я на одну минуту опоздал или он на одну минуту поторопился. Поворачивая на Главную улицу, я увидел, как он входит в кафе. Я тоже туда вошел и уселся на соседний с ним табурету стойки.

– Из-за вас я пристрастился, Джой.

– Привет, мистер Хоули. Кофе очень вкусный.

Я поздоровался со своей бывшей одноклассницей:

– Доброе утро, Анни.

– Ты становишься нашим завсегдаем, Ит.

– Вроде того. Одну чашку черного.

– Чернее быть не может.

– Черного, как отчаяние.

– Что, что?

– Я говорю – черного.

– Если ты углядишь в этой чашке хоть малейший просвет, я тебе налью другую.

– Как дела, Морф?

– Так же, если не хуже.

– Хотите, поменяемся местами?

– Охотно бы поменялся, особенно сейчас, накануне двухдневного праздника.

– Не думайте, что только вам трудно. Людям ведь и продукты приходится запасать.

– Да, пожалуй. Об этом я не подумал.

– Всякую снедь, которую можно взять в дорогу, – копчености, маринады и, уж конечно, пастилу. А у вас, значит, горячие денечки?

– И не говорите. Накануне Четвертого июля, да еще когда погода так хороша. А в довершение всего сам господь всемогущий тоже, изволите видеть, почувствовал потребность отдохнуть на свежем воздухе.

– Вы о мистере Бейкере?

– Не о Джеймсе же Блейне^[28].

– Мне, кстати, нужно повидать его. Очень нужно.

– Что ж, попробуйте его поймать. Но предупреждаю, это не так просто. Он скачет, как монета в бубне цыганки.

– Может, доставить вам сэндвичи на ваш боевой пост, Джой?

– Ну что ж.

– За кофе сегодня плачу я, – сказал я.

– Ладно.

Мы вместе перешли улицу и свернули в переулок.

– Вы что-то вроде не в духе, Джой.

– Даже очень не в духе. Надоело мне считать чужие деньги. У меня на праздник назначено любовное свидание, а я буду так измочален, что хоть не являйся. – Он всунул в замок обертку от жевательной резинки, вошел, махнув мне рукой на прощанье, и затворил за собой дверь. Но я тотчас же толкнул ее, и она снова отворилась.

– Джой! Так сегодня-то вам нужны сэндвичи?

– Нет, спасибо, – послышалось из пахнувшей мастикой темноты. – Вот в пятницу, пожалуй. А в субботу наверняка.

– Разве у вас не будет обеденного перерыва?

– Я вам уже говорил. Перерыв бывает в банке, но не у Морфи.

– Ну, все равно, заходите, когда сможете.

– Спасибо, мистер Хоули, спасибо.

В это утро мне нечего было сказать моим войскам на полках. Я только поздоровался с ними и тут же скомандовал: «Вольно!» За несколько минут до девяти, при фартуке и метле, я уже подметал тротуар перед входом.

Мистер Бейкер до того пунктуален, что кажется, слышно, как он тикает, а уж в том, что внутри у него часовой механизм, я не сомневаюсь. Восемь пятьдесят шесть, восемь пятьдесят семь – вот он появился со стороны Вязовой; восемь пятьдесят восемь – переходит улицу; восемь пятьдесят девять – подошел к стеклянной двери, но тут я, с метлой наперевес, загородил ему дорогу.

– Мистер Бейкер, мне надо поговорить с вами.

– Доброе утро, Итен. Минутку подождать можете? Идемте со мной.

Я вошел, и все было точно так, как рассказывал Джой, – настоящий церковный обряд. Когда стрелка часов коснулась цифры девять, весь персонал банка уже стоял навтыжку перед сейфом. В массивной стальной двери что-то щелкнуло и загудело. Потом Джой набрал на диске мистическую комбинацию цифр и повернул ручку. Святая святых с торжественной медлительностью раскрылась, и мистер Бейкер принял молчаливый салют денежных мешков. Я стоял за оградой, точно причастник, смиренно ожидающий приобщения святых тайн.

Мистер Бейкер повернулся ко мне:

– Ну-с, Итен, чем могу быть полезен?

Я ответил вполголоса:

– Я хотел бы поговорить с вами без свидетелей, а мне никак нельзя оставить лавку.

– А что, дело срочное?

– Боюсь, что да.

– Вам давно пора иметь в лавке помощника.

– Это я и сам знаю.

– Если мне удастся выбрать время, я к вам зайду. О Тейлоре ничего не узнали?

– Пока нет. Но я кое-где забросил удочки.

– Постараюсь зайти к вам.

– Спасибо, сэр. – Я не сомневался, что он придет.

И действительно, не прошло и часа, как он явился и терпеливо стал ждать, когда я отпущу покупателей.

– Ну, Итен, в чем дело?

– Мистер Бейкер, для врача, адвоката, священника существует профессиональная тайна. А как для банкира?

Он улыбнулся.

– Слыхали вы когда-нибудь, чтобы банкир обсуждал с посторонними дела своих клиентов?

– Нет.

– Ну, попробуйте спросить, увидите. А кроме всего прочего, я же ваш друг, Итен.

– Знаю. Я, правда, что-то не в себе. Но мне так давно уже не представлялся верный шанс.

– Шанс?

– Я вам выложу все начистоту, мистер Бейкер. У Марулло неприятности.

Он придвинулся ко мне ближе.

– Неприятности? Какие неприятности?

– Я сам точно не знаю, сэр. Но мне кажется, речь идет о нелегальном въезде.

– Откуда вы знаете?

– Он мне сам сказал – во всяком случае, дал понять. Ну, вы же знаете Марулло.

Я почти видел, как заработал его мозг, лихорадочно подхватывая обрывки фактов и связывая их вместе.

– Дальше, – сказал он. – Если так, то это высылка.

– Боюсь, что да. Он ко мне очень хорошо относился, мистер Бейкер. Я не хочу ничего делать во вред ему.

– Нужно и о себе подумать, Итен. Что он предлагает?

– Да, собственно, это даже не предложение. Это то, что мне удалось выудить из кучи бессвязных, сказанных в волнении фраз. Но, по-видимому, если б я мог дать пять тысяч наличными, лавка была бы моя.

– Так он что, думает исчезнуть, или вы точно не знаете?

– Точно я ничего не знаю.

– Значит, не рискуете, что вас обвинят в пособничестве. Вы говорите, конкретно он вам ничего не предлагал?

– Нет, сэр.

– А откуда же вы взяли цифру пять тысяч?

– Это нетрудно, сэр. Такова стоимость всего имущества.

– Но, может быть, он пошел бы и на меньшую сумму?

– Может быть.

Мистер Бейкер оглядел всю лавку быстрым, оценивающим взглядом.

– Если вы не ошиблись в своих догадках, ваше положение очень выгодно.

– Я как-то не умею делать такие дела.

– Вы же знаете, я не сторонник обходных маневров. Может быть, мне поговорить с ним?

– Его сейчас нет в городе.

– А когда он вернется?

– Не знаю, сэр. Но не забудьте, у меня ведь нет никакой уверенности. Просто мне показалось, что, если бы у меня были наличные деньги, он пошел бы на это. Он ко мне хорошо относится, вот почему.

– Знаю.

– Но мне бы не хотелось злоупотреблять этим.

– Он, конечно, может сторговаться с кем-нибудь другим. Ему и десять тысяч могут дать.

– Тогда, может быть, я напрасно надеюсь?

– А вы не спешите отступать. Вам нужно в первую очередь думать о себе.

– Во вторую очередь. Ведь это деньги Мэри.

– Предположим. Так чего же вы хотите?

– У меня была такая мысль: может быть, вы подготовите документ, только не проставите число и сумму. А деньги я, пожалуй, возьму в пятницу.

– Почему в пятницу?

– Тоже только догадка с моей стороны, но он что-то такое говорил насчет того, что на праздники все разъезжаются из города. Вот я и думаю – может, он тогда зайдет? Он у вас денег не держит?

– Теперь нет. Недавно он оголил свой счет. Сказал, что хочет купить какие-то акции. Я этому не придал значения, потому что это бывало и раньше, и всякий раз он потом вкладывал больше, чем вынул. – Он посмотрел прямо в глаза ярко размалеванной красотке на холодильнике, но оставил ее зовущую улыбку без ответа. – Вы отдаете себе отчет, что можете крепко погореть на этом деле?

– Как это?

– Во-первых, у него может найтись еще десяток покупателей, а во-вторых, лавка может быть заложена-перезаложена. Никаких гарантий на этот счет нет.

– А если попробовать узнать в окружном управлении? Вы меня простите, мистер Бейкер, что я отнимаю у вас время. Но я знаю ваше доброе отношение к моей семье и бессовестно пользуюсь им. И потом в таких вещах мне ведь просто не с кем больше посоветоваться.

– Я постараюсь узнать насчет закладных через Тома Уотсона. Черт возьми, Итен, очень все это не ко времени. Я сам хочу завтра уехать отдохнуть до вторника. А если Марулло и в самом деле жулик, вы можете крепко влипнуть.

– Так, может, мне сразу отступить и не путаться в это дело? Но если бы вы знали, мистер Бейкер, как мне надоело стоять за прилавком!

– Я вам не давал совет отступить. Я только предупреждал вас о возможном риске.

– Мэри была бы так счастлива, если бы я стал владельцем лавки. Но вы, пожалуй, правы. Нельзя рисковать ее деньгами. Я думаю, самое правильное будет обратиться к федеральным властям.

– Тогда вы потеряете все выгоды своего положения.

– Почему?

– Если его приговорят к высылке, он получит право произвести ликвидацию через специального агента, и цена за лавку может быть назначена такая, которую вы не в состоянии уплатить. Ведь вы же не знаете наверняка, что он думает смыться. А раз не знаете, то о чем вы будете говорить федеральным властям? Вы даже не знаете, попал ли он в списки.

– Это верно.

– Вы, в сущности, ничего решительно о нем не знаете. Все, что вы мне говорили, всего лишь смутные подозрения. Ведь так?

– Так.

– И лучше вы их оставьте в стороне.

– И не будет это выглядеть странно – крупная сумма наличными без указания назначения?

– А вы поставьте на чеке что-нибудь вроде «Для финансирования бакалейной торговли мистера Марулло». Это в случае чего послужит оправдательным документом.

- А если вообще ничего не выйдет?
- Вы положите деньги обратно в банк, вот и все.
- Так вы думаете, не нужно бояться риска?
- Риск во всем, Итен. Носить при себе такую большую сумму наличными – уже риск.
- Я буду осторожен.
- В общем, жаль, что я должен уехать на эти дни.

Мои расчеты времени совершенно верны. Пока мы разговаривали, в лавку не заходил ни один покупатель, но под конец сразу явилось шестеро: три женщины, старик и двое мальчуганов. Мистер Бейкер наклонился ко мне и шепотом сказал:

– Я приготовлю всю сумму сотенными купюрами и замечу номера. Тогда, если его поймут, вы сможете получить их обратно. – Он солидно кивнул женщинам, сказал старику: «Добрый день, Джордж» – и на ходу взъерошил чубы мальчуганам. Мистер Бейкер – очень умный человек.

Глава XIV

Первое июля. Этот день делит год пополам, как прямой пробор – волосы. Я знал, что для меня он станет пограничной вехой – вчера я был одним человеком, завтра буду совсем другим. Я сделал ряд ходов, которые уже нельзя взять обратно. Время и события играли мне на руку, словно хотели быть моими сообщниками. Я даже не пытался надевать перед самим собой добродетельную личину. Я сам выбрал свой образ действий, никто меня не заставлял. Я временно поступился привычными взглядами и нормами поведения, чтобы взамен обрести благополучие, чувство собственного достоинства и уверенность в будущем. Нетрудно было бы убедить себя, что я пошел на это ради своих близких, ведь и в самом деле мое чувство собственного достоинства зависело от их благополучия и уверенности в будущем. Но передо мной была лишь одна, вполне определенная цель, и я знал, что, достигнув ее, я вновь вернусь к прежним нормам поведения. Я не сомневался, что это возможно. Ведь не сделала же война из меня убийцу, хотя какое-то время я убивал людей. Отправляя солдат в разведку, зная, что не все они вернуться живыми, я не чувствовал жертвенного экстаза, как бывало с другими офицерами, я никогда не радовался своим делам на войне, не оправдывал их и не прощал. Главное было знать ту одну, определенную цель, ради которой они совершались, и по достижении этой цели поставить точку. Но для этого надо не обманывать себя, а точно знать, чего добиваешься: уверенность в будущем, чувство собственного достоинства и точка, конец. Из опыта войны я знаю, что убитые на поле боя – жертвы стремления к определенной цели, а не чьей-то злобы, ненависти или жестокости. И я верю в любовь, которая в критический миг связывает победителя с побежденным, убийцу с убитым.

Но от листков, покрытых каракулями Дэнни, и от благодарного взгляда Марулло сердце щемило тоской.

Говорят, накануне решающей битвы люди не могут уснуть. Со мной этого не было. Сон сморил меня быстро, крепко и основательно и так же легко отпустил в предрассветный час. Но на этот раз я не лежал, размышляя, впотьмах. Прошное властно призывало меня. Я тихонько выскользнул из постели, оделся в ванной и спустился с лестницы,

стараясь держаться поближе к стене. Странное дело – ноги как бы сами привели меня к горке в гостиной, я отпер ее и ощупью нашел розоватый камешек. Я сунул его в карман, потом закрыл горку и запер ее на ключ. Ни разу в жизни я не уносил камешек из дому и еще вчера не знал, что возьму его с собой на этот раз. Я без труда пробрался знакомой дорогой через темную кухню и вышел во двор, где уже редела ночная тьма. Вязы сплетались толстыми от листвы ветвями, образуя сплошной черный свод. Если бы «понтиак» Марулло был уже у меня, я уехал бы из Нью-Бэйтауна в пробуждающийся мир моих первых воспоминаний. Держа руку в кармане, я вел пальцем по бесконечной извилине, прорезающей мой теплый от близости тела заветный камешек – мой талисман. Талисман?

Тетушка Дебора, ребенком посылавшая меня на Голгофу, была точна как машина во всем, что касалось слов. Она не терпела тут ни малейшей расплывчатости, неясности и требовала того же от меня. Сколько силы было в этой старой женщине! Если она жаждала бессмертия, она его обрела – в моей памяти. Когда она первый раз увидела у меня в руке камешек с причудливой извилиной, по которой я водил пальцем, она сказала:

– Итен, эта заморская диковина может стать твоим талисманом.

– А что это такое – талисман?

– Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, в другое выйдет.

Посмотри в словаре.

Сколько слов укоренилось в моем обиходе благодаря тетушке Деборе, которая всегда сперва старалась заинтересовать меня непонятным словом, а потом заставляла самостоятельно доискиваться до его значения. Я, конечно, ответил:

– Очень нужно!

Но она хорошо знала, что я полезу в словарь, и еще раз произнесла – с расстановкой, чтобы мне легче было запомнить:

– Та-лис-ман.

Она с глубоким уважением относилась к словам, и небрежное обращение с ними раздражало ее так же, как небрежное обращение с любой хорошей вещью. И сейчас, столько лет спустя, я словно вижу перед собой страницу словаря со словом «талисман». Арабское написание было для меня просто извилистой линией с кружком на конце. Греческое я мог прочитать благодаря той же неутомимой

тетушке Деборе. «Камень или другой предмет с выгравированными на нем буквами или рисунками, которому приписывается оккультная сила, связываемая с влиянием планет или знаков зодиака, часто носится как амулет, могущий, по поверью, оградить от зла или принести удачу».

После этого мне пришлось искать в словаре «оккультный», «планеты», «зодиак», «амулет». Так бывало всегда. Одно слово поджигало десяток других, как шутихи, нанизанные на нитку.

Когда я после спросил ее:

– А вы верите в талисманы? – она возразила:

– А при чем это тут, верю я или не верю?

Я сунул ей в руки камешек.

– Что означает этот рисунок?

– Талисман твой, не мой. Он означает то, чего ты от него ждешь.

Положи его на место. Придет время – он тебе пригодится.

Сейчас, шагая под вязовым сводом, я видел ее перед собой как живую, а это и есть истинное бессмертие. Вилась, кружилась по камню резвая извилина, петляла и снова кружилась и вилась, точно змея без головы, без хвоста, без конца, без начала. Первый раз я взял талисман с собой, уходя из дома – зачем? Чтобы он оградил меня от зла? Или принес мне удачу? Но я не верю в оккультную силу, а бессмертие всегда казалось мне жалким утешением, выдуманным для отчаявшихся.

Светлая полоса на востоке – это уже был июль, потому что июнь ночью кончился. Июньское золото в июле становится медью. Июньское серебро – свинцом. Листва в июле тяжелая, тучная, густая. Птицы поют в июле однообразно, крикливо, без страсти, потому что гнезда уже опустели и оперившиеся птенцы делают первые неуклюжие попытки летать. Да, июль – уже не пора надежд и еще не пора свершений. Плоды хоть и зреют, но пока безвкусны и бесцветны. Кукуруза похожа на бесформенный зеленый сверток с желтой кисточкой на конце. На тыкве, как неотпавшая пуповина, торчит засохший венчик цветка.

Я вышел на Порлок, сытый, упитанный Порлок. Медные отсветы зари окрасили кусты роя, гнущиеся под тяжестью перезревших цветов, точно женщины, у которых живот уже не стянут корсетом, хотя ноги еще стройны и красивы. Я медленно брел по тротуару и мысленно

говорил «прощай» – не «до свидания», а «прощай». «До свидания» звучит нежной грустью и надеждой. «Прощай» – коротко и безвозвратно, в этом слове слышен лязг зубов, достаточно острых, чтобы перекусить тонкую связку между прошлым и будущим.

Вот и Старая гавань. Чему же я говорил «прощай»? Не знаю. Не могу припомнить. Кажется, я хотел пойти в Убежище, но всякий, кто вырос на море, знает, что сейчас время прилива и Убежище залито водой. Прошлой ночью я видел луну, ей всего четыре дня от роду, и она похожа на выгнутую хирургическую иглу, но в ней уже достаточно силы, чтобы притянуть темные волны прилива к устью моей пещеры.

И в хижину Дэнни Тейлора незачем идти. Уже рассвело настолько, что видно, как высоко поднялась трава в том месте, где раньше была тропка, протоптанная ногами Дэнни.

В водах Старой гавани темнели пятнами летние суденышки, стройные корпуса, снасти, прикрытые брезентом. Кое-где любители раннего вставанья уже готовились к выходу в море, ставили кливера и гроты, и паруса, освобожденные от чехлов, лежали кучей на палубе, точно большое взъерошенное белое гнездо.

В новой гавани было оживленней. У причалов наемные лодки ожидали пассажиров, одержимых рыболовов-отпускников, которые денег не жалеют, а к концу дня растерянно озираются, не зная, что делать с массой рыбы, завалившей лодку. Полны все мешки, все корзины, громоздятся на дне кучи триглы, морского леща и морского окуня, и даже мелкой акулы-колючки, и все это задыхается и гибнет и будет выброшено обратно в море, чайкам на съедение. А чайки уже слетелись и ждут, они знают эту породу рыболовов, жертв собственной жадности. Кому охота чистить и потрошить целый мешок рыбы? А отдать рыбу даром трудней, чем наловить ее.

По маслянистой глади залива уже разлилось медное сияние. У входа в канал словно замерли буйки разной формы и под каждым стоял в зеркале воды его близнец.

Я дошел до флагштока и остановился у памятника в честь героев войны. Там среди выбитых серебром имен уцелевших я прочел и свое имя: *Капитан И.А. Хоули*, а ниже золотом были выбиты имена восемнадцати нью-бэйтаунцев, которые так и не вернулись домой. Большинство имен было мне знакомо – когда-то я знал и самих людей, и они тогда ничем не отличались от нас, а теперь отличаются тем, что

их имена написаны золотом, а не серебром. На мгновение я подумал, что хорошо бы и мне числиться среди них. «Капитан И.А. Хоули» – золотом внизу списка, там, где трусы и симулянты, размазни и герои – все уравниены золотой вязью букв. Ведь не только храбрые погибают в бою, но храбрые погибают чаще.

Подъехал толстяк Вилли, остановил машину у памятника, вылез и достал с заднего сиденья свернутый флаг.

– Здорово, Ит. – Он вдел стержни в медные скобки и медленно поднял флаг на вершину флагштока, где он поник безжизненно и уныло, точно висельник в петле. – Доживает свой век, – сказал Вилли, слегка отдуваясь. – Уже и вида никакого нет. Ну, еще два дня, а там поднимем новый.

– С пятьюдесятью звездами?

– Именно. И хорош же – нейлоновый, огромный, в два раза больше этого, а весит вдвое меньше.

– Как дела, Вилли?

– Да жаловаться вроде не на что, но я все-таки пожалуюсь. С этим Четвертым июля всегда не оберешься хлопот. Да еще когда оно после воскресенья – это, значит, вдвое больше несчастных случаев, катастроф, пьяных драк, особенно за городом. Садитесь, подвезу до лавки.

– Нет, спасибо. Мне еще нужно на почту, а кроме того, хочу зайти выпить чашку кофе.

– Ладно. Подвезу до почты. Я бы и покофейничал с вами, да Стони теперь злой, как собака, лучше с ним не связываться.

– С чего это он?

– Черт его знает. Куда-то уезжал на несколько дней и вернулся злее злющего.

– Где же это он был?

– Понятия не имею. Знаю только, что теперь к нему и не подступись. Ну идите, получайте свою почту. Я подожду.

– Не стоит, Вилли. Мне еще и отправлять письма надо.

– Ну, как хотите. – Он развернулся и поехал по Главной улице в обратную сторону.

На почте было еще полутемно, пол только что натерли, и при входе висел плакатик: «Осторожно, не поскользнитесь».

Наш абонементный ящик – № 7, мы им пользуемся с тех пор, как построено здание почты. Я набрал на диске Г 1/2 Р и вынул из ящика целую кучу проспектов и завлекательных рекламных листовок, адресованных «Абоненту». Больше ничего не было – только этот материал для мусорной корзины. Я пошел вдоль Главной, по направлению к «Фок-мачте», но в последнюю минуту передумал – расхотелось пить кофе или не захотелось разговаривать, сам не знаю что. Просто у меня вдруг пропало желание идти в кафе. Что за клубок противоречивых побуждений человек – все равно, мужчина или женщина.

Я подметал тротуар, когда из-за угла Вязовой показался мистер Бейкер и затакал в банк, готовый к священнодействию. А пока я почти машинально укладывал дыни на лоток у дверей, к банку подъехал старомодный зеленый бронированный автомобиль. Двое сопровождающих, вооруженные, как коммандосы, вышли из кузова и потащили в банк серые мешки с деньгами. Минут через десять они вышли, уселись в свою крепость на колесах и отбыли. Вероятно, им полагалось ждать, пока Морфи пересчитает деньги, а мистер Бейкер проверит подсчет и выдаст им расписку.хлопотливое это дело – возиться с деньгами. Не мудрено, если, как говорит Морфи, начинаешь чувствовать отвращение к чужим деньгам. Судя по величине мешков, банк готовился к крупным предпраздничным выдачам. Будь я рядовым грабителем, я бы счел этот день самым подходящим. Но я не был рядовым грабителем. Я прошел высшую школу у моего приятеля Джоя. Вот кто мог бы ставить рекорды, если бы захотел. Меня даже удивляло, что он не хочет, хотя бы ради проверки своей теории.

В лавке с утра толпился народ. Мне пришлось даже трудней, чем я ожидал. Солнце палило немилосердно, ни дуновения ветерка – словом, погода стояла такая, когда каждый, не раздумывая, рвется за город отдохнуть. У прилавка образовалась целая очередь. Будь что будет, а одно я решил твердо. Мне нужен помощник. Если из Аллена не получится толк, я его выставлю и возьму другого.

Около одиннадцати в лавку вошел мистер Бейкер. Он очень торопился, и мне пришлось извиниться перед покупателями и пройти с ним в помещение кладовой.

Он сунул мне в руки два конверта – один большой, другой маленький – и от спешки заговорил со стенографической краткостью:

– Том Уотсон говорит, дело чистое. Насчет закладных не знает. Думает, что нет. Вот документы. Подпишите там, где я отметил. Номера купюр переписаны. Вот заполненный чек. Поставьте только подпись. Простите, что тороплюсь, Итен. Не в моем духе делать так дела.

– Значит, вы все-таки советуете мне попытаться?

– Черт возьми, Итен, после всего, что я...

– Простите, сэр. Простите. Вы совершенно правы. – Я положил чек на ящик сгущенного молока и расписался на нем химическим карандашом.

Как мистер Бейкер ни торопился, он не забыл проверить, правильно ли подписан чек.

– Попробуйте для начала предложить две тысячи. И повышайте постепенно, сотни по две за раз. Вам, конечно, известно, что у вас на счету осталось всего пятьсот долларов? Не дай бог, чтобы вам опять понадобились деньги.

– Если все будет в порядке, разве нельзя взять ссуду под лавку?

– Конечно, можно, только проценты вас съедят.

– Не знаю, как мне благодарить вас, сэр.

– Лишь бы вы не растаяли при разговоре, Итен. Не давайте ему разжалобить себя. Он будет петь сладко. Все итальянцы на это мастера. Помните: нужно думать о себе.

– Спасибо вам за все.

– Ну, мне пора, – сказал он. – Хочу выехать на шоссе раньше, чем хлынет весь поток машин. – И он выбежал вон, едва не сбив с ног миссис Уиллоу, которая уже по второму разу ощупывала каждую дыню на лотке.

Время шло, а толчея в лавке не прекращалась. Зной, паливший улицы, словно действовал на людей, делая их сварливыми и раздражительными. Можно было подумать, что они готовятся не к праздничному отдыху, а к какому-то стихийному бедствию. Я бы не мог улучшить минутку, чтобы снести Морфи сэндвичи, даже если бы захотел.

Приходилось не только отпускать товар и получать деньги, но при этом смотреть в оба. Среди покупателей было много случайных людей, приезжих, которые так и норовят стащить что-нибудь. Будто бы даже помимо собственной воли. Причем вовсе не то, что им в самом деле

необходимо. Больше всего у них разгораются глаза на баночки деликатесов – паштет из гусиной печени, икру, маринованные грибы. Оттого Марулло и наказывал мне держать этот товар позади прилавка, куда покупателям заходить не полагается. Поймать вора с поличным – плохо для торговли, учил он меня. Скандал, все волнуются, может быть оттого, что никто не безгрешен – по крайней мере в мыслях. Уж лучше наверстать убыток на других покупателях. Но если я замечал, что кто-нибудь явно жметя поближе к некоторым полкам, я говорил вслух: «Вот эти пикули – отличная недорогая закуска для коктейля». И не раз покупателя сразу передергивало, словно я угадал его мысли. Самое противное во всем этом деле – подозрительность. Ненавижу подозревать всех и каждого. Это все равно что одному человеку оскорблять многих.

День тянулся все труднее и все медленнее. После пяти в лавку явился начальник полиции Стони, тощий, мрачный и желтый, как язвенник. Он купил набор для обеда, из тех, что рекламируются телевидением: бифштекс по-деревенски, тушеная морковь, картофельное пюре – все готовое, замороженное и упакованное в алюминиевый ящичек.

Я сказал:

– Что с вами, начальник? У вас такой вид, словно вас хватил солнечный удар.

– Нет, почему. Я себя хорошо чувствую. – Вид у него был отвратительный.

– Вам два набора?

– Нет, один. Жена уехала в гости. А полицейскому праздников не положено.

– Обидно.

– А может, оно даже лучше. При такой кутерьме кругом все равно дома сидеть не придется.

– Я слышал, вы куда-то уезжали?

– Кто вам сказал?

– Вилли.

– Держал бы он лучше свой толстый язык за зубами.

– Он ничего дурного не думал.

– У него ума не хватит думать. Хватило бы хоть на то, чтобы не угодить за решетку.

– От этого никто не застрахован, – сказал я нарочно.

Эффект превзошел мои ожидания.

– Что вы хотите сказать, Итен?

– Просто у нас развелось столько законов, что, кажется, чихнуть нельзя, чтобы не оказаться правонарушителем.

– Да, это верно. Всего не упомнишь.

– Я, кстати, хотел спросить вас, начальник... я тут наводил порядок на полках и нашел револьвер, старый, заржавленный револьвер. Марулло его своим не признает, а уж я-то и подавно первый раз вижу. Что мне с ним делать?

– Если не хотите выправлять разрешение, сдайте мне.

– Ладно, завтра захвачу его. с собой. Он у меня дома, в жестянке с керосином. А как вы в таких случаях поступаете, Стони?

– Проверяем, не тянется ли за ним какое-нибудь дело, а если нет, выбрасываем в океан, и все. – Он как будто немного повеселел, чего я никак не мог себе позволить – слишком долгим и мучительным был этот жаркий день.

– А помните, года два назад был процесс где-то в нашем штате? Судили полицейских за торговлю конфискованным оружием.

Стони улыбнулся ласковой улыбкой крокодила и с крокодильей же непосредственностью.

– У меня была трудная неделя, Ит. Ужасная неделя. Вам, я вижу, хочется подразнить меня, так лучше не надо. Мне и без вас досталось за эту неделю.

– Ладно, начальник, не буду. А не может ли добропорядочный гражданин чем-нибудь помочь вам, например выпить с вами?

– Эх, если б можно было! Я бы сейчас ничего так не хотел, как напиться пьяным.

– За чем же дело стало?

– Вы ничего не знаете? Да нет, откуда вам знать. Если бы я хоть сам знал, откуда это все и для чего.

– О чем это вы?

– Ни о чем, и забудьте, что я говорил. Впрочем, нет не забывайте. Вы ведь в дружбе с мистером Бейкером, Ит. Что он, не задумал чего-либо новенького?

– Не такой уж я ему близкий друг, чтобы это знать, начальник.

– А Марулло? Где он сейчас, Марулло?

– Поехал в Нью-Йорк. Хочет посоветоваться, насчет своего артрита.

– Господи боже мой! Не понимаю. Ничего не понимаю. Если бы хоть какой-нибудь след, я бы знал, куда кидаться.

– Что-то вы городите несуразное, Стони.

– Да, вы правы. И вообще я тут слишком много наговорил.

– Не хочу себя хвалить, но если у вас есть потребность поделиться...

– Нет, нет. Ни за что. Им не удастся обвинить меня в том, что я разболтал, никому не удастся. Забудьте все, Ит, я просто очень устал и измучен.

– Меня вам нечего бояться, Стони. Что там было – суд присяжных?

– Так вы знаете?

– Немножко.

– Что же за этим кроется?

– Забота о прогрессе.

Стони подошел ко мне совсем близко и так схватил меня выше локтя своей железной рукой, что мне стало больно.

– Итен, – сказал он свирепо, – по-вашему, я хороший полицейский?

– Превосходный.

– Стараюсь, как могу. От всей души стараюсь. Ит, по-вашему, это хорошо – заставлять человека выдавать своих друзей, чтобы спасти себя?

– По-моему, нет.

– И по-моему, нет. Не могу я уважать власти, которые так действуют. И ведь вот что меня пугает, Ит, – я уже не смогу быть хорошим полицейским, раз у меня не будет уважения к своему делу.

– Вас на чем-нибудь подловили, начальник?

– Помните ваши собственные слова? Так много законов, что стоит чихнуть, и ты уже нарушил один из них. Ах, черт меня побери! Ведь это же все мои друзья. Но вы никому не расскажете, Ит?

– Нет, нет, не расскажу. Вы забыли свой обеденный набор, шеф.

– Да, – сказал он. – Приду домой, сниму ботинки и буду смотреть телевизор – учиться у полицейских из телефильма. Знаете, иногда лучше отдыхать, когда дома никого нет. Ну, всего, Итен.

Стони славный малый. И он хороший полицейский. Интересно, куда поведет след.

Я собирался запереть и только что внес лотки с улицы, как вдруг пожаловал Джой Морфи.

– Скорей! – сказал я, запер обе двери и спустил зеленые шторы. – Говорите шепотом.

– А что случилось?

– Вдруг кто-нибудь захочет еще что-то купить.

– А! Я вас понимаю. Господи, до чего я ненавижу праздники! В людях проявляется все самое скверное. С утра точно с цепи сорвались, а когда доберутся до дому, так и язык на сторону.

– Хотите выпить холодненького, пока я тут все уберу?

– Не возражаю. Пиво есть?

– Только навынос.

– Не беспокойтесь, я его вынесу. Откройте баночку.

Я проткнул в крышке два треугольных отверстия, и он, запрокинув голову, вылил все до капли себе в рот.

– Уфф! – сказал он и поставил пустую банку на прилавок.

– Мы тоже уезжаем до вторника.

– Бедняга! А куда?

– Еще не знаю. Мы еще не успели поссориться из-за этого.

– Что-то происходит в городе. Не знаете, что?

– Подскажите.

– Я сам не знаю. Но чую, что-то происходит. У меня затылок чешется. Это верный признак. Все словно не в себе.

– Может быть, вам только кажется?

– Может быть. Но мистер Бейкер никогда не уезжает на праздники. А тут у него прямо земля под ногами горела, так он спешил убраться из города.

Я засмеялся:

– А вы бы проверили свои книги.

– Знаете что? Проверял.

– Шутите?

– Знал я одного почтмейстера в маленьком городишке. У него работал помощником сопляк мальчишка, по имени Ральф, – соломенные волосы, очки, крошечный подбородок, аденоиды величиной с зуб. Так вот, этот Ральф попался на краже марок – и на

большую сумму, что-то около двух тысяч долларов. И ничего он не мог поделаться. Одно слово – сопляк.

– Вы хотите сказать, что он не крал этих марок?

– А какая разница? Крал, не крал – главное, что попался. Я вот всегда начеку. И никогда не попадусь, будьте спокойны, разве что не по своей вине.

– Не потому ли вы и не женились?

– А что, черт возьми, может, отчасти и потому.

Я снял фартук, свернул его и убрал в ящик под кассой.

–хлопотное дело подозревать всех и каждого, Джой. У меня на это и времени бы не нашлось.

– В банке нельзя иначе. Один раз оплошал – кончено. Достаточно кому-нибудь шепнуть.

– Неужели вы ко всем относитесь с подозрением?

– Тут уж инстинкт действует. Если что хоть чуть-чуть не так – у меня сейчас тревожный звонок.

– Да как же так можно жить! Вы, верно, шутите?

– Шучу, шучу. Я только хотел вас просить: если услышите что-нибудь, скажите мне, то есть, конечно, если это меня касается.

– Да я вообще каждому готов рассказать все, что знаю. Оттого, должно быть, мне никто ничего и не рассказывает. Вы домой?

– Нет. Зайду, пожалуй, в «Фок-мачту» пообедать.

Я выключил наружное освещение.

– Мы выйдем через переулок, не возражаете? Я вам завтра приготовлю сандвичи с утра, до того как начнется столпотворение. Один с сыром, один с ветчиной, ржаной хлеб, салат и майонез, верно? И кварту молока.

– Вам бы в банке работать, – сказал он.

Пожалуй, живя один, он был не более одинок, чем многие, у кого есть семья. Мы простились у входа в ресторан, и на мгновение я ему даже позавидовал. Я легко мог представить себе, что творится у меня дома.

И я не ошибся. Мэри уже обдумала всю программу. Неподалеку от мыса Монток есть такой приют для бездельников – небольшое ранчо, совсем во вкусе современного ковбойского фильма для взрослых. Пикантность в том, что это самое настоящее ранчо, одна из старейших скотоводческих ферм в Америке. Там разводили скот на продажу, когда

еще Техаса и в помине не было. Грамота на землю была пожалована владельцам Карлом Вторым. На этой земле пасся скот, который шел на прокорм Нью-Йорку, и пастухов туда брали на срок, по жребью, как присяжных. Теперь, конечно, все это чистая бутафория, но все-таки на пастбищах и по сей день пощипывают травку упитанные коровы. Мэри очень нравилась идея заночевать там, в одном из домиков для приезжающих.

Эллен хотела ехать прямо в Нью-Йорк, остановиться в отеле и провести два дня на Таймс-сквер. Аллен вообще не хотел ехать. Это один из его излюбленных способов заявить о себе и привлечь к своей персоне внимание.

Самый воздух в доме был наэлектризован волнением. Эллен пролиwała тяжелые, медленные, смачные слезы. Мэри была вся красная от негодования и усталости. Аллен, надувшись, демонстративно сидел в стороне от всех со своим карманным приемничком и слушал голос певицы, заунывно, с надрывом повторяющей слова любовной жалобы: «Ты в любви мне поклялся, а потом надругался, мое бедное верное сердце грубо ты растоптал».

– Я, кажется, сейчас брошу все, – сказала Мэри.

– Они думают, что помогают тебе.

– Они нарочно стараются быть как можно несноснее.

– Никогда мне ничего нельзя, – хныкала Эллен.

Аллен в гостиной запустил на полную мощность: «...мое бедное верное сердце грубо ты растоптал».

– Милая моя каротелька, а что, если нам запереть их в погреб и уехать отдыхать вдвоем?

– Я бы, кажется, ничего против не имела. – Ей пришлось прокричать эти слова, чтобы я их расслышал в грохоте бедного верного сердца.

На меня вдруг нахлынуло бешенство. Я решительным шагом пошел в гостиную с твердым намерением схватить своего сына за шиворот, швырнуть на пол и грубо растоптать вместе с его бедным верным сердцем. Но когда я уже был на пороге, музыка вдруг смолкла: «Прерываем нашу передачу, чтобы сделать специальное сообщение. Сегодня днем ряд крупных должностных лиц Нью-Бэйтауна и округа Уэссекс получили предписание явиться в суд присяжных по обвинению в разного рода злоупотреблениях, как-то: махинации со

штрафами за нарушение уличного движения, взятки, спекуляция подрядами на строительство и благоустройство...»

Вот оно, обрушилось: мэр, муниципалитет, судьи – все тут. Я слушал с тяжелым чувством, слушал и не слушал. Может быть, они и делали всё то, в чем их обвиняли, но они делали это так давно, что уже не видели в этом ничего дурного. А если они невиновны, им уже не успеть оправдаться до выборов, да и потом обвинение, даже недоказанное, всегда кладет тень на человека. Их песенка спета. Вероятно, они это сами понимали. Я прислушался, ожидая услышать имя Стони, но оно не было названо. Очевидно, он предал их, чтобы самому остаться в стороне. Не мудрено, что у него было так скверно на душе.

Мэри слушала, стоя в дверях.

– Ну и ну! – сказала она. – Давно уже у нас не случилось ничего подобного. Ты думаешь, это все правда, Итен?

– Неважно, – сказал я. – Тут не в том дело, правда или неправда.

– Интересно, что об этом думает мистер Бейкер.

– Он уехал отдыхать. Да, хотел бы я знать, каково ему сейчас.

Аллен сердито ерзал на месте, недовольный, что ему помешали.

Радио, обед, а потом мытье посуды отвлекли нас от разговоров о поездке, а потом оказалось, что уже слишком поздно, чтобы решать что-нибудь или продолжать ссоры и слезы.

Когда мы легли в постель, меня вдруг бросило в дрожь. От холодной, обдуманной беспощадности нанесенного удара мне стало зябко, несмотря на теплоту летней ночи.

Мэри сказала:

– У тебя гусиная кожа, милый. Уж не подхватил ли ты вирусный грипп?

– Нет, родная, просто я думаю, каково сейчас этим людям. Пожалуй, им не позавидуешь.

– Перестань, Итен. Нельзя взваливать себе на плечи чужую беду.

– Как видишь, можно.

– Едва ли из тебя когда-нибудь получится бизнесмен. Ты слишком чувствителен, Итен. Ты-то не виноват в этих преступлениях.

– Как знать. Может быть... может быть, мы все виноваты.

– Не понимаю.

– Я и сам не очень понимаю, радость моя.

– Если бы было на кого их оставить.

– Повтори, Коломбина, что ты сказала.

– Как бы я хотела провести праздники вдвоем с тобой. Давно уже так не бывало.

– Да, плохо, когда нет какой-нибудь одинокой пожилой родственницы. Но, может быть, ты что-нибудь придумаешь? Жаль, что нельзя их засолить или замариновать на время. Мэри, мадонна моя, ну постарайся придумать что-нибудь. До смерти хочется побыть с тобой вдвоем в незнакомом месте. Мы гуляли бы в дюнах и купались бы ночью голые, и я бы тормозил тебя на ложе из папоротников.

– Милый мой, хороший, я все понимаю. Я знаю, как тебе трудно. Не думай, что я не знаю.

– Ладно, прижмись ко мне крепче. Давай думать вместе.

– Ты все еще дрожишь. Тебе холодно?

– Мне и жарко и холодно, я и полон и пуст... и я очень устал.

– Я придумаю что-нибудь. Непременно придумаю. Конечно, я их люблю, но все-таки...

– Да, а я бы спокойно надел галстук-бабочку...

– Если их посадят в тюрьму...

– Это, пожалуй, был бы выход.

– Нет, я о тех людях. Их посадят, как ты думаешь?

– Нет. В этом нет надобности. Суд присяжных будет не раньше того вторника, а в четверг выборы. На это и расчет.

– Итен, что за цинизм. Тебе это не свойственно. Мы обязательно должны уехать, раз уж ты становишься циником, а ты не шутил, я по твоему тону слышу. Я знаю, когда ты шутишь. Сейчас ты говорил всерьез.

Я испугался. Неужели по мне заметно что-то? Этого ни в коем случае нельзя допустить.

– Мышка-мышка, выходи за меня замуж!

И Мэри отвечала:

– Хо-хо! Хо-хо!

Меня мучил страх: вдруг по мне что-то заметно. Я давно уже не верил, будто глаза – зеркало души. Не раз мне встречались в жизни отъявленнейшие стервы с ангельским личиком и глазками. Есть, конечно, люди, от природы наделенные способностью видеть человека насквозь, но таких очень мало. А вообще люди редко интересуются

чем-нибудь, кроме самих себя. Мне врезалась в память история, которую я как-то слышал от одной канадки шотландского происхождения. Когда она была девочкой-подростком, ей, как и всякому подростку, постоянно казалось, что все на нее смотрят, причем неодобрительно, и от смущения она то и дело краснела и ударялась в слезы. Однажды ее дед, старый шотландец, видя ее мучения, сказал сердито: «И чего ты расстраиваешься, что, мол, люди думают о тебе плохо? Да они о тебе вовсе не думают!» Это ее сразу излечило, а я после ее рассказа тоже стал как-то увереннее в себе, потому что старик был совершенно прав. Но вот Мэри, которая обычно живет за завесой из цветов, ею самой выращенных, услышала же что-то, чем-то на нее повеяло. Здесь крылась опасность – ведь завтрашний день еще впереди.

Если бы мой план возник сразу и во всех подробностях, я счел бы его нелепицей и выбросил из головы. Взрослые люди так не поступают, но взрослые люди часто играют в тайные игры. У меня это началось с того дня, когда Джой изложил мне правила ограбления банка. Игра скрашивала скуку моей работы, а дальше все так удивительно хорошо в ней укладывалось – Аллен со своей маской, неисправный бачок в уборной, заржавленный револьвер, приближающийся праздник, бумага, которую Джой заталкивал в дверной замок. Играя, я рассчитывал время, репетировал, примерялся. Но ведь и бандит, отстреливающийся от полиции, был когда-то мальчишкой и стрелял из пугача, да так набил себе руку, что обидно было бы не приложить потом это искусство к делу.

Мне трудно сказать, когда именно моя игра перестала быть игрой. Может быть, когда я понял, что могу стать владельцем лавки и что для ведения дела понадобятся деньги. И потом – соблазн испытать на практике так безупречно разработанный план. А что до преступности этого плана, так ведь это преступление против денег, не против людей. Никто не пострадает. Деньги застрахованы. Преступно было бы, что касалось людей – Дэнни, Марулло. Если я это мог сделать, то кража – пустяки. К тому же все это на один раз. Больше это никогда не повторится. А вся подготовка, аксессуары, расчет времени – все было разработано до мельчайших деталей прежде, чем это перестало быть игрой. Мальчишка с пугачом вдруг ощутил в руке настоящее оружие.

Конечно, известный риск тут был, но ведь рискуешь и тогда, когда переходишь улицу, или даже просто прогуливаешься под деревьями. Мне кажется, страха я не испытывал. Я его изжил в многочисленных репетициях, осталось только легкое волнение, похожее на то, что чувствует актер, стоя за кулисами в день премьеры. И как в настоящей, серьезной игре, все возможные осложнения были заранее учтены и предупреждены.

Против ожиданий, я спал очень крепко, без снов и даже проспал. Я рассчитывал провести предрассветный час в успокаивающем нервы раздумье. Однако, когда я раскрыл глаза, хвост коровы у озера был виден так ясно, что, должно быть, уже с полчаса как рассвело. Меня вдруг подбросило на кровати, словно взрывной волной. При таком пробуждении, бывает, все тело сводит судорога. Даже Мэри проснулась от толчка и спросила:

– Что случилось?

– Я проспал.

– Глупости. Еще рано.

– Нет, мой плюсквамперфектум. У меня сегодня гала-день. Страсть к бакалее овладела миром. А ты не вставай, пожалуйста.

– Тебе надо поплотнее позавтракать.

– А я знаешь что сделаю? Возьму в «Фок-мачте» кофе навынос и, как голодный волк, наброшусь на запасы Марулло.

– Обещаешь?

– Обещаю, мышка-норушка, а ты лежи и думай, как бы нам все-таки избавиться на эти два дня от наших обожаемых деток. Нам это просто необходимо. Seriously.

– Я и сама знаю. Попробую еще подумать.

Я быстро оделся и ушел, не дав ей времени наградить меня еще какими-нибудь полезными советами насчет моего здоровья и благополучия.

Джой сидел в кафе и, увидев меня, приглашающим жестом хлопнул по соседнему табурету.

– Не могу, Морфи. Поздно. Анни, можешь отпустить мне кварту кофе в картонной посуде?

– Кварту – нет. Две пинты, если хочешь.

– Ничего. Это даже лучше.

Она налила кофе в два картонных стаканчика, закрыла их крышками и поставила в бумажный мешочек.

Джой допил свой кофе и вышел вместе со мной.

– Вам сегодня придется служить обедню без епископа?

– Да, видно, так. Что вы скажете о вчерашних новостях?

– Все никак не переварю их.

– Говорил я вам, что чую неладное.

– Да, я об этом вспомнил, когда слушал радио. У вас тонкий нюх.

– Это профессиональное. Теперь Бейкер мог бы спокойно вернуться. Не знаю только, вернется ли.

– Бейкер?

– А вам ничего не приходит в голову?

Я беспомощно поглядел на него.

– Чего-то я, видно, не додумываю, а чего, сам не знаю.

– Господи боже мой!

– Удивляетесь моей недогадливости?

– Вот именно. Закон клыков еще не отменен.

– Ах ты, господи! Видно, я очень многого не могу додумать. Между прочим, я забыл, вы, кажется, любите, чтоб и салат был и майонез?

– Да, и то и другое. – Он сорвал целлофановую обертку с пачки сигарет «Кэмел» и, скомкав ее, сунул в дверной замок.

– Ну, я пошел, – сказал я. – У нас сегодня объявлена распродажа чая. Предъявивший крышку от ящика получает в премию ребенка. Нет ли у вас знакомых дам?

– Есть, конечно, но едва ли они соблазнятся подобной премией. Не трудитесь приносить сэндвичи, я сам зайду.

Он затворил дверь за собой, и я не услышал щелканья замка. Надеюсь, Джой никогда не узнает, что он был моим учителем, и превосходным учителем. Он не только изложил мне теорию, он подкрепил ее наглядным уроком и, сам того не ведая, расчистил мне путь.

Все специалисты, все, кто разбирается в таких вещах, утверждают, что только деньги делают деньги. Самый простой путь – всегда самый лучший. Вся сила моего плана заключается в его необыкновенной простоте. Но, наверно, он так и остался бы навсегда в моем воображении, если бы случайно Марулло не шагнул сослепу на

край пропасти. Когда мне сделалось ясно, что я, может быть, стану владельцем лавки, – вот тогда и только тогда все мои фантазии обрели почву. У непосвященного мог бы возникнуть вопрос: если лавка будет моя, зачем же мне тогда деньги? Мистер Бейкер бы такого вопроса не задал, и Джой тоже, не говоря уже о Марулло. Иметь лавку, не имея капитала, – хуже, чем совсем не иметь лавки. Аппиева дорога банкротства окаймлена могилами необеспеченных предприятий. У меня там уже одна могилка есть. Самый глупый военачальник не бросит все свои силы на прорыв, зная, что у него нет ни резервов, ни минометов, ни подкреплений, а вот некоторые незадачливые дельцы именно так поступают. Правда, задний карман моих брюк оттопыривала объемистая пачка переписанных купюр – денег Мэри, но большая часть из них должна перейти в карман Марулло. И вот подойдет первое число следующего месяца. Оптовые фирмы не так уж рвутся предоставлять кредит предпринимателям, еще не успевшим себя зарекомендовать. Вот почему мне нужны будут деньги, те самые деньги, что сейчас дожидаются меня за тикающей стальной дверью. Как их добыть – задача, которая до сих пор решалась только в моих снах наяву, – казалась теперь вполне разрешимой. Что грабеж – это преступление, смущало меня очень мало. Насчет Марулло моя совесть тоже была спокойна. Сейчас он жертва, но при других обстоятельствах сам не задумался бы так поступить. Только мысль о Дэнни тревожила меня, хоть я и знал наверняка, что песенка Дэнни все равно спета. Разве не служила мне полным оправданием неудавшаяся попытка мистера Бейкера сделать с ним то, что сделал я? И все-таки мысль о Дэнни была как открытая рана – открытая рана, боль которой преодолеаешь, когда победа близка. С этой раной мне теперь придется жить, но, может быть, со временем она зарубцуется или обрастет забвением, подобно тому как осколок снаряда обрастает хрящом.

Сейчас главное – деньги, а тут все подготовлено и выверено, как самый точный механизм.

Наука Морфи пошла мне впрок, я усвоил его правила и даже прибавил еще одно от себя. Первое: не иметь ничего порочащего в прошлом. За мной ничего и нет. Второе: никаких сообщников или доверенных. Об этом и речи быть не может. Третье: никаких дамочек. Из моих знакомых разве только Марджи Янг-Хант подходит под эту

категорию, а я отнюдь не собираюсь пить шампанское из ее туфли. Четвертое: не козырять деньгами. Я и не намерен. Я буду тратить деньги понемногу, оплачивая ими счета поставщиков. Место для хранения я уже придумал. На дне коробки, где лежит моя шляпа храмовника, сделано возвышение из папье-маше, обтянутое бархатом, по размеру и форме моей головы. Я уже отделил его от дна и намазал края цементной пастой, чтобы потом мгновенно приклеить на прежнее место.

Затем – маска Микки-Мауса. Она закроет все лицо, так меня не узнают. Старый прорезиненный плащ Марулло – все эти бежевые плащи выглядят одинаково – и пара целлофановых перчаток, которые одним движением снимаются с руки. Маска была вырезана еще несколько дней назад, а коробка вместе с корнфлексом спущена в канализацию, куда впоследствии отправится и маска с перчатками. Старый «айвер-джонсон» с серебряной насечкой вычернен ламповой сажой, и в уборной стоит наготове банка со смазочным маслом, куда он будет засунут, а затем при удобном случае передан Стони.

Я прибавил еще одно заключительное правило: не жадничай. Не хватай слишком много и остерегайся крупных купюр. Шесть – десять тысяч, предпочтительно десятками и двадцатками, – вполне достаточно, и удобно хранить и тратить. Коробка от торта, что стоит на холодильнике, послужит подменной тарой; как только все будет закончено, она вернется на свое место и в ней опять будет торт. Я пробовал изменять свой голос с помощью чревовещательной трубки Аллена, но потом решил, что лучше обойтись без слов, одними жестами. Все наготове, ничего не забыто.

Я даже пожалел, что мистера Бейкера нет в городе. Будут только Морфи, Гарри Роббит и Эдит Олден. Время было у меня рассчитано до долей секунды. Без пяти девять я поставлю метлу у входа. Дальше все репетировалось уже множество раз. Подвернуть полы фартука, повесить гирию к цепочке в уборной, чтобы вода все время лилась. Всякий, кто войдет в лавку, услышит шум воды и сделает соответствующее заключение. Плащ, маска, коробка от торта, револьвер, перчатки. Как только начнет бить девять – перейти переулок, толкнуть дверь, надеть маску и войти в ту секунду, как загудит часовой механизм и Джой распахнет дверцу сейфа. Наставить револьвер, жестом приказать всем троим лечь на пол. Сопротивления

не будет. Джой ведь говорил: деньги застрахованы, а он нет. Взять деньги, положить в коробку от торта, вернуться к себе, спустить в унитаз маску и перчатки, бросить револьвер в банку со смазочным маслом, повесить плащ. Фартук вниз, деньги в шляпную коробку, торт на место, метлу в руки, и когда поднимется шум – как ни в чем не бывало подметать тротуар у всех на глазах. Все за одну минуту и сорок секунд – рассчитано, выверено и проверено. Но, как ни тщательно я все обдумал и рассчитал, у меня немножко захватывало дух, когда я подметал лавку перед тем, как отпереть двойную уличную дверь. Фартук я надел вчерашний, мятый, чтобы не бросались в глаза новые сгибы.

И вот, поверите ли, время перестало двигаться, как будто новый Иисус Навин остановил-таки солнце. Минутная стрелка отцовского хронометра застряла на месте.

Давно уже я не обращался вслух к своей пастве, но в это утро обратился – должно быть, от волнения.

– Друзья мои, – сказал я, – то, чему вы сейчас станете свидетелями, должно остаться в тайне. Я знаю, что могу рассчитывать на ваше молчание. Если у кого-нибудь есть сомнения нравственного порядка, прошу сомневающегося покинуть собрание. – Я помолчал. – Нет таких? Тем лучше. Но если я вдруг узнаю, что какая-то банка устриц или кочан капусты позволили себе обсуждать это происшествие с посторонними, виновного ждет казнь через посредство столовой вилки. Так и знайте. А теперь я желаю выразить вам свою признательность. Много лет мы с вами смиренно возделывали этот чужой виноградник, где я был таким же слугой, как и вы. Теперь положение изменится. Отныне я становлюсь здесь хозяином, но обещаю быть хозяином добрым, снисходительным и чутким. Срок подходит, друзья мои, занавес поднимается, прощайте. – И когда я с метлой в руках шел к дверям, я услышал свой собственный голос, взывавший: «Дэнни, Дэнни! Оставь меня, не терзай!» И такая сильная судорога передернула все мое тело, что мне пришлось постоять секунду, опершись на метлу, прежде чем отпереть дверь.

На отцовском хронометре короткая, толстая часовая стрелка указывала на девять, а длинная, тонкая минутная не дошла до двенадцати ровно на шесть минут. Я слышал, как сердце хронометра стучит у меня на ладони.

Глава XV

Этот день был не похож на другие дни, как собаки не похожи на кошек, а те и другие вместе – на хризантемы, или на морской прибой, или на скарлатину. Во многих штатах, в нашем-то во всяком случае, существует закон, по которому в праздничные дни должен лить дождь – специально, чтобы промочить людей до нитки и вконец испортить им настроение. Июльское солнце отбилося от орды маленьких перистых облачков и обратило их в бегство, но с запада, из долины Гудзона, надвигались воинственные полчища темных грозовых туч, вооруженных молниями и уже глухо бормочущих что-то на ходу. Если все пойдет строго по закону, то ливни не прольются до тех пор, пока на шоссе и на пляжах не скопится максимальное количество людишек-муравьишек, одетых по-летнему и по-летнему доверчивых.

Большинство магазинов у нас в городе открывалось в половине десятого. Но Марулло, стараясь урвать хоть на грош побольше, заставлял меня делать фальстарт получасом раньше. От этого, пожалуй, надо будет отказаться. Ничтожной выгодой не окупятся враждебные чувства, которые питают к нам другие торговцы. Марулло об этом не знает, а если и знает, так ему плевать на это. Он иностранец, италяшка, тиран, бандит, кровосос, ублюдок и восемь разновидностей сукиного сына. После того как я загубил своего хозяина, его недостатки и грехи, естественно, так и бросились мне в глаза.

Длинная стрелка отцовского хронометра медленно ползла по кругу, и я поймал себя на том, что мету ожесточенно, напрягая мускулы, в ожидании той минуты, когда моя задача потребует от меня быстроты и слаженности всех движений. Я дышал ртом, желудок поджимало к самым легким, как бывало на фронте перед боем.

Для субботнего утра да еще перед Четвертым июля народу на улице было маловато. Вот появился какой-то неизвестный мне старик с удочкой и зеленым пластмассовым ящичком для рыболовных принадлежностей. Идет к городской пристани и просидит там весь день, закинув в воду леску с несвежей наживкой на крючке. Он даже не взглянул на меня, но я заставил его обратить на себя внимание:

- Желаю удачи. Ловись рыбка большая.
- У меня никогда ничего не ловится.

– Иной раз окуня вытянешь.

– Сомневаюсь.

Ярый оптимист, но по крайней мере я запустил крючок в его память.

А вот и Дженни Сингл плывет по тротуару. Походка у Дженни такая, будто у нее ролики вместо ног. Во всем Нью-Бэйтауне не найти, пожалуй, менее надежного свидетеля. Как-то раз Дженни открыла кран духовки, а газ не зажгла. Не миновать бы ей взорваться и взлететь на воздух, да только она никак не могла вспомнить, где у нее спички.

– С добрым утром, мисс Дженни.

– С добрым утром, Дэнни.

– Я – Итен.

– Ну да, конечно. Хочу испечь пирог.

Я попытался оставить зарубку у нее в мозгу:

– Какой?

– Да сама не знаю, потому что ярлычок с пакета отклеился.

Если мне потребуется свидетель, лучше и не придумаешь! Но почему она сказала «Дэнни»?

Обрывок фольги никак не поддавался моей метле. Пришлось нагнуться и подцепить его ногтем. А банковские мышки осмелели – рады, что кота Бейкера нету. Вот их-то мне и нужно. Было без нескольких секунд девять, когда они выскочили из кафе и что есть духу побежали через дорогу.

– Ходу, ходу! – крикнул я, и они смущенно улыбнулись, атакуя двери банка.

Теперь пора. Не надо думать обо всем сразу – шаг за шагом, и каждый шаг – в отведенную ему секунду, как было рассчитано. Я заставил свой нервический желудок опуститься туда, где ему и надлежит быть. Теперь – поставить метлу у дверного косяка, на самом виду. Движения у меня были размеренно-быстрые, но не суетливые.

Уголком глаза я увидел на улице машину и остановился, пропуская ее мимо.

– Мистер Хоули!

Я повернулся назад всем телом, как это делают в кино загнанные в угол гангстеры. Запыленный темно-зеленый «шевроле» скользнул к тротуару, и из него – силы небесные! – вылез тот франтоватый чиновник из Нью-Йорка. Твердая земля дрогнула подо мной, точно

отражение в воде. Остолбнев, я смотрел, как он идет прямо на меня. Мне казалось, что на это понадобилась вечность, а на самом деле – миг, и все было кончено. Возведенное мной совершенное здание рассыпалось прахом у меня на глазах, точно давно похороненный труп при соприкосновении с воздухом. Я хотел кинуться в уборную и проделать все остальное, как было задумано. Нет! Ничего не выйдет. Закон Мэрфи не подлежал отмене. В такую минуту думаешь, вероятно, со скоростью света. Трудно отказаться от плана, который долго вынашивал, проверяя на себе раз за разом, так что выполнение его казалось только очередной проверкой, но я его отверг, отбросил, поставил на нем крест. Выбора у меня не было. И в голове со скоростью света пронеслась мысль: «Слава богу, что он не пришел минутой позже. Это была бы та самая роковая случайность, о которой пишут в детективных романах».

А тем временем молодой человек деревянной походкой вышагивал по тротуару – раз, два, три, четыре шага. Что-то, наверно, было по мне заметно.

– Что с вами, мистер Хоули? Вы больны?

– Живот схватило, – сказал я.

– Это с каждым может случиться. Бегите, бегите. Я подожду.

Я кинулся в уборную, закрыл за собой дверь и дернул цепочку, чтобы зашумела вода. Света я не зажег. Я сидел в темноте. Мой судорожно трепыхающийся желудок не подвел меня. Не прошло и минуты, как мне действительно понадобилось, и я опростался, и мало-помалу тугая пульсация внутри утихла. К своду законов Мэрфи добавился еще один подпункт: в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств менять план – немедленно.

Со мной и раньше так бывало, что в критических положениях или в минуты большой опасности я словно вылезал из собственной шкуры, становился поодаль и с интересом стороннего наблюдателя следил за самим собой, за каждым своим жестом, за ходом своих мыслей, оставаясь совершенно спокойным. Сидя в темноте, я видел, как тот – другой – сложил вчетверо свой идеальный план, сунул в ящик, захлопнул крышку и убрал его не только с глаз долой, но и из памяти вон. Другими словами, когда я встал в темноте, застегнулся, оправил фартук и взялся за ручку тонкой фанерной двери, я был просто продавец в бакалейной лавке, которому предстоял хлопотливый день.

И это не для конспирации. Так было на самом деле. Я недоумевал, что ему от меня нужно, этому молодому человеку, но при этом испытывал легкое беспокойство – тень застарелого чувства страха перед полицией.

– Вам пришлось ждать, простите, – сказал я. – Сам не знаю, отчего это меня так скрутило.

– Сейчас поветрие, такой вирус ходит, – сказал он. – То же самое было с моей женой на прошлой неделе.

– Ну, этот вирус, наверно, с дубинкой. Я еле добежал. Чем могу служить?

Вид у него сразу стал смущенный, извиняющийся, чуть ли не пристыженный.

– Странное дело, на что иной раз способен человек, – начал он.

Я преодолел в себе желание сказать «Всякое бывает», и слава богу, что не сказал, потому что следующие его слова были:

– На нашей работе чего только не бывает.

Я зашел за прилавок и ногой закрыл крышку кожаной коробки от шляпы и облокотился на прилавок.

Как странно! Пять минут назад я смотрел на себя глазами других людей. Так было надо. Мне было важно знать, что́ они видят. И пока этот человек шел по тротуару, он казался мне огромной, мрачной, беспросветной судьбой, врагом, людоедом. Но сейчас, когда затея моя была запрятана в дальний угол и уже не существовала как часть меня самого, я увидел в этом человеке нечто иное – уже не связанное со мной ни к добру, ни к худу. Он был, пожалуй, моих лет, но какого-то особого склада, особой выучки, может быть, даже особых убеждений. Впалые щеки, волосы подстрижены ежиком, сорочка из белой рогожки, уголки воротничка на пуговицах, галстук – по выбору жены, и она, конечно, поправила узел и подтянула концы, перед тем как супруг ее вышел из дому. Костюм у него был темно-серый, ударяющий в черноту, ногти без маникюра, но аккуратно подстриженные, на левой руке золотое обручальное кольцо, в петлице узенькая ленточка – намек на орден, который он не носит. Рот и темно-голубые глаза приучены выражать твердость, и тем более странно, что твердости в них сейчас ни на йоту. Будто в нем проткнули дыру. Это был совсем не тот человек, который несколько месяцев назад выкладывал передо мной

свои вопросы, словно квадратные стальные брусья на равном расстоянии один под другим.

– Вы здесь уже были, – сказал я. – Вы откуда?

– Из министерства юстиции.

– Правосудие творите?

Он улыбнулся.

– Да, по крайней мере льщу себя такой надеждой. Но сегодня я здесь неофициально... и даже не уверен, что в отделе одобрили бы эту мою поездку. Но у меня сегодня свободный день.

– Чем могу служить?

– Дело довольно сложное. Просто не придумаю, с чего начать. Уж очень непривычно. Знаете, Хоули, я служу двенадцать лет и первый раз встречаюсь с чем-либо подобным.

– Если вы скажете, в чем все-таки дело, может, я помогу вам.

Он опять улыбнулся.

– И слов не подберу. Я три часа просидел за рулем, а мне ведь обратно в Нью-Йорк ехать, да еще вечером, когда на шоссе бог знает что творится.

– Да, это не шутки.

– Вот именно.

– Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Уолдер?

– Ричард Уолдер.

– Мистер Уолдер, меня, того и гляди, начнут осаждать покупатели. Не понимаю, почему до сих пор их нет. Огромный спрос на сосиски и горчицу. Так что выкладывайте поскорее. Мне что-нибудь грозит, какие-нибудь неприятности?

– На моей работе с какими только типами не встречаешься. Бандиты, лгуны, жулики, хапуги, глупые, умные. Иной раз терпение вот-вот лопнет, пока найдешь верный тон. Понятно?

– Ничего не понятно. Слушайте, Уолдер, что вы мнетесь? Я не такой уж дурак. У меня был разговор с Бейкером в банке. Вы стараетесь изловить моего хозяина, Марулло?

– Уже изловили, – тихо сказал он.

– За что?

– Нелегальный въезд. Мое дело маленькое. Мне дают досье, и я выполняю все, что от меня требуется. А судят, решают его участь другие.

– Его вышлют?

– Да.

– А он собирается протестовать? Может, я могу помочь?

– Нет. Протестовать он не хочет. Признал себя виновным. Уедет, и дело с концом.

– Подумать только!

Вошли покупатели, сразу человек семь-восемь.

– Я вас предупреждал! – крикнул я и стал помогать им выбрать, что нужно или что им казалось нужным. К счастью, сосисок и булочек у меня были запасены горы.

Уолдер спросил через головы:

– Сколько стоят пикули?

– Цена на ярлыке.

– Тридцать девять центов, мэм, – сказал он. И пошел взвешивать, завертывать, – упаковывать, подсчитывать. Его рука потянулась мимо меня к кассе, выбила чек. Когда он отошел, я взял кулек из стопки, выдвинул ящик прилавка, прихватил кульком старый револьвер, отнес его в уборную и опустил в банку со смазочным маслом, давно его дожидавшуюся.

– Вы молодцом, справляетесь, – сказал я, вернувшись.

– Работал помощником продавца сразу после школы.

– Оно и видно.

– А разве у вас нет подручного?

– Хочу сына взять, пусть помогает.

Покупатели всегда налетают стайками, а не поодиночке. В промежутках продавец переводит дух в ожидании следующего прилета. И еще одно: если люди работают вместе, острые углы между ними стираются. В армии выяснилось, что, когда белые и черные сражаются рядом против общего врага, они перестают враждовать друг с другом. Мой подсознательный страх перед полицией рассеялся окончательно, как только Уолдер взвесил фунт помидоров и, выписав на пакете столбик цифр, подсчитал сумму.

Наша первая стайка улетела.

– Ну, говорите скорей, что вам от меня нужно, – сказал я.

– Я обещал Марулло съездить сюда. Он хочет передать вам лавку.

– Вы с ума сошли. Простите, мэм. Это я своему приятелю.

– Да? Ну понятно. Так вот, нас пятеро. Трое ребят. Сколько мне взять сосисок?

– Ребятам по пять штук, вашему мужу – три, вам две. Итого двадцать.

– Вам кажется, что они способны съесть по пять сосисок?

– Не мне, а им так кажется. Вы на пикник?

– Угу.

– Тогда возьмите пять лишних, потому что несколько штук обязательно упадут в костер.

– Где у вас затычки для раковин?

– Там сзади, где нашатырь и стиральные порошки.

Так у нас все и шло вперебивку, да иначе и быть не могло. Если отредактировать наш разговор, вычеркнув покупателей, то он был примерно такой:

– Я до сих пор не могу прийти в себя. Делаешь свое дело и большей частью с кем сталкиваешься? С разной сволочью. А если привык возиться с жульем, лгунами и равными прохвостами, то порядочный человек тебя просто наповал уложит.

– Вы говорите, порядочный? Ну, знаете, нашли благотворителя! Мой хозяин такой кремешек, только держись.

– Да, знаю. Мы сами в этом виноваты. Он мне много чего порассказал, и я ему верю. Он выучил, что написано на постаменте статуи Свободы, еще до приезда сюда. Вызубрил наизусть Декларацию независимости. В билле о правах каждое слово горело для него огнем. А потом вдруг – не пускают. Но он все-таки пробрался. Помог ему один добрый человек. Ободрал его как липку и высадил, не доезжая до берега, – добирайся в прибой сам, как хочешь. Он не сразу уразумел, что такое Америка, но потом разобрался, постиг что к чему. «Сколачивай деньги. О себе думай в первую очередь». Постиг, все постиг. Он малый неглупый. О себе в первую очередь и думал.

Все это было пересыпано репликами покупателей, так что связного рассказа не получилось, а так, одни обрывки.

– Вот почему он не очень и огорчился, когда на него донесли.

– Донесли?

– Ну конечно. Долго ли? Звонок по телефону, только и всего.

– А кто же это?

– Поди узнай. Наш отдел – это точный механизм. Нажали кнопку, а дальше уж само собой заработало, как стиральная машина.

– Почему же он не скрылся?

– Устал, так устал, что сил больше нет. И опротивело ему все. Деньги у него есть. Решил вернуться в Сицилию.

– И все-таки я не понимаю, что вы там сказали про лавку?

– Он вроде меня. Я умею обращаться с разным жульем. Такая у меня работа. А порядочный человек портит мне всю механику, и я заношусь невесть куда. Вот так и с ним. Один только человек не пробовал его обсчитывать, надувать, не воровал, не канючил. Марулло пытался научить его, дурня, как надо блюсти свои интересы в нашей свободной стране, но этому простофиле уроки впрок не пошли. Он долго вас побаивался. Все старался понять, в чем ваш рэкет, и наконец понял в чем – в честности.

– А что, если это ошибка?

– Говорит нет, все так и есть. Ему хочется превратить вас в своего рода памятник тому, во что он когда-то верил. Документ о передаче лавки у меня в машине. Вам остается только одно – зарегистрировать его.

– Ничего не понимаю.

– Да я не уверен, что сам понимаю. Вы же знаете, как он говорит, с пятого на десятое. Вот я и попытаюсь перевести вам то, что он пытался мне втолковать. Человек вроде устроен так, чтобы действовать в одном определенном направлении. Если он вдруг меняет его, что-то там портится – и нарезка с винта долой. Словом, плохо дело. Или, говорит, это вроде расчетов за электричество, когда сам себе квитанцию выписываешь. Напутаешь что-нибудь – расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас.

– А вы-то зачем сюда приехали?

– Сам не знаю. Что-то меня погнало... может, тоже, чтобы огонь не погас.

– О господи!

Лавку забило крикливой детворой и потными женщинами. Теперь, пожалуй, до самого полудня не будет ни единой свободной минуты.

Уолдер сходил к машине, вернулся и, разделив надвое волну полетному суматошных женщин, добрался до прилавка. Он положил передо мной толстый пакет, перевязанный шнурком.

– Мне пора. Шоссе так будет запружено, что и за четыре часа не доберусь. Моя жена просто в ярости была. Говорила – подождут. А по моему, с таким делом ждать нельзя.

– Мистер, я уже десять минут жду, когда вы мной займетесь.

– Сию минуту, мэм.

– Я его спросил, что передать, и он сказал: «Пожелайте ему всего хорошего». А от вас что?

– Пожелайте ему всего хорошего.

Волна животов, обтянутых платьями, снова сомкнулась у прилавка. Что же, тем лучше. Я бросил конверт в ящик под кассой и туда же спрятал свою тоску.

Глава XVI

Время шло быстро, и все-таки день казался бесконечным. Лавку надо закрывать, а когда я открывал ее, даже не помню – так давно это было. Только я собрался запереть дверь на улицу, как появился Джой, и, не спрашивая его, я вскрыл банку с пивом и подал ему, а вторую взял себе, чего раньше никогда не делал. Я хотел рассказать Джою о Марулло и о лавке, но не мог, даже тем не мог поделиться, что принял взамен истины.

– Какой у вас усталый вид, – сказал Джой.

– Еще бы! Взгляните на полки – хоть шаром покати. Надо, не надо – все скупили. – Я высыпал выручку в серый холщовый мешок, добавил туда деньги, принесенные мистером Бейкером, сверху положил пухлый пакет и перевязал мешок бечевкой.

– Напрасно вы оставляете это здесь.

– Да, пожалуй. Но я его прячу. Хотите еще пива?

– Хочу.

– Я тоже выпью.

– Вы слишком уж благодарный слушатель, – сказал он. – Я начинаю сам верить в свои рассказы.

– О чем это вы?

– Да о моем сверхъестественном чутье. Вот как раз сегодня оно и проявилось, с самого утра. Наверно, я просто видел сон, но уж очень все было явственно, даже волосы на загривке стали дыбом. Я не то чтобы думал, что на банк совершат налет. Я знал это наверняка. Лежу в постели и знаю – вот так все и будет. Мы затыкаем маленькие клинышки под сигнальные звонки в полу, чтобы не наступить на них нечаянно. И сегодня утром я прежде всего эти клинышки вынул. Такая во мне была уверенность, так я к этому был готов. Ну, как это объяснить?

– Может, кто-нибудь собирался вас ограбить, и вы успели прочитать его мысли, а он взял и раздумал.

– С вами не пропадешь! Человек ошибся, а вы даете ему с честью выйти из положения.

– Ну, а как вы сами все объясняете?

– Ничего не знаю. Наверно, слишком уж я выставлялся перед вами эдаким всезнайкой, пришлось самому в себя уверовать. Но, доложу я вам, здорово меня это взбаламутило.

– Знаете, Морфи, я так устал, что и подметать не могу.

– Не оставляйте здесь выручку. Возьмите ее домой.

– Ладно, будь по-вашему.

– Мне все еще кажется, что где-то что-то неладно.

Я открыл кожаную коробку, в которой лежала мой шляпа с пером, сунул туда мешок с деньгами и затянул на ней ремень. Глядя, как я все это делаю, Джой сказал:

– Съезжу-ка я в Нью-Йорк, возьму номер в гостинице, разуюсь и два дня с утра до вечера буду любоваться из окна водоворотом на Таймс-сквер.

– С той самой?

– Нет, ту я оставил, закажу в номер бутылку виски и девицу. И с девицей и с бутылкой можно не разговаривать.

– Я вам, кажется, рассказывал... мы с Мэри, может быть, уедем на эти дни.

– И правильно. Вам это необходимо. Все у вас готово?

– Нет, кое-что надо еще сделать. А вы поезжайте, Джой. Разуйтесь, побудьте там в одних носках.

Прежде всего надо было позвонить Мэри и сказать ей, что я немного задержусь.

– Хорошо, но все-таки скорее домой, домой, домой. Тебя ждет сюрприз, сюрприз, сюрприз!

– Скажи мне сейчас, прелесть моя.

– Нет. Хочу видеть, какое у тебя будет лицо.

Я повесил маску Микки-Мауса на кассу, так что она закрыла собой маленькое окошечко, где выскакивают цифры. Потом надел плащ и шляпу, выключил везде свет и сел на прилавок, свесив ноги. Справа меня подталкивал в бок оголенный черный банановый стебель, а слева, вроде подпорки для книг, к моему плечу пристроился кассовый аппарат. Шторы на витринах были подняты, позднее летнее солнце силилось проникнуть внутрь сквозь переплет решетки, в лавке стояла тишина – тишина ровного гула, а мне ничего другого и не требовалось. Я пощупал в левом кармане, что там вдавилось мне в бок. Талисман. Я взял свой талисман обеими руками и всмотрелся в него.

Он был нужен мне вчера. Значит, я забыл положить его на место. Может быть, то, что он все еще со мной, не случайно? Не знаю.

И как всегда, стоило мне только повести пальцем по извилине, и я почувствовал себя в его власти. В полдень он бывал розовый, а к вечеру темнел, наливался багряным румянцем, точно в него проникала струйка крови.

Не раздумывать мне было нужно сейчас, а перестроиться, изменить все свои планы, точно я пришел в сад, где за ночь снесли дом. Пока не отстроишься заново, надо найти какое-нибудь более или менее сносное пристанище. Я отвлекался работой, давая всему новому время войти не спеша, чтобы можно было взять это на учет и хорошенько усвоить. Полки, весь день подвергавшиеся нападению, зияли пустотами там, где их оборону взломала голодная орда, – точно у них были выбиты зубы, точно на меня смотрел обнесенный стеной город, выдержавший артиллерийский обстрел.

– Помолимся о тех, кто ушел от нас, – сказал я. – Помолимся о банках кетчупа – боже, как поредели ряды мундиров красных! О храбрых пикулях и обо всех приправах, вплоть до маленьких флакончиков с уксусом. Не в нашей власти воздать им почести... нет, не то. Это мы, живые...^[29] тоже не то, Альфио! Желая вам счастья и избавления от боли. Вы, конечно, ошиблись, но ошибка ваша да послужит вам согревающим компрессом. Вы пошли на жертву после того, как сами стали жертвой.

В лавке то и дело мелькали тени людей, проходивших по улице. Я копнул поглубже среди обломков этого дня, отыскивая там слова Уолдера и его лицо, когда он сказал: «Вроде расчетов за электричество. Напутаешь – расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас». Вот что он сказал, этот Уолдер с его устоявшимся жульническим миром, растревоженный узким лучиком света, который проник туда.

Чтобы огонь не погас. Так ли сказал сам Альфио? Уолдер не запомнил, но он твердо знал, что Марулло хотел сказать именно это.

Я провел пальцем по змейке на моем талисмане и вернулся к ее началу, которое было и ее концом. Какой это древний огонь – три тысячи лет назад предки Марулло поднялись на Палатинский холм в день Луперкуса, чтобы ублажить жертвой римского Пана, защитника стад от волков. И этот огонь не погас. Марулло, итальяшка,

макаронщик, принес жертву тому же божеству, прося о том же. Я снова увидел его голову над жирными складками шеи, над плечами, сведенными болью, увидел эту благородную голову, горящие глаза – и не погасший огонь. И подумал, какой же взнос потребуется с меня и когда его потребуют? Если отнести мой талисман в Старую гавань и бросить в море – достаточно ли будет такого дара?

Я не опустил штор на витринах. В праздничные дни мы так и оставляли их, чтобы полицейский мог заглядывать в лавку. В кладовой было темно. Я запер дверь в переулок и уже вышел на мостовую, как вдруг вспомнил про шляпную коробку на полу за прилавком. Вспомнил, но не вернулся за ней. Пусть остается: что будет, то будет. К концу этого дня, как и следовало ожидать, с юго-востока подул резкий ветер и нагнал тучи, чтобы до костей промочить всех, кто выехал за город. Я решил, что во вторник надо поставить тому серому коту молока и пригласить его к себе в лавку.

Глава XVII

Не знаю, что делается в душе у других людей: ведь мы все разные, хотя в то же время и одинаковые. Могу только догадываться. Но про себя знаю наверняка, что я извиваюсь и корчусь, пытаюсь увильнуть от ранящей истины, а когда наконец деваться от нее некуда, откладываю попечение о ней на время, в надежде, что она сама от меня отстанет. А другие? Может быть, говорят сухим тоном: «Я подумаю об этом завтра, когда отдохну», – а потом погружаются мыслью в вожденное будущее или отредактированное прошлое, точно дети, уже через силу играющие в какую-то игру, лишь бы оттянуть неизбежное «спать пора».

Я тащился домой через минное поле истины. Будущее было засеяно всхожими зубами дракона. И удивительно ли, что мне захотелось причалить к прошлому. Но на моем пути стала тетушка Дебора – бьющий влет стрелок по всякого рода лжи, и глаза у нее были как два горящих вопросительных знака.

Я простоял у ювелирного магазина, разглядывая в витрине оправы для очков и эластичные часовые браслеты до тех пор, пока это было в границах приличий. В недрах сырого ветреного вечера зарождались грозные ливни.

В начале прошлого столетия было много островков любознательности и премудрости, как моя тетушка Дебора. Отчего они становились книгочеями? Оттого ли, что жили в стороне от сильных мира сего, или оттого, что им приходилось подолгу ждать, когда придут домой китобойные суда, ждать иной раз три года, иной раз до конца дней своих, и они обращались к тем книгам, которыми был теперь забит наш чердак. Но лучшей из лучших была моя тетушка Дебора – сивилла, пифия, учившая меня магическим, бессмысленным словам. И, вложив потом в эти слова какой-то смысл, я не перестал ощущать их власть над собой.

«Ма бесвак фор орм тра фэбир вур», – говорила она, и что-то роковое слышалось в этом. И еще: «Сео лео гиф хо плай онбирит авит эрест айр лэдтоу». Слова эти были какие-то волшебные, иначе я не помнил бы их до сих пор.

Мимо меня бочком-бочком, опустив голову, быстро прошел мэр Нью-Бэйтауна, и, поздоровавшись с ним, я услышал отрывистое «добрый вечер» в ответ.

Я почувствовал свой дом, старинный дом Хоули, за полквартала. Вчера вечером он был окутан паутиной уныния, но в этот окаймленный грозой вечер все в нем излучало радостное волнение. Дома, точно опалы, меняют окраску в течение дня. Старушка Мэри услышала мои шаги на дорожке и мелькнула в дверях, как язычок огня.

– А вот не догадаешься! – сказала она и вытянула руки ладонями внутрь, точно придерживая большой сверток.

Те слова все еще были со мной, и я сказал:

– Сео лео гиф хо плай онбирит авит эрест айр лэдтоу.

– Ближко, но не совсем.

– Какой-то неизвестный поклонник преподнес нам динозавра.

– Нет, не отгадал, но моя новость ничуть не хуже. А скажу я тебе только тогда, когда ты умоешься, потому что такие вещи надо выслушивать чистеньким.

– Пока что я слушаю любовную песнь краснозадого павиана. – И это была чистая правда – песнь неслась из гостиной, где Аллен терзал свою душу бунтарством: «Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь». – Знаешь что, ангел мой небесный, я сейчас его подожгу.

– Нет, не посмеешь. Особенно когда тебе все будет сказано.

– А нельзя сказать, пока я еще грязный?

– Нет.

Я вошел в гостиную. Мой сын ответил на мое приветствие с тем осмысленным выражением лица, какое бывает у человека, когда он жует резинку.

– Надеюсь, твое бедное верное сердце подобрали с полу?

– Чего?

– Не чего, а что. Последний раз я слышал, что его грубо растоптали.

– Боевик! – сказал он. – Первым номером по всей Америке. За две недели распродано два миллиона пластинок.

– Прекрасно! Значит, твое будущее обеспечено. – Поднимаясь по лестнице, я подхватил припев: – «Мурашки, мурашки от взглядов

милашки, а ты не веришь в мою любовь».

Эллен подкралась ко мне с книжкой в руках, заложенной между страницами пальцем. Я знаю ее повадку. Она задаст мне какой-нибудь вопрос, по ее мнению интересный для меня, а потом как бы невзначай выпалит то, что хотела сказать Мэри. Эллен торжествует, когда ей удастся забежать вперед. Не назову ее сплетницей, но есть за ней такой грех. Я показал ей скрещенные пальцы:

– Чур, молчать!

– Но, папа...

– Чур! Сказано чур, значит, молчать, тепличная гвоздичка. – Я захлопнул за собой дверь и крикнул: – Моя ванная – моя крепость! – И услышал ее смех. Не верю детям, когда они хохочут над моими шутками. Я докрасна натер себе лицо и так яростно чистил зубы, что из десен выступила кровь. Потом побрился, надел чистую рубашку и ненавистный моей дочери галстук-бабочку, как бы подняв знамя восстания.

Моя Мэри вся дрожала от нетерпения.

– Ты просто не поверишь.

– Сео лео гиф хо плай онбирит. Говори.

– Марджи самый верный друг на свете.

– Цитирую: «...Человек, который изобрел часы с кукушкой, умер.

Это не ново, но слышать приятно...»

– Ни за что не догадаешься... Она возьмет детей на свое попечение, чтобы мы с тобой могли уехать.

– Опять какой-нибудь трюк?

– Я ее не просила. Она сама.

– Да эти детки съедят ее заживо.

– Они ее обожают. В воскресенье она повезет их поездом в Нью-Йорк, переночует с ними у одной своей знакомой, а в понедельник поведет их в Рокфеллер-центр смотреть подъем нового флага с пятьюдесятью звездочками, потом будет парад и... и все прочее.

– Не верю своим ушам.

– Как это мило, правда?

– Очень мило. А мы с тобой убежим в Монток, мышка?

– Я уже звонила туда и просила оставить нам номер.

– Все как в бреду. Меня сейчас разорвет на части. Чувствую, как пухну, пухну.

Я хотел рассказать ей про лавку, но слишком большое количество новостей может вызвать несварение. Лучше подождать и выложить ей все это в Монтоке.

В кухню прошмыгнула Эллен.

– Папа, а розового камешка нет в горке.

– Он у меня. Вот здесь, в кармане. Возьми, положи его на место.

– Ты же не велел выносить его из дому.

– И не велю, под страхом смертной казни.

Она чуть ли не с жадностью вырвала у меня талисман и, держа его обеими руками, понесла в гостиную.

Мэри устремила на меня какой-то странный хмурый взгляд.

– Зачем ты его брал, Итен?

– На счастье, родная. И подействовало.

Глава XVIII

Третьего июля, в воскресенье, дождь лил весь день, как и полагалось, и его жирные капли были какие-то особенно мокрые. Мы пробирались по шоссе в извивающемся, точно червяк, потоке машин, немножко важничая и в то же время чувствуя себя беспомощными и потерянными, словно птицы, выпущенные из клетки на волю и испугавшиеся, когда эта воля вдруг показала им свои зубы. Мэри сидела очень прямо, и от нее пахло только что выглаженным полотном.

– Ты довольна? Тебе весело?

– Я все время прислушиваюсь, как там дети?

– Знаю. Моя тетушка Дебора называла это тоской в веселье. Лети, птица моя! Вот эти оборочки у тебя на плечах – это твои крылья, дурочка.

Она улыбнулась и прижалась ко мне.

– Приятно, а все-таки я прислушиваюсь – как там дети? Интересно, что они сейчас делают?

– Все что угодно, только не думают о том, что делаем мы.

– Да, верно. Им это не интересно.

– Так давай перещегооляем их. Я увидел твою трирему, о нильская змейка, и понял: наш день настал. Сегодня вечером Октавиан будет просить хлеба у какого-нибудь греческого пастуха.

– Бог знает что ты болтаешь. Аллен никогда не смотрит, куда идет. Может побежать прямо на красный свет.

– Да, да! А бедная наша хромоножка Эллен. Правда, сердце у нее золотое, и личиком она недурна. Может, кто-нибудь и полюбит ее, а ногу ей ампутируют.

– Ну, дай мне поволноваться немножко. Мне так лучше.

– Блестяще сформулировано. Ну что ж, давай вдвоем представим себе все ужасы, которые могут случиться.

– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.

– Понимаю. Но вы сами, ваше высочество, принесли в нашу семью гемофилию. Она передается по женской линии. В результате у нас с вами двое гемофиликов.

– Ты самый нежный отец на свете.

– Виновен я! Таких скотов не сыщешь, брат, нигде.

– Я тебя люблю.

– Вот такие волнения я одобряю. Посмотри направо. Видишь, как песок маленькими твердыми волнами набегаёт на дорогу из-под вереска и дрока? Дождевые капли ударяются о землю и отскакивают от нее мельчайшими брызгами, как туман. Мне всегда казалось, что здесь похоже на Дартмур или Эксмур, хотя и то и другое я видел только на картинках. Знаешь, первый девонский человек, вероятно, почувствовал бы себя в этих местах как дома. Интересно, призраки здесь бродят?

– Если не бродят, так ты их вполне заменишь.

– Комплименты хороши, когда они от всего сердца.

– Сейчас не до этого. Справа должен быть поворот. Смотри, когда будет указатель с надписью «Муркрофт».

И указатель появился. Эта длинная, узкая, точно веретено, оконечность Лонг-Айленда хороша тем, что почва здесь впитывает в себя дождь и слякоти после этого не бывает.

Нам отвели целый кукольный домик, чистенький, весь в ситчике, с прославленными рекламой супружескими кроватями, пухлыми, точно булочки.

– Это мне не нравится.

– Вот глупый! Они же рядом стоят – дотянуться можно.

– Еще дотягиваться? Это меня не устраивает, непотребная девица!

Обедали мы изысканно – ели мэнские лангусты и пили белое вино – много белого вина, так что у моей Мэри заблестели глаза. А я еще коварно подливал ей коньяку, пока у меня у самого не зашумело в голове. Не я, а она вспомнила номер нашего кукольного домика, и не мне, а ей удалось попасть ключом в замочную скважину. В дальнейшем выпитый коньяк не помешал мне – впрочем, если бы ей не хотелось, ничего бы и не было.

Потом, удовлетворенно потягиваясь, она положила голову мне на правую руку и улыбнулась и негромко протяжно зевнула.

– Тебя что-то тревожит?

– Глупости какие. Ты не успела заснуть, а уже видишь сны.

– Ты так стараешься, чтобы мне было хорошо. Я не пойму, что с тобой? Тебя что-то беспокоит.

Странные, прозорливые минуты – первые ступеньки сна.

– Да, беспокоит. Ну, теперь довольна? Ты никому не рассказывай, но небо обрушилось на землю и кусочек его попал мне на хвост.

Она сладко уснула со своей языческой улыбкой на губах. Я высвободил руку, встал и постоял в проходе между кроватями. Дождь кончился, только с крыш все еще капало, и четвертушка луны поблескивала в миллионах капелек. *Beaux reves*^[30], дорогая моя радость. Только смотри, чтобы небо не упало на нас!

Моя постель была прохладна, но чересчур мягкая, и мне было видно, как четкий месяц бежит сквозь тянущиеся к морю облака. Зловеще закричала где-то выпь. Я скрестил пальцы на обеих руках. Чур меня, хотя бы ненадолго. Двойное чур меня. Ведь на хвост мне упала всего лишь маленькая горошина.

Даже если рассвет пришел в раскатах грома, я ничего этого не слышал. Когда я проснулся, за окном уже золотилось утро, и в нем была бледная зелень папоротника, был темный вереск и красноватая желтизна мокрого песка дюн, а неподалеку, точно листовое серебро, поблескивал Атлантический. Покореженный ствол дуба возле нашего домика приютил у корней лишайник величиной с подушку, весь из ребристых наплывов серовато-жемчужного цвета. Извилистая, усыпанная гравием тропинка вела по кукольному городку к крытому черепицей бунгалу, породившему все эти домики. Там была контора, киоски, где продавались почтовые открытки, сувениры, марки, а также ресторан со столиками, покрытыми скатертями в синюю клетку, за которыми нам, куклам, полагалось обедать.

Управляющий сидел у себя в конторе и проверял какие-то счета. Я заметил его, когда он записывал нас внизу, – лысоватый, не нуждающийся в ежедневном бритье. Взгляд у него был одновременно и бегущий и пристальный, и, глядя на наши веселые физиономии, он, видимо, надеялся, что мы приехали сюда наслаждаться любовью, и из желания угодить ему я чуть было не написал в регистрационной книге: «Мистер Джон Смит с супругой». Его длинный мясистый нос вынюхивал грех, даже, кажется, высматривал, служа, как у крота, органом зрения.

– С добрым утром, – сказал я.

Он повел в мою сторону носом.

– Как спали?

– Прекрасно. Можно мне отнести жене завтрак в номер?

– Мы подаем только в ресторане. С половины восьмого до половины десятого.

– А если я сам понесу?

– Не полагается.

– Нарушим правила разок. Ведь вы сами понимаете... – Последнюю фразу я добавил только для того, чтобы не обмануть его надежд. Я был вознагражден за это. Глаза у него увлажнились, нос дрогнул.

– Смущается, что ли?

– Да ведь вы понимаете?

– Не знаю, как повар к этому отнесется.

– Поговорите с ним и намекните, что родился доллар и тянется на цыпочках к вершинам.

Повар оказался греком и счел доллар вещь весьма соблазнительной. Через несколько минут я вышел на дорожку с огромным подносом, покрытым салфеткой, опустил его на деревянную скамью, а сам стал собирать в букетик микроскопические полевые цветочки, чтобы украсить ими королевскую трапезу моей любимой.

Она, может быть, уже не спала, во всяком случае, веки ее приоткрылись, и она сказала:

– Пахнет кофе! О-о! Какой у меня заботливый муж!.. Да еще цветы! – Милые пустячки, которые никогда не теряют своей прелести.

Мы ели, и пили кофе, и снова пили кофе. Моя Мэри сидела в постели, подложив подушку за спину, и вид у нее был куда более юный и невинный, чем у ее дочери. И мы оба в почтительных тонах говорили о том, как нам хорошо спалось здесь.

Час мой пробил.

– Устройся поудобней. У меня есть новости, они и грустные и радостные.

– Прекрасно! Ты купил океан?

– У Марулло беда.

– Что случилось?

– Много лет назад он приехал в Америку, не имея на то разрешения.

– Ну и что?

– Теперь ему велено уехать.

– Высылают?

– Да.

– Но это ужасно.

– Да, хорошего мало.

– Что же мы будем делать? Что ты будешь делать?

– Кончились наши забавы. Он продал мне лавку вернее, не мне, а тебе. Деньги ведь твои. Ему надо реализовать свое имущество, а я всегда пользовался его благоволением. В сущности говоря, он мне ее почти подарил – всего три тысячи долларов.

– Боже мой! Значит... ты теперь хозяин лавки?

– Да.

– Не продавец? Ты больше не продавец?!

Она уткнулась лицом в подушки и зарыдала. Навзрыд, громко, точно рабыня, с которой сбили ярмо.

Я вышел и сел на кукольное крылечко, дожидаясь, когда она будет готова, и, умывшись, причесав волосы, надев халат, она отворила дверь и позвала меня. Она стала совсем другая и прежней больше никогда не будет. Это и без слов было ясно. Об этом говорила посадка ее головы. Теперь она могла высоко держать голову. Мы снова стали «приличными людьми».

– А мистеру Марулло ничем нельзя помочь?

– Вряд ли.

– Как же это случилось? Кто это обнаружил?

– Не знаю.

– Он хороший человек. Это несправедливо. Как он держится?

– С достоинством. С честью.

Мы гуляли по берегу, как нам мечталось, сидели на песке, подбирали маленькие пестрые раковинки и, конечно, показывали их друг другу, дивились чудесам природы – морю, воздуху, свету, охлажденному ветерком солнцу, точно творец всего этого ожидал наших комплиментов.

Мэри была рассеянна. По-моему, ей хотелось домой насладиться своим новым положением, увидеть, как женщины будут совсем по-другому смотреть на нее, услышать новые нотки в приветствиях знакомых на Главной улице. В ней, кажется, уже ничего не осталось от «бедной Мэри Хоули, которой так трудно живется». Она стала миссис Итен Аллен Хоули – навсегда. И я должен сохранить ее такой. Она отбывала этот день, потому что мы решили провести его здесь, потому

что за него было заплачено, но, перебирая пальцами ракушки, она уже видела перед собой не их, а те яркие дни, что ожидали нас впереди.

Обедали мы в клетчатой столовой, где манеры моей Мэри, ее уверенность в себе разочаровали господина Крота. Его мясистый нос, который так радостно вздрагивал, учуяв греховную связь, теперь свернулся на сторону. И он совсем в нас разочаровался, когда ему пришлось подойти к нашему столику и сказать, что миссис Хоули требуют к телефону.

– Кто может знать, куда мы поехали?

– Как кто? Марджи, конечно! Мне пришлось ей сказать, ведь с ней дети. Ой! Надеюсь, ничего не... Он же не смотрит, куда идет!

Назад она вернулась, вся дрожа, как звездочка.

– Ты никогда не догадаешься. Никогда!

– Уже догадался, что случилось что-то хорошее.

– Она сказала: «Вы слышали новости? Радио слышали?» И я по ее голосу поняла, что новости приятные.

– Да ты скажи, в чем дело, а потом уж будешь о ее голосе.

– Нет, я просто поверить не могу.

– Может, я поверю? Давай попробуем.

– Аллен получил похвальный отзыв.

– Кто? Аллен? Ну, знаешь!

– За конкурсное сочинение... там напisyвали со всей Америки... похвальный отзыв!

– Не может быть!

– Да, да! Всего пять похвальных отзывов... приз – часы и выступление по телевидению. Представляешь себе? У нас в семье знаменитость!

– Нет, не представляю. Значит, его хандра – это одно притворство? Какой актер! Выходит, никто не топтал его бедное верное сердце?

– Перестань насмешничать. Подумай только! Наш сын – один из пяти мальчиков на все Соединенные Штаты получил похвальный отзыв... и по телевидению!

– И часы! А он время умеет узнавать?

– Итен, если ты не перестанешь насмешничать, люди подумают, что ты завидуешь собственному сыну.

– Я просто поражен. Я считал, что у него слог не лучше, чем у генерала Эйзенхауэра. Ведь за Аллена невидимки не пишут.

– Знаю, знаю, Ит. У тебя такая игра – травить их. А на самом деле именно ты их и балуешь. Теперь скажи мне – ты помогал ему писать это сочинение?

– Я? Помогал? Он мне его даже не показывал.

– Ну, слава богу. А то я боялась, что ты станешь задирать нос, потому что сочинение на самом деле твое.

– Нет! Уму непостижимо! Доказывает только, как мало мы знаем собственных детей. А как отнеслась к этому Эллен?

– Себя не помнит от гордости. Марджи так волновалась, что говорить не могла. У него будут брать интервью для газет... и телевидение, он выступит по телевидению! А телевизора у нас нет, и мы даже не сможем посмотреть его. Марджи говорит, чтобы мы пришли к ней. В нашей семье знаменитость! Итен, нужно купить телевизор.

– Купим. Завтра с утра побегу в магазин. Да ведь можно заказать – пришлют.

– Позволить себе такую... Ох, Итен, я забыла, что лавка теперь твоя, совершенно забыла. Нет, ты не понимаешь! Знаменитость!

– Надеюсь, мы сможем жить с ним под одной крышей.

– Дай ему порадоваться. Надо ехать домой. Они возвращаются с поездом семь восемнадцать. Мы должны быть дома, надо же встретить его.

– И испечь пирог.

– Обязательно испеку.

– И развесить гирлянды из гофрированной бумаги.

– Ты это не от зависти?

– Нет. Я потрясен. Гирлянды из гофрированной бумаги – очень красиво. По всему дому.

– Но не снаружи. Это будет уж чересчур. Марджи говорит – может, нам лучше притвориться, будто мы ничего не знаем. Пусть он сам все расскажет.

– Не согласен. Он может обидеться. Выйдет так, будто мы не придаем этому никакого значения. Нет, пусть его ждет парадная встреча – приветственные крики, поздравления и пирог. Вот беда! Все закрыто, а то я купил бы фейерверк.

– А может, где-нибудь в киосках?

– Да, конечно. По дороге домой. Если еще не все распродано...

Мэри вдруг опустила голову, будто читая молитву.

– Ты – хозяин лавки, Аллен – знаменитость. Кто бы мог подумать, что это все случится сразу? Итен, надо скорей ехать. Мы должны быть дома к их возвращению. Почему ты так странно смотришь?

– Меня вдруг ошеломила мысль – как мало мы знаем о других. Даже под ложечкой засосало. Помню, в детстве, на Рождество, надо бы веселиться, а у меня «съешь перца».

– Что-о?

– Это я придумал рифму, когда тетушка Дебора говорила, что у меня приступ Weltschmerz'a^[31].

– А что это такое?

– Это когда по твоей могиле гуси ходят.

– Ах, вот что! Нет, боже избави. Ведь такого дня у нас за всю нашу жизнь не было. Если мы не отметим его как следует, это будет свинство с нашей стороны. Теперь улыбнись и, пожалуйста, не ешь перца. А это смешно. Съешь перца. Поди расплатись. Я буду укладываться.

Я заплатил по счету из тех самых денег, которые были сложены в тугой квадратик, и спросил господина Крота:

– У вас в киоске не осталось шутих?

– Кажется, есть. Посмотрю... Вот, пожалуйста. Сколько вам?

– Все, сколько есть, – сказал я. – Наш сын стал знаменитостью.

– Да? Как это понимать?

– Только в одном определенном смысле.

– Вроде Дика Кларка?^[32]

– Или Чесмена.^[33]

– Вы шутите.

– Он выступит по телевидению.

– По какой станции? Когда?

– Я еще сам не знаю.

– Обязательно послежу. Как его зовут?

– Так же, как меня. Итен Аллен Хоули. Мы его зовем Аллен.

– Для нас это большая честь, что вы и миссис Аллен были у нас.

– Миссис Хоули.

– Да, простите. Надеюсь, вы к нам еще приедете. Здесь перебивало много всяких знаменитостей. Ищут у нас... гм!.. тишины.

Когда мы ехали по золотой дороге домой, медленно двигаясь в переливчатом, извивающемся, как змея, потоке машин, Мэри сидела прямая, гордая.

– Я купил целую коробку шутих. Больше сотни.

– Вот теперь я тебя узнаю, милый. Интересно, Бейкеры вернулись или нет?

Глава XIX

Мой сын держался самым достойным образом. Он не казнил, а миловал нас, у него не было никаких намерений мстить. Награды и почести, а также наши поздравления он принял как нечто должное, не выказав ни тщеславия, ни чрезмерной скромности. Потом, не дождавшись, когда моя сотня шутих догорит до черноты, подошел к своему креслу в гостиной и включил свой приемник. Было ясно, что все наши прегрешения прощены. Я впервые видел, чтобы мальчик его лет с таким тактом принимал обрушившуюся на него славу.

Это был поистине вечер чудес. Если Аллен поразил меня своим неожиданным вознесением на небеса, то не меньше поразила меня Эллен! На основе многолетнего пристального наблюдения я ожидал, что мисс Эллен будет кипеть и бушевать от зависти и подыскивать способы как-нибудь умалить величие брата. Но она обманула меня. Она взяла на себя прославление Аллена. Это она, Эллен, рассказала, как они, проведя упоительный вечер в городе, сидели потом в обставленной с большим вкусом квартире на Шестьдесят седьмой улице и от нечего делать слушали последние известия по телевизору, и вдруг диктор объявил о триумфе Аллена. Это она, Эллен, поведала нам, кто что тогда сказал, и какой у кого был вид, и как они чуть в обморок не упали. Аллен сидел в сторонке и спокойно слушал рассказ сестры о том, что вместе с четырьмя остальными лауреатами он выступит по телевидению и на глазах у миллионов зрителей и слушателей прочтет свое сочинение. В паузах раздавались счастливые охи и ахи Мэри. Я взглянул на Марджи Янг-Хант. Она казалась непроницаемой, как тогда, во время гаданья. И сумрачная тишина вползла к нам в гостиную.

– Ничего не попишешь, – сказал я. – Тут требуется крем-сода со льда на всю компанию.

– Эллен принесет. Где Эллен? Опять она исчезла, как молодой месяц.

Марджи Янг-Хант, явно нервничая, встала с кресла.

– У вас семейное торжество. Я уйду.

– Марджи! Вы тоже в нем участвуете. Куда девалась Эллен?

– Мэри, не заставляйте меня признаваться, что я немножко выдохлась.

– Ну понятно, дорогая. Как это я забыла! А мы так хорошо отдохнули! И все благодаря вам.

– Я сама очень довольна. И рада, что все так получилось.

Ей хотелось уйти, и как можно скорее. Она выслушала благодарность от нас и от Аллена и убежала.

Мэри проговорила вполголоса:

– Мы ничего не сказали Марджи про лавку.

– Ладно, ладно. Зачем обкрадывать Его Румяное Сиятельство? Сегодня он на первом месте. Куда девалась Эллен?

– Она пошла спать, – сказала Мэри. – Это очень тактично с твоей стороны, ты прав, милый. Аллен, сегодня у тебя столько волнений. Пойди ляг.

– Нет, я еще посижу здесь немножко, – милостиво сказал Аллен.

– Но тебе надо отдохнуть.

– Я и так отдыхаю.

Мэри взглянула на меня, ища поддержки.

– Крепись, крепись, час испытанья пробил! Отлупить его? Или же дадим ему возможность восторжествовать и над нами?

– Да ведь он ребенок. Ему надо отдохнуть.

– Ему многое что надо, только не отдых.

– Всем известно, что детям необходим хороший отдых.

– То, что всем известно, большей частью неправильно. Ты когда-нибудь слышала, чтобы дети умирали от переутомления? Нет! Но со взрослыми это случается. Дети народ хитрый. Когда отдых им необходим, тогда они и отдыхают.

– Но уже первый час ночи.

– Правильно, дорогая, и завтра он будет дрыхнуть до двенадцати, а мы с тобой встанем в шесть.

– Что же, ты уйдешь и оставишь его здесь?

– Ему надо отомстить нам за то, что мы произвели его на свет.

– Не понимаю, что ты там несешь. Отомстить?

– Давай заключим пари, а то ты уже сердишься.

– Да, сержусь. Потому что ты говоришь глупости.

– Если через полчаса после того, как мы с тобой ляжем спать, он не проберется тайком к себе в гнездышко, я обязуюсь заплатить тебе

сорок семь миллионов восемьсот двадцать шесть долларов и восемьдесят центов.

И, представьте себе, я проиграл, придется мне платить. Ступеньки скрипнули под ногами нашей знаменитости через тридцать пять минут после того, как мы попрощались с ним на ночь.

– Ненавижу, когда ты оказываешься прав, – сказала моя Мэри. Она собиралась всю ночь не спать, прислушиваясь.

– Да я и не был прав, дорогая. Я ошибся на пять минут. Но я помню себя в его возрасте.

Она тут же заснула. Она не слышала, как Эллен осторожно спустилась по лестнице, а я слышал. Я лежал и всматривался в красные пятнышки, плавающие в темноте. Но я не пошел за ней, так как услышал легкое звяканье медного ключа в замке горки и понял, что моя дочь заряжает свою батарею.

Красные пятнышки что-то уж очень разыгрались. Они шныряли из стороны в сторону и, когда я пытался сосредоточиться на них, исчезали без следа. Старый шкипер избегал меня. Он не являлся мне, с тех пор как... да, с самой Пасхи. Он не то что тетушка Гарриэт – «иже еси на небесех», – Старый шкипер никогда не является мне, если я не в ладах с самим собой. Это служит своего рода мериллом моих взаимоотношений с собственной персоной.

В ту ночь я силой заставил его прийти. Я лег на самый краешек кровати и вытянулся во весь рост. Я напряг все мускулы, особенно мускулы шеи и подбородка, крепко сжал кулаки, вдавил их в живот, и он пришел – я увидел холодные маленькие глазки, седые торчащие усы и наклон плеч вперед, свидетельствующий о том, что когда-то он был очень сильным и нередко пускал в ход свою силу. Я даже заставил его надеть синюю фуражку с маленьким лакированным козырьком и золотой буквой «Х», составленной из двух якорей, – фуражку, которую он почти никогда не носил. Старик сопротивлялся, но я силой привел его и усадил на полуразрушенный парапет у Старой гавани возле Убежища. Я велел ему сесть на груды балластных камней и положил его руки на набалдашник нарваловой трости. Этой тростью можно было сбить с ног слона.

– Мне нужно возненавидеть что-то. Жалеть и понимать – это все ерунда. Я хочу возненавидеть, чтобы избавиться от того, что меня жжет.

Память плодит воспоминание за воспоминанием. Стоит начать с какой-нибудь одной детали, и все оживает, а дальше и пошло, точно кинолента, которую можно крутить как угодно – и вперед и назад.

Старый шкипер ожил. Он протянул вперед свою трость.

– Проведи черту от третьего выступа за волнорезом до мыса Порти, до высшей точки прилива. На полкабельтова вдоль этой черты лежит она – или то, что от нее осталось.

– А сколько это – полкабельтова, сэр?

– Как сколько? Триста футов. Она стояла на якоре, начинался прилив. Два неудачных года. Китового жира мало – половина бочек пустые. Когда она загорелась около полуночи, я был на берегу. Жир вспыхнул так, что весь город осветило будто днем. Пламя достигло чуть ли не мыса Оспри. Подогнать к берегу побоялись – доки займутся. За какой-нибудь час она сгорела до ватерлинии. А ее киль и фальшкиль и теперь там лежат – целые, крепкие. Они были дубовые, и кницы тоже дубовые. а дуб – с Шелтер-Айленда.

– Как начался пожар?

– Не знаю, я был на берегу.

– Кому это понадобилось, чтобы она сгорела?

– Как кому? Хозяевам.

– Вы сами были ее хозяином.

– Только наполовину. Я бы не мог поджечь судно. Посмотреть бы мне сейчас на те шпангоуты... посмотреть бы, в каком они состоянии.

– Теперь ступайте с Богом, сэр.

– Ненависть на этом не вскормишь – мало.

– Все лучше, чем ничего. Дайте мне только разбогатеть, и я подниму ее киль. Сделаю это ради вас. Проведу черту от третьего выступа до мыса Порти в прилив, отложу триста футов вдоль этой черты. – Я не спал. Руки у меня были напряжены. Кулаки стиснуты и прижаты к животу, чтобы Старый шкипер не растаял, но, отпустив его, я сразу уснул.

Когда фараону снился сон, он призывал толкователей и они толковали ему, что случилось и что случится в его царство, и все было правильно, ибо царство его – это был он сам. Когда сны снятся кому-нибудь из нас, мы тоже идем к психоаналитикам, и они объясняют нам, что происходит в стране, которая есть мы сами. Мне психоаналитики

не требовались. Как и большинство современных людей, я не верю ни в пророчества, ни в магию, но чуть не полжизни отдаю тому и другому.

Весной Аллен у нас вдруг затосковал и объявил себя атеистом в отместку Господу Богу и нам, родителям. Я посоветовал ему не хватать через край, потому что, став атеистом, он не сможет плевать через левое плечо при виде черных кошек, бояться ходить под лестницами и загадывать желания при виде молодого месяца.

Люди, которые страшатся своих снов, убеждают себя, что им вообще никогда ничего не снится. Мой сон объяснить нетрудно, но от этого он не станет менее страшным.

Каким-то образом, через кого-то мне передали просьбу Дэнни. Он улетел самолетом и требовал кое-какие вещи, которые я должен был сделать сам. Ему понадобилась шапочка, чтобы подарить Мэри, – темно-коричневая, на меху, из овчины под замшу, как мои старые домашние туфли, с длинным козырьком, как бейсбольная каскетка. И еще ветромер, только не металлический, с маленькими вращающимися чашечками, а самодельный, из тонкого картона, какой идет на почтовые открытки, и чтобы этот ветромер был насажен на бамбуковые палки. Кроме того, он хотел встретиться со мной перед отъездом. Я захватил нарваловую трость Старого шкипера. Она стоит у нас в холле в слоновой ноге, куда ставят зонтики.

Когда нам подарили эту слоновую ногу, я посмотрел на ее большие желтоватые ногти и сказал детям:

– Тот, кто вздумает сделать ей педикюр, получит хорошую порку. Поняли?

Они вняли моей угрозе, и поэтому мне пришлось самому покрасить слоновые ногти ярко-красным лаком, взятым у Мэри с ее гаремного туалетного столика.

Я поехал к Дэнни в «пontiаке» Марулло, и аэропорт оказался нью-бэйтаунским почтамтом. Поставив «пontiак», я положил нарваловую трость на заднее сиденье, и тогда ко мне подъехала полицейская машина с двумя отвратительными полисменами. Они сказали:

- На сиденье класть нельзя.
- Это что, противозаконно?
- Умничать вздумали?
- Нет, просто спрашиваю.

– Так вот, вам говорят: нельзя туда класть.

Дэнни я нашел в задней комнате почтамта. Он разбирал там посылки. На голове у Дэнни сидела замшевая шапка, и он крутил картонный ветромер. Лицо у него было осунувшееся, губы запеклись, а кисти рук толстые, как грелки, точно от пчелиных укусов.

Он встал, протянул мне руку, и моя правая рука погрузилась в теплую резинистую массу. Он дал мне что-то – маленькое, тяжелое и холодноватое, вроде ключа, но это был не ключ, а какая-то металлическая штучка, гладко отполированная и острая по краям. Не знаю, что это было, я не посмотрел, только ощутил на ладони. Я потянулся к нему и поцеловал его в губы и губами почувствовал, какие они у него сухие и запекшиеся. Тут я проснулся, в ознобе, сам не свой. Начинался рассвет. Озеро на картине уже было видно, а корова по колена в воде еще нет, и я все еще чувствовал у себя на губах сухость его запекшихся губ. Я встал сразу, потому что не хотел лежать и думать об этом. Кофе я не стал заваривать, а пошел прямо к слоновой ноге и увидел, что грозная дубинка, именуемая тростью, стоит на месте.

В этот трепетный час рассвета было жарко и душно, потому что утренний ветер еще не поднялся. Серая улица отливала серебром, на тротуаре валялся разный мусор – отходы прожитого людьми дня. «Фок-мачта» была еще закрыта, но мне не хотелось кофе. Я прошел по переулку, отпер боковую дверь, заглянул в лавку и увидел там за холодильником кожаную шляпную коробку. Тогда я вскрыл жестянку с кофе и вылил ее содержимое в мусорную урну. Потом провертел две дырки в банке сгущенного молока, налил немного в порожнюю жестянку, отворил боковую дверь, заклинил ее, чтобы не захлопнулась, и поставил банку на порог. Кот, конечно, торчал в переулке, но к молоку он приблизился только тогда, когда я ушел в лавку. Оттуда мне было видно, как серый кот в сером переулке лакает молоко. Когда он поднял голову от банки, у него были белые молочные усы. Он сел и стал вылизывать себе мордочку и лапки.

Я открыл шляпную коробку и достал оттуда субботние чеки, подколотые один к другому. Потом вынул из желтого банковского пакета три тысячи долларов. Эти три тысячи останутся у меня на всякий случай, до тех пор пока приход и расход в лавке не сбалансируется. Остальные две тысячи долларов надо снова внести на

счет Мэри, а в дальнейшем при первой же возможности вернуть эти три тысячи. Тридцать бумажек я положил в мой новый бумажник, и он оттопырил мне задний карман. Потом я стал выносить из кладовой ящики и коробки, вскрывать их и заполнять товаром опустевшие полки, записывал на листке оберточной бумаги то, что надо заказать. Опорожненную тару я выставил в переулок, откуда ее заберет грузовик, и налил еще молока в кофейную банку, но кот больше не пришел. То ли он наелся, то ли ему нравилось есть только краденое.

Год на год не похож, так же как и день на день: разная погода, разные пути, разные настроения. 1960 год был годом перемен. В такие годы подспудные страхи выползают на поверхность, тревога нарастает и глухое недовольство постепенно переходит в гнев. Так было не только со мной и не только в Нью-Бэйтауне. Нам предстояли президентские выборы, и тревога, носившаяся в воздухе, постепенно сменялась гневом, а гнев поднимал, будоражил. И так было не только в нашей стране – во всем мире зрела тревога, зрело недовольство, и гнев закипал, искал выхода в действии, и чем оно неистовее, тем лучше. Африка, Куба, Южная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток – все дрожало от беспокойства, точно скаковая лошадь перед тем, как взять барьер.

Я знал, что вторник пятого июля будет большой день – больше всех других дней в году. Я будто даже знал наперед, как все сложится, но, поскольку все так и сложилось, проверить меня трудно.

Я будто знал, что амортизированный, на семнадцати камнях мистер Бейкер, который тиканьем отсчитывал время, забарабанит в дверь лавки за час до открытия банка. Так он и сделал еще до того, как я открыл торговлю. Я впустил его и запер за ним дверь.

– Какой ужас! – сказал он. – Я был в отъезде, понятия не имел, что тут происходит, но как только узнал, так сразу приехал.

– О чем это вы, сэр?

– Как о чем? О том, что разыгралось у нас в городе. Ведь это всё мои друзья, мои старые друзья... Надо что-то предпринять.

– До выборов следствия не начнут, только предъявят обвинение.

– Знаю. Но, может быть, нам следует заявить, что мы убеждены в их невиновности. Если понадобится, даже дать платное объявление в газете.

– В какой, сэр? «Бэй-харбор мессенджер» выйдет только в четверг.

– Но что-то надо сделать.

– Да.

Вот такими казенными фразами мы с ним и обменивались. Он, вероятно, знал, что я знаю. И все-таки смотрел мне в глаза и как будто на самом деле был искренне взволнован.

– Если мы ничего не сделаем, на выборах все пойдет вкривь и вкось. Надо выдвинуть новых кандидатов. Ничего другого нам не остается. Тяжело поступать так со старыми друзьями, но кому, как не им, знать, что мы не можем дать волю всякой шустере.

– А вы бы поговорили с ними.

– Они потрясены, они вне себя. У них не было времени обдумать все, что случилось. Марулло вернулся?

– Он прислал человека вместо себя. Я купил лавку за три тысячи долларов.

– Прекрасно. Это очень дешево. А бумаги у вас?

– Да.

– Если он что-нибудь выкинет, номера купюр у меня записаны.

– Ничего он не выкинет. Он сам хочет уехать. Ему надоело все это.

– Я никогда не доверял вашему Марулло. Никогда не знал, где и как он орудует.

– По-вашему, он жулик, сэр?

– Он большой хитрец и всегда двурушничал. Если ему удастся реализовать все свое имущество, он богач. Но три тысячи за лавку – это просто даром.

– Он благоволил ко мне.

– Да, видимо. Кого он прислал, кого-нибудь из мафии?

– Нет, государственного чиновника. Марулло, знаете ли, доверял мне.

Мистер Бейкер схватился за голову – жест совсем не в его духе.

– Как же я сразу не сообразил! Вы, вот кто! Из хорошей семьи, человек положительный, владелец лавки, бизнесмен, всеми уважаемый. Врагов у вас здесь нет. Конечно, вы!

– Что я?

– Кандидат в мэры.

– Бизнесменом я стал только с субботы.

– Вы меня прекрасно понимаете. Вокруг вас мы можем создать новую солидную группировку. Да, это самый лучший выход.

– От продавца бакалейной лавки до мэра?

– Никто никогда не считал Хоули всего лишь продавцом.

– Я сам себя считал. Мэри меня считала.

– Но теперь все по-другому. Мы можем заявить об этом до того, как шушера вылезет вперед.

– Мне надо обдумать это, как следует обдумать, сверху донизу.

– Некогда.

– А кого вы прочили раньше?

– Когда это раньше?

– До того, как муниципалитет погорел. Хорошо, мы с вами потом поговорим. Суббота у меня такая выдалась, что все раскупили. Впору было весы продавать.

– Вы можете хорошо обернуться с этой лавкой, Итен. Советую вам поставить торговлю на более широкую ногу, а потом продать. Вы будете важным человеком в городе, такому неудобно обслуживать покупателей. А как там Дэнни? Слышно о нем что-нибудь?

– Нет. Пока ничего не слышно.

– Напрасно вы дали ему денег.

– Да, пожалуй. Я думал, что делаю доброе дело.

– Конечно, конечно!

– Мистер Бейкер, сэ... Скажите мне, что случилось с «Прекрасной Адэр»?

– Как что случилось? Она сгорела.

– В гавани. Отчего возник пожар, сэ?

– Нашли время спрашивать! Я знаю обо всем этом с чужих слов. Сам был мальчишкой – не помню. Старые корабли насквозь пропитаны китовым жиром. Наверно, кто-нибудь из матросов бросил спичку. Шкипером был ваш дед. Кажется, он находился на берегу. Только что пришел из плавания.

– Плавание было неудачное.

– Да, так рассказывали.

– Страховку трудно было получить?

– Обследование всегда производится. Да, насколько я помню, выдали ее не сразу, но мы, Хоули и Бейкеры, все-таки получили сколько следовало.

– Мой дед считал, что «Прекрасную Адэр» подожгли.

– Господи помилуй, зачем?

– Чтобы получить деньги. Китобойный промысел шел на убыль.

– Никогда не слышал, чтобы он так говорил.

– Не слышали?

– Итен! К чему вы клоните? Почему вы вдруг извлекли на свет божий такую давнюю историю?

– Сжечь корабль – страшное дело. Это убийство. Когда-нибудь я все-таки подниму со дна ее киль.

– Ее киль?

– Я знаю, где он лежит. В полукабельтове от берега.

– Зачем это вам?

– Хочу посмотреть, прогнило дерево или нет. Ведь на «Прекрасную Адэр» пошел дуб с Шелтер-Айленда. Если киль еще жив, значит, она не совсем умерла. Вам, пожалуй, пора идти, если вы хотите благословить открытие сейфа. И мне тоже пора открывать.

Тут колесики у него внутри заработали, и он – тик-так, тик-так – проследовал к себе в банк.

Появления Биггера я, надо думать, тоже ожидал. Ему, бедняге, наверно, то и дело приходилось караулить у дверей. Должно быть, и сейчас сторожил где-нибудь за углом и едва дождался, когда мистер Бейкер уйдет.

– Надеюсь, сегодня вы не будете затыкать мне рот?

– Какая в этом нужда?

– Я понимаю, почему вы тогда обиделись. Я был недостаточно... дипломатичен.

– Может быть.

– Ну как, обмозговали мое предложение?

– Да.

– И что решили?

– Решил, что шесть процентов лучше, чем пять.

– Боюсь, что фирма на это не пойдет.

– Их дело.

– Пять с половиной еще куда ни шло.

– А вторую половину вы от себя добавите.

– Ой-ой-ой! А я-то думал, что имею дело с простачком! Ну и хватка у вас!

– Вот так и не иначе.

– Ну, а какие будут заказы?

– Вон у кассы лежит список, но это еще не все.

Он взял обрывок бумаги, на котором я писал.

– Кажется, подцепили вы меня на крючок. Боюсь, несдобровать мне. А нельзя ли получить сегодня полный список?

– Лучше завтра, и завтра будет полнее.

– Понимай так, что все заказы перейдут к нам?

– Если поладим.

– Да вы, приятель, своего хозяина за горло держите! Сойдет вам это с рук?

– Там видно будет.

– Ну, что ж, до завтра я, может быть, успею заглянуть – к уславе коммивояжеров. А вы, братец, видать, не мужчина, глыба льда. Такая, скажу вам, дамочка!

– Подруга моей жены.

– Вот оно что! Понятно. Слишком близко к дому не разгуляешься. Хитрец вы. Теперь-то уж я это понял. Шесть процентов. Ай-ай-ай! Значит, завтра утром.

– Если успею, может быть, сегодня к концу дня.

– Нет, давайте уж завтра утром.

В субботу покупатели шли пачками. Сегодня, во вторник, темп торговли был совсем другой. Люди не торопились. Им хотелось поговорить о событиях, разыгравшихся в городе. Они восклицали: как это прискорбно, отвратительно, ужасно, позорно, – но вместе с тем упивались всем этим. У нас в городе давно такого не случалось. И хоть бы кто-нибудь обмолвился словом о предстоящем съезде демократической партии в Лос-Анджелесе! Правда, Нью-Бэйтаун республиканский город, но у нас вообще больше интересуются тем, что нам ближе. Тех людей, на могилах которых мы сейчас плясали, каждый из нас хорошо знал.

Часов в двенадцать в лавку вошел Стонуолл Джексон, какой-то усталый, грустный.

Я поставил на прилавок байку с маслом и куском проволоки выудил оттуда револьвер.

– Вот, начальник. Избавьте меня от этой улики. Она мне покоя не дает.

– Протрите его чем-нибудь. Глядите-ка. Ведь это «айверджонсон», старого образца. У вас есть кто-нибудь, кто может побыть в лавке?

– Нет.

– А где Марулло?

– Он уехал.

– Придется вам ненадолго закрыть торговлю.

– Что случилось, начальник?

– Да такое дело... сынишка Чарли Прайора убежал сегодня утром из дому. Чего-нибудь выпить похолоднее у вас не найдется?

– Все что угодно. Оранжед, крем-сода, лимонад, кока-кола?

– Ну, лимонаду. Чарли у нас чудной какой-то. Его сынишке Тому восемь лет. Он решил, что весь мир против него, надо убегать из дому и податься в пираты. Другой на месте Чарли всыпал бы ему горячих, а Чарли – нет. Ну что же вы, откройте лимонад.

– Простите. Вот, пожалуйста. Чарли славный малый, но при чем тут я?

– Да ведь у него не как у людей. Он решил, что лучший способ вылечить Тома от его фантазий – это помочь ему... И вот они позавтракали, закатали подушку в одеяло и наготовили гору всякой еды. Том хотел взять с собой японский меч, на случай если понадобится обороняться, но он длинный, волочится. Помирился на штыке. Чарли сажает его в машину и отвозит за город, чтобы стартовал оттуда. А высадил он его у тейлоровского луга, – там, где раньше была усадьба Тейлоров... вы ведь знаете. Случилось это сегодня часов в девять утра. Чарли не сразу уехал, последил издали за своим сынком. Первое, что тот сделал, это сел и за один присест умял шесть сэндвичей и два крутых яйца. Потом пошел через тейлоровский луг со своим узелком, штык в руке, а Чарли уехал.

Вот оно. Я знал, о чем он, я знал. И вздохнул чуть ли не с облегчением, что наконец одолею это.

– Часов около одиннадцати мальчишка с ревом выбежал на дорогу, остановил какую-то машину, и его подвезли домой.

– Стони, я догадываюсь. Дэнни?

– Что поделаешь... да. В погребе старого дома. Ящик виски, пустых бутылок только две, и склянка со снотворными таблетками. Я сам не рад обращаться к вам с такой просьбой, Ит. Он долго там

пролежал, и что-то у него с лицом. Кошки, наверно, потрудились. Вы не припомните, какие-нибудь рубцы или отметины у него были?

– Я не хочу на него смотреть, начальник.

– Кто захочет? Так как же, рубцы были?

– На левой ноге повыше колена должен быть шрам... он напоролся на колючую проволоку. И еще... – Я засучил рукав. – Еще вот такая же татуировка – сердце. Мы с ним вместе это сделали, когда были совсем мальчишками. Нацарапали рисунок бритвенным лезвием, а потом втерли туда чернила. До сих пор осталось. Видите?

– Да... это годится. А еще что?

– Еще большой шрам на левом боку после удаления части ребра. Он болел плевритом, теперешних средств тогда не было, и ему вставляли дренажную трубку.

– Ну, если удалена часть ребра, тогда этого достаточно. Я даже не пойду туда. Пусть следователь сам побеспокоится, оторвет зад от стула. Вам придется присягнуть насчет этих отметин.

– Хорошо. Только не заставляйте меня смотреть на него. Он... вы же знаете, Стони, мы с ним были друзьями.

– Знаю, Ит. Слушайте, что это говорят, будто вас прочат в мэры?

– Первый раз слышу. Начальник... побудьте здесь минуты две.

– Мне надо идти.

– Две минуты, пока я сбегаяю напротив и выпью чего-нибудь.

– А! Понимаю! Ну конечно! Бегите, бегите! С новым мэром надо ладить.

Я выпил там и еще прихватил бутылку с собой. Когда Стони ушел, я написал на куске картонки печатными буквами: «Вернусь в два», – запер дверь и спустил шторы.

Я сел на кожаную коробку из-под шляпы, стоящую за холодильником, и долго сидел в своей лавке – в своей собственной лавке, окутанной зеленоватым сумраком.

Глава XX

Без десяти минут три я вышел через боковую дверь, завернул за угол и поднялся в банк. Морфи, сидевший в своей металлической клетке, принял в окошечко пачку денег, чеки, желтый пакет и заполненные ордера. Потом, придерживая рогаткой пальцев раскрытые банковские книжки и шурша стальным пером, стал вписывать туда мелкие квадратики цифр. Пододвинув книжки ко мне, он посмотрел на меня, казалось бы, затуманенным, но пристальным взглядом.

– Я не хочу об этом говорить, Итен. Я знаю, что он был вашим другом.

– Спасибо.

– Торопитесь, а то не миновать вам встречи с мозговым трестом.

Но было уже поздно. Кто знает, может, Морфи успел дать сигнал. Дверь с матовым стеклом распахнулась, и мистер Бейкер, аккуратный, поджарый, седенький, спокойно сказал:

– Вы не зайдете ко мне, Итен?

Стоит ли откладывать? Я вошел в его матовый приют, и он так тихо притворил за мной дверь, что даже замок не щелкнул. Стол в кабинете был накрыт стеклом, под которым лежал листок с телефонными номерами. Возле его кресла с высокой спинкой, точно двойняшки-телята, стояли два кресла для посетителей. Они были удобные, но приземистые, немного ниже, чем директорское кресло. Когда я сел, мне пришлось смотреть на мистера Бейкера снизу вверх, и это придало мне просительный вид.

– Печально.

– Да.

– Но не вините одного себя. Вероятно, дело к тому и шло.

– Вероятно.

– Не сомневаюсь, что вы желали добра своему другу.

– Я считал, что это ему поможет.

– Да, конечно.

Ненависть подступала мне к горлу, как желчь, и я чувствовал не столько злобу, сколько отвращение.

– Не говоря о том, что эта гибель трагична и бессмысленна, она влечет за собой некоторые осложнения. Вы не знаете, у него

родственники есть?

– По-моему, нет.

– У тех, кто с деньгами, родственники всегда находятся.

– У него денег не было.

– Но был тейлоровский луг, не заложенный в банке.

– Вот как? Н-да, луг и нора в погребке.

– Итен, я вам говорил, что мы хотим построить аэропорт, который будет обслуживать весь наш округ. Тейлоровский луг совершенно ровный. Если мы не получим его, придется срывать холмы, а эта работа станет в миллионы долларов. Теперь даже если не объявятся наследники, надо будет действовать через суд. На это уйдут месяцы.

– Понятно.

Его прорвало.

– Ничего вам не понятно. Из-за ваших благодеяний этот участок подскочит в цене, к нему и не подступишься. Мне иной раз кажется, что благодетели самые опасные люди на свете.

– Вы, вероятно, правы. Мне пора в лавку.

– Лавка теперь ваша.

– Да, в самом деле! Никак к этому не привыкну. Все забываю.

– Вы не только это забываете. Деньги, которые он от вас получил, принадлежали Мэри. Теперь ей надо проститься с ними. Вы их просто выбросили вон.

– Дэнни любил мою Мэри. Он знал, что деньги ее.

– Слабое утешение.

– Я думаю, что он решил подшутить надо мной. Он дал мне вот это. – Я вынул два листка линованной бумаги из внутреннего кармана пиджака, куда положил их несколько недель назад, зная, что именно при таких обстоятельствах они и будут предъявлены.

Мистер Бейкер расправил листки на стекле, покрывавшем его стол. Он стал читать их, и мускул под правым ухом так у него задрожал, что ухо задергалось. Потом он снова пробежал эти листки, ища, к чему бы придраться. Когда он, сукин сын, поднял на меня глаза, в них был страх. Перед ним сидел человек, о существовании которого он и не подозревал. Ему понадобилась минута, чтобы приспособиться к этому незнакомцу, но он оказался на высоте. И приспособился.

– Сколько вы хотите?

– Пятьдесят один процент.

- Чего?
- Паев в корпорации, или в компании, или что там у вас будет?
- Это смехотворно.
- Вам нужен аэропорт. Единственная подходящая площадка принадлежит мне.

Он тщательно протер очки бумажным носовым платком и снова надел их, но на меня не взглянул. Его глаза ходили по кругу, в котором мне места не было. Наконец он спросил:

- Вы знали, что делали, Итен?
- Да.
- Ну и как вы себя теперь чувствуете?
- Да, вероятно, так же, как чувствовал себя тот, кто явился к нему с бутылкой виски и заставлял его подписать одну бумагу.
- Это он вам сказал?
- Да.
- Он лжец.

– Он и сам этого не отрицал. Он предупреждал меня, чтобы я ему не верил. Может, эти бумаги с каким-нибудь подвохом? – Я легким движением взял со стола две исписанные карандашом помятые страницы и сложил их вдвое.

– Насчет подвоха вы правы, Итен. Эти документы в полном порядке, датированы, засвидетельствованы. Может, он вас ненавидел? Может, подвох в том и состоит, чтобы растлить вас морально?

- Мистер Бейкер, никто из моих родных не поджигал корабля.
- Мы с вами еще поговорим, Итен, мы с вами будем делать дела, делать деньги. На холмах вокруг луга скоро вырастет небольшой городок. Теперь вам непременно придется стать мэром.

– Нет, сэр, не смогу. Столкновение интересов – вещь предосудительная. Несколько человек на своем печальном опыте убеждаются сейчас в этом.

Он вздохнул – вздохнул осторожно, точно боясь потревожить что-то в горле.

Я встал и положил руку на изогнутую кожаную спинку мягкого просительского кресла.

- Вам полегчает, сэр, когда вы притерпитесь к факту, что я не тот симпатичный болван, за которого меня принимают.
- Почему вы не посвятили меня в свои дела?

– Сообщники опасны.

– Значит, вы сознаете, что совершили преступление?

– Нет. Преступление – это то, что совершает кто-то другой. Мне пора открывать лавку, хоть я и хозяин в ней.

Когда мои пальцы коснулись дверной ручки, он негромко сказал:

– Кто донес на Марулло?

– Полагаю, что вы, сэр. – Он взвился с места, но я затворил за собой дверь и вернулся в свою лавку.

Глава XXI

Никто в мире не способен так блеснуть, как моя Мэри, когда надо принять гостей или отпраздновать какое-нибудь торжество. Она переливается всеми огнями, точно бриллиантами и не столько дает что-то празднику от себя, сколько сама от него получает. Глаза у нее искрятся, а улыбающийся рот, готовность рассмеяться подчеркивают, подкрепляют любую, самую убогую шутку. Когда на пороге вечеринки стоит Мэри, все ее участники чувствуют себя и милее и умнее, да так оно и есть на самом деле. И это все, что Мэри дает, а большего от нее и не требуется.

Когда я вернулся на лавки, весь дом Хоули празднично сиял. Гирлянды разноцветных пластмассовых флажков тянулись от люстры к лепному карнизу, опоясывающему стены; маленькие яркие стяги свисали с лестничных перил.

– Ты не поверишь! – крикнула Мэри. – Эллен достала флажки на заправочной станции Стандарт-ойл. Джордж Сэндоу одолжил их нам.

– В честь чего это?

– В честь всего. Все чудно.

Не знаю, слышала она про Дэнни Тейлора или нет. Может быть, слышала и велела ему уйти. Я-то уж, конечно, не приглашал его на наше торжество, но он ходил взад и вперед около дома. Я знал, что позднее мне придется выйти к нему, но в дом его не позвал.

– Можно подумать, что это Эллен получила награду за сочинение, – сказала Мэри. – Вряд ли она так гордилась бы, если бы сама стала знаменитостью. Полюбуйся, какой она торт испекла. – Торт был высокий, белый, и на нем разноцветными буквами – красная, зеленая, желтая, голубая и розовая – было написано «Герой». – К обеду будет жареная курица с подливкой, соус из потрохов и картофельное пюре.

– Прекрасно, дорогая, прекрасно. А где наша юная знаменитость?

– Знаешь, его тоже будто подменили. Он принимает ванну и к обеду переоденется.

– Какой знаменательный день, сивилла! Того и жди, что мул ожеребится или в небе сверкнет новая комета. Ванна перед обедом. Подумать только.

– А ты не переоденешься? У меня есть бутылка вина, и я думала, может, мы разопьем ее как-то поторжественнее, со спичем, с тостом, хотя мы всего-навсего своей семьей. – Она весь дом взбаламутила своим праздничным настроением. Не успел я оглянуться, как уже сам бежал вверх принять ванну и включиться в общее торжество.

Проходя мимо комнаты Аллена, я постучал в дверь, услышал в ответ мычание и вошел.

Аллен стоял перед зеркалом, ловя там свой профиль с помощью ручного зеркальца. Чем-то черным, может быть, тушью для ресниц, взятой у Мэри, он навел себе черненькие усики, подмазал брови, удлинив их к вискам эдаким сатанинским изломом. Когда я вошел, он улыбался в зеркало цинично-многоопытной, обольстительной улыбкой. И на нем был мой синий галстук-бабочка в горошек. Он ни капельки не смутился, что его застали за таким занятием.

– Репетирую, – сказал он, положив зеркало на стол.

– Сынок, в этой суматохе я, кажется, не успел сказать, что горжусь тобой.

– Н-ну... это только начало.

– Откровенно говоря, я думал, что как писатель ты даже слабее президента. Я и удивлен и рад. Когда ты собираешься прочесть миру свой труд?

– В воскресенье, в четыре тридцать, будут передавать по всем станциям. Придется вылететь в Нью-Йорк. Специальным самолетом.

– А ты хорошо подготовился?

– А-а, справлюсь! Это только начало.

– Всего пятеро на всю страну – и ты один из них!

– Будут работать все станции, – сказал он и кусочком ваты стал удалять усы, причем я с удивлением убедился, что у него полный набор косметики – тушь для ресниц, и кольдкрем, и губная помада.

– У нас в семье столько неожиданного, и все сразу. Ты слышал, что я купил лавку?

– Да. Слышал.

– Когда флаги и знамена уберут, мне понадобится твоя помощь.

– То есть как?

– Я тебе уже говорил – будешь помогать в лавке.

– Нет, не смогу, – сказал он и стал разглядывать свои зубы в ручное зеркальце.

– Не сможешь?

– Я буду участвовать в передачах «У нас в студии», «Моя специальность» и «Главный гость». Потом скоро начнут викторину «Пошевели мозгами». Может, даже пустят эту передачу на границу. Так что, сам видишь, времени у меня не остается. – Он смазал волосы какой-то клейкой жидкостью из пластмассового флакона.

– Значит, твоя карьера обеспечена?

– Да вроде так. Это только начало.

– Сегодня я не стану выходить на военную тропу. Мы поговорим об этом в другой раз.

– Тут до тебя все дозванивался какой-то тип из НРК^[34]. Может, они хотят заключить контракт, а я несовершеннолетний.

– А о школе ты подумал, сын мой?

– Нужна она, если заключат контракт!

Я быстро вышел из комнаты и затворил за собой дверь, а в ванной пустил холодной воды и дождался, когда холод проникнет мне глубоко под кожу и остудит сотрясающую меня ярость. И когда я вышел оттуда чистенький, гладенький и благоухающий Мэриными духами, самообладание вернулось ко мне. За несколько минут до обеда Эллен села на подлокотник моего кресла, перевалилась оттуда ко мне на колени и обняла меня.

– Я тебя люблю, – сказала она. – Правда, как интересно? И правда, Аллен молодец? Он будто родился знаменитостью. – И это говорила девочка, которую я считал завистливой и немножко подленькой. Перед десертом я провозгласил тост за нашего юного героя, пожелал ему счастья и закончил так:

– Зима тревоги нашей позади. К нам с *сыном* Йорка лето возвратилось!

– Это Шекспир, – сказала Эллен.

– Правильно, дурашка, а из какой вещи, кто это говорит и когда?

– Понятия не имею, – сказал Аллен. – Это одни зубрилы знают.

Я помог Мэри отнести посуду в кухню. Она сияла по-прежнему.

– Не сердись, – сказала она. – Он еще найдет себя. Все наладится.

Будь терпелив с ним.

– Хорошо, моя чаша Грааля.

– Звонил какой-то человек из Нью-Йорка. Наверно, относительно Аллена. За ним пришлют самолет, подумай только! Никак не привыкну, что лавка теперь твоя. И – это уже разнеслось по всему городу – ты будешь мэром?

– Нет, не буду.

– Я об этом со всех сторон слышу.

– У меня будут дела, которые исключают такую возможность. А сейчас я уйду. Я отлучусь, родная, ненадолго. Мне надо встретиться кое с кем.

– Я, наверно, пожалею, что ты уже не продавец. До сих пор ты вечерами сидел дома. А что, если тот человек опять будет звонить?

– Подождет.

– Он не хочет ждать. Ты поздно вернешься?

– Не знаю. Все зависит от того, как там обернутся.

– Как это грустно – с Дэнни Тейлором. Возьми дождевик.

– Да, грустно.

В холле я надел шляпу и, сам не знаю почему, вынул из слоновой ноги нарваловую трость Старого шкипера. Возле меня вдруг возникла Эллен.

– Можно, я с тобой?

– Нет, сегодня нельзя.

– Я тебя очень люблю.

Я глубоко заглянул в глаза моей дочери.

– Я тоже тебя люблю. И принесу тебе драгоценностей – какие у тебя самые любимые?

Она фыркнула.

– С тростью пойдешь?

– Да, для самозащиты. – Я сделал выпад витой дубинкой, как палашом.

– Ты надолго?

– Нет, ненадолго.

– А зачем тебе трость?

– Для красоты, со страху, из щегольства, угрозы ради. Архаическая потребность в оружии.

– Я буду тебя дожидаться. А можно мне взять розовый камешек?

– Дождаться меня незачем, мое жемчужное зернышко. Розовый камешек? То есть талисман? Конечно, можно.

- Что такое талисман?
- Посмотри в словаре. Как пишется, знаешь?
- Та-лес-ман.
- Нет. Та-лис-ман.
- А ты сам скажи, что это такое.
- Посмотришь в словаре – крепче запомнишь.

Она обхватила меня руками, стиснула и тут же отпустила.

Поздний вечер приник ко мне своей сыростью, влажным воздухом, густым, как куриный бульон. Фонари, прячущиеся среди тучной листвы Вязовой улицы, отбрасывали вокруг себя дымчатые, пушистые ореолы.

Мужчина, занятый на работе, так мало видит мир в его естественном дневном свете. Поэтому и багаж новостей и оценки тех или иных событий он получает от жены. Она знает, где что случилось и кто что сказал по этому поводу, но все это преломляется сквозь ее призму, оттого выходит, что работающий мужчина видит дневной мир глазами женщины. Но вечером, когда его лавка, его контора закрыты, он живет в своем, мужском мире – хотя и недолго.

Мне было приятно держать в руке витую нарваловую трость, почувствовать гладкость ее массивного серебряного набалдашника, отполированного ладонью Старого шкипера.

Давным-давно, когда моя жизнь протекала в дневном мире, я временами пресыщался суетой и уходил в гости к травам. Лежа ничком, близко-близко к зеленым стебелькам, бывший великан сливался воедино с муравьями, тлями, букашками. И в свирепых джунглях трав я забывался, а забвение – это тот же душевный покой.

Сегодня поздно вечером меня тянуло в Старую гавань, в Убежище, где круговорот жизни, времени, приливов и отливов мог бы сгладить мою взъерошенность.

Я быстро вышел на Главную улицу и, пройдя мимо «Фок-мачты», лишь мельком глянул через дорогу на зеленые шторы моей лавки. У пожарной части в полицейской машине сидел весь красный, взмокший как свинья, толстяк Вилли.

- Опять на охоту, Ит?
- Ага.
- Как жалко Дэнни Тейлора. Хороший был человек.
- Да, ужасно, – сказал я и прибавил шагу.

Две-три машины, поднимая легкий ветерок, обогнали меня, но гуляющих на улицах не было. Кому охота обливаться потом, шагая по жаре.

У обелиска я свернул к Старой гавани и увидел издали якорные огни нескольких яхт и рыбачьих судов. Кто-то вышел с Порлока и двинулся мне навстречу, и по походке, по фигуре я узнал Марджи Янг-Хант.

Она остановилась передо мной, загораживая путь. Есть женщины, от которых и в жаркий вечер веет прохладой. Может быть, мне так показалось, потому что ее легкая ситцевая юбка чуть развевалась на ходу.

Она сказала:

– Вы, верно, меня ищете. – И поправила прядь волос, не нуждавшуюся в этом.

– Почему вы так думаете?

Она повернулась, взяла меня под руку и движением пальцев заставила пойти рядом с ней.

– Только такие мне и достаются. Я сидела в «Фок-мачте», видела, как вы прошли, и решила, что вы ищете меня. Обогнула квартал и перехватила вас.

– Откуда вы знали, в какую сторону я пойду?

– Понятия не имею. Знала, и все. Слышите? Цикады. Это к жаре и безветрию. Не бойтесь, Итен, сейчас мы с вами очутимся в тени. Если хотите, пойдём ко мне. Я дам вам выпить – высокий холодный бокал из рук высокой горячей женщины.

Я позволил ее пальцам увести меня под шатер раскидистых кустов жимолости. Какие-то цветочки, невысоко поднявшиеся над землей, желтыми огоньками горели в темноте.

– Вот мой дом – гараж с увеселительным чертогом наверху.

– Почему вы все-таки решили, что я вас искал?

– Меня или кого-нибудь вроде. Вы видели бой быков, Итен?

– Один раз в Арле после войны.

– Меня водил на это зрелище мой второй муж. Он обожал его. А я считаю, что бой быков создан для мужчин, которые трусоваты, а хотят быть храбрецами. Если вы видели бой быков, тогда вам это понятно. Помните, как после работы матадора с плащом бык пытается убить то, чего перед ним нет?

– Да.

– Помните, как он теряется, не знает, что делать, а иной раз просто стоит и будто ждет ответа? Тогда ему надо подсунуть лошадь, не то у него сердце разорвется. Он хочет всадить рога во что-то плотное, чтобы не пасть духом. Вот я и есть такая лошадка. И вот такие мужчины – растерянные, сбитые с толку – мне и достаются. Если они могут всадить в меня рог, все-таки это небольшая победа. Потом можно снова отбиваться от мулеты и шпаги.

– Марджи!

– Стойте! Я ищу ключ. А вы пока нюхайте жимолость.

– Но я только что после победы.

– Вот как? Разорвали плащ в клочья? Затоптали его в песок?

– Откуда вы знаете?

– Я знаю, когда мужчины ищут меня или другую такую Марджи. Осторожнее, лестница узкая. Не стукнитесь о притолоку. Выключатель вот здесь. Увеселительный чертог, мягкое освещение, запах мускуса... и глубь морей, где солнца нет!

– Вы и впрямь колдунья.

– Будто вам это неизвестно! Несчастливая, жалкая захолустная колдунья. Садитесь здесь, у окна. Я включу ветерок, сама пойду и, как говорится, накину на себя что-нибудь легонькое, а потом поднесу вам высокий холодный бокал, чтобы вы прополоскали себе мозги.

– От кого вы слышали это выражение?

– Не догадываетесь?

– Вы хорошо его знали?

– Некую его часть знала. Ту часть мужчины, которую может знать женщина. Иногда эта часть – лучшее, что в нем есть, но только иногда. У Дэнни так оно и было. Он доверял мне.

Эта комната была словно альбом воспоминаний о других комнатах – и там и сям кусочки, обрывки других жизней, как подстрочные примечания. Вентилятор в окне урчал чуть слышным шепотком.

Она вскоре вернулась в чем-то голубом – длинном, свободном, будто пенящемся, и принесла с собой облако духов. Когда я вдохнул этот запах, она сказала:

– Не бойтесь. Мэри не знает, что у меня есть такой одеколон. Вот, пейте – джин и хинная. Хинной я только сполоснула бокал. Это джин,

чистый джин. Если лед поболтать в бокале, будет казаться, что вы пьете холодное.

Я выпил бокал сразу, как пиво, и почувствовал, что сухой жар джина разлился у меня по плечам и побежал вниз, к пальцам, будто покалывая кожу.

– Вот что вам было надо, – сказала она.

– Да, видимо.

– Я сделаю из вас хорошего храброго быка. Немножко сопротивления – так, самую малость, чтобы вы вообразили себя победителем. Быку это необходимо.

Я взглянул на свои руки, все исчерченные царапинами и маленькими порезами – следы вскрывания ящиков, – взглянул на ногти, не слишком чистые.

Она взяла мою трость с кушетки, куда я положил ее, войдя в комнату.

– Надеюсь, вам не понадобится подхлестывать себя?

– Вы мой враг?

– Это я-то, нью-бэйтаунская резвушка, ваш враг?

Я так долго молчал, что ей стало не по себе.

– Спешить некуда, – сказала она. – Времени для ответа у вас достаточно – вся жизнь. Пейте еще.

Я принял у нее из рук налитый доверху бокал, но губы и язык у меня так пересохли, что пришлось отпить немного, прежде чем заговорить, и заговорил я с трудом, будто сквозь какую-то шелуху в горле:

– Что вам от меня нужно?

– А вдруг я настроилась на роман?

– С человеком, который любит свою жену?

– Мэри? Да вы ее совсем не знаете.

– Я знаю, что она нежная, милая и в чем-то беспомощная.

– Беспомощная? Она кремень. Ее еще надолго хватит после того, как ваш моторчик совсем сработается. Она, как чайка, пользуется ветром, чтобы парить в небе и не махать без нужды крыльями.

– Это неправда.

– Грянет большая беда, и ее пронесет сквозь эту беду, а вы сгорите заживо.

– Что вам от меня нужно?

– Неужели вы не сделаете ни малейшей попытки соблазнить меня? Неужели вам не хочется выместить свою ненависть на старушке Марджи?

Я опустил недопитый бокал на столик, но она с быстротой змеи приподняла его, поставила на пепельницу и рукой вытерла мокрый кружок от донышка.

– Марджи! Я хочу узнать, какая вы.

– Не обманете! Вы хотите узнать, что я думаю о ваших подвигах.

– Я только тогда пойму, что вам от меня нужно, когда узнаю, какая вы.

– Надо думать, что вы это всерьез? Всего один доллар за тур. Путешествие по Марджи Янг-Хант с ружьем и фотоаппаратом. Я была милая славненькая девочка, умненькая девочка и довольно никудышная танцовщица. Встретилась с человеком, как говорится, в летах и вышла за него замуж. Он не то что любил меня – он был от меня без памяти. Для умненькой девочки это золотая жила. Танцевать мне не очень хотелось, а работать и вовсе – нож острый. Когда я дала ему отставку, это его так сразило, что он даже не потребовал от судьбы включения пункта о вторичном замужестве. Вышла за другого, и мы с ним так прожигали жизнь, что он не выдержал – умер. Но уже двадцать лет каждое первое число приходит чек. Уже двадцать лет я палец о палец не ударила, только принимала подарки от обожателей. Двадцать лет! Трудно поверить, но так оно и есть. И я уже не та славненькая девочка.

Она сходила в свою крошечную кухню, прямо в руке принесла три кубика льда, опустила их в свой бокал и залила сверху джином. Бормочущий вентилятор внес в комнату запах морских отмелей, обнажившихся с отливом. Она тихо сказала:

– У вас будут большие деньги, Итен.

– Вы всё знаете?

– Самые благородные патриции и те подлецы.

– Продолжайте.

Она широко повела рукой, и ее бокал отлетел к стене, кубики льда покатались по столу, как игральные кости.

– На той неделе моего верного воздыхателя хватил удар. Как только он сыграет в ящик, чеков больше не будет. Я старая, ленивая, и мне страшно. Вы у меня в резерве, но я вам не доверяю. Вы можете

сыграть против правил. Можете вдруг стать честным-пречестным. Говорю вам, мне страшно.

Я встал и почувствовал, что ноги у меня отяжелели, не подкашиваются, а просто отяжелели, и будто они не подо мной, а где-то далеко.

– На что вы рассчитываете?

– Марулло тоже был моим другом.

– Понимаю.

– Вы не хотите лечь со мной? Я хороша в постели. По крайней мере, так мне говорят.

– Нет, не хочу, для этого вас надо ненавидеть.

– Вот потому-то я вам и не доверяю.

– Мы с вами что-нибудь придумаем. Я ненавижу Бейкера. Может, вы его с собой уложите?

– Как вам не стыдно! Джин на вас не действует?

– Действует, когда спокойно на душе.

– Бейкер знает, что вы сделали с Дэнни?

– Да.

– Как он это принял?

– Ничего, спокойно. Но повернуться к нему спиной я бы не рискнул.

– Альфио – вот кто должен был повернуться к вам спиной.

– Что это значит?

– Только то, о чем я догадываюсь. И на чем я могла бы сыграть. Не бойтесь, я ему не скажу. Он мой друг.

– Кажется, я вас понимаю. Вы разжигаете в себе ненависть, чтобы взмахнуть мечом. А меч-то у вас картонный, Марджи.

– Будто мне это не известно! Но я полагаюсь на свое чутье, Ит.

– Ну, поделитесь со мной, что оно вам подсказывает?

– Пожалуйста. Бьюсь об заклад, что десять поколений Хоули будут мордовать вас почему зря, а когда они устанут, вы сами возьметесь стегать себя мокрой веревкой и растравлять раны солью.

– Если это все так, при чем здесь вы?

– Вам понадобится друг, чтобы было перед кем изливаться, а я – единственная, кто пригоден на эту роль. Тайна тяготит, Итен. И вам это не так уж дорого обойдется – какой-нибудь небольшой процент.

– Ну, вот что: я пойду.

– Допейте свой джин.

– Нет, не хочется.

– Не стукнитесь о притолоку, когда станете спускаться, Итен.

На половине лестницы она догнала меня.

– Палку свою вы нарочно оставили?

– Нет, упаси боже!

– Вот она. А я подумала, может быть, это своего рода жертвоприношение?

На улице моросило, а к ночи в дождь жимолость пахнет еще сильнее. Ноги у меня подкашивались, так что нарваловая трость оказалась весьма кстати.

У толстяка Вилли на сиденье автомобиля лежала пачка бумажных полотенец, и он вытирал ими пот с шеи и с лица.

– А я ее знаю! Хотите пари?

– Не хочу проигрывать.

– Слушайте, Ит, тут вас разыскивает какой-то тип в «крайслере», с шофером.

– Что ему надо?

– Не знаю. Спрашивал, не попадались ли вы мне. Я не проболтался.

– Ждите от меня подарок к Рождеству, Вилли.

– Что у вас такое с ногами, Ит?

– Играл в покер. Пересидел.

– А-а, мурашки? Так если он опять мне встретится, сказать ему, что вы пошли домой?

– Пусть приходит в лавку завтра утром.

– «Крайслер-империал». Огромный, собака, длиной с товарный вагон.

На тротуаре у «Фок-мачты» стоял Джой – какой-то вялый, размякший.

– А я-то думал, вы укатили в Нью-Йорк за бутылочкой прохладительного.

– Слишком жарко. Духу не хватило. Пойдемте выпьем, Итен. Что-то я совсем раскис.

– Жарко, не хочется, Морфи.

– А пива?

– Пиво меня еще больше горячит.

– Что это за жизнь! Отбарабанил в банке и податься некуда. И поговорить не с кем.

– Жениться бы вам.

– Тогда уж и вовсе не с кем говорить.

– Может, вы и правы.

– Еще бы не прав. Женатый, да особенно крепко женатый, – самый одинокий человек в мире.

– Откуда вы это знаете?

– А я их вижу. И сейчас на такого смотрю. Возьму несколько бутылок холодного пива я пойду посмотрю, не захочет ли Марджи Янг-Хант поразвлечься со мной. Она поздно ложится.

– По-моему, ее нет в городе, Морфи. Она говорила моей жене, если не ошибаюсь, что хочет побыть в Мэне до тех пор, пока жара не спадет.

– Будь она проклята, эта Марджи! Ну ладно, ее убыток – бармену прибыль. Пойду поведаю ему печальные эпизоды из одной загубленной жизни. Он тоже не будет слушать. Ну, всего, Ит. Идите с Господом Богом. Так напутствуют в Мексике.

Нарваловая трость постукивала по тротуару, подчеркивая мое недоумение, зачем я солгал Джою. Она не будет болтать. Это испортит ей всю игру. Она хочет все время держать палец на предохранителе гранаты. А почему – не знаю.

Я свернул с Главной улицы на Вязовую и увидел у старинного дома Хоули «крайслер», похожий не столько на товарный вагон, сколько на катафалк, – черный, но не блестящий, потому что он был весь в дождевых капельках и маслянистых брызгах расплеснутой на шоссе грязи. Свет его фар смягчали матовые стекла.

Наверно, было очень поздно. В спящих домах на Вязовой не светилось ни одно окно. Я весь промок и вдобавок ступил где-то в лужу. Башмаки у меня жирно чавкали при каждом моем шаге.

Сквозь затуманенное ветровое стекло виднелся человек в шоферской фуражке. Я подошел к этой машине-монстру, постучал по стеклу, и оно сразу с электрическим подвыванием поползло вниз. В лицо мне пахло ненатуральной свежестью кондиционированного воздуха.

– Я Итен Хоули. Вы меня ищете? – И я увидел зубы – блестящие зубы, выхваченные из сумрака автомобильной кабины нашим уличным

фонарем.

Дверца отворилась сама собой, и из «крайслера» вышел худощавый, хорошо одетый мужчина.

– Я от телевизионной студии «Данскам, Брок и Швин». Мне надо поговорить с вами. – Он посмотрел на шофера. – Только не здесь. К вам можно зайти?

– Что ж, зайдемте. У нас, наверно, все спят. Если вы будете говорить тихо...

Он пошел следом за мной по мощеной дорожке, проложенной через топкий газон. В холле горел ночник. Когда мы вошли, я поставил нарваловую трость в слоновую ногу.

Потом включил лампочку для чтения на спинке моего большого кресла с продавленными пружинами.

В доме стояла тишина – но какая-то не та тишина, что-то в ней чувствовалось беспокойное. Я посмотрел вверх, на двери спален, выходящие на площадку второго этажа.

– Наверно, что-нибудь серьезное, раз вы так поздно.

– Да.

Теперь я разглядел его. В этом лице представлялись зубы, не получающая никакой поддержки от усталых, но настороженных глаз.

– Мы не хотим гласности. Год выдался тяжелый, вы сами знаете. Скандал с викториной выбил у нас почву из-под ног, а тут еще эта история с комиссиями конгресса. Приходится быть осторожным. Сейчас очень опасное время.

– Может, вы мне все-таки скажете, в чем дело.

– Вы читали сочинение вашего сына «Я люблю Америку»?

– Нет, не читал. Он хотел преподнести мне сюрприз.

– И преподнес. Я не понимаю, как мы сразу этого не обнаружили, но факт остается фактом. – Он протянул мне голубую папку. – Прочтите, где отчеркнуто.

Я сел в кресло и открыл ее. Текст был напечатан то ли на пишущей машинке, то ли на одной из новых типографских машин с таким же шрифтом, но поля были все исчерканы жирным черным карандашом.

Итен Аллен Хоули Второй

Я ЛЮБЛЮ АМЕРИКУ

Что такое человеческий индивидуум? Атом, почти невидимый без увеличительного стекла, пятнышко на поверхности Вселенной; ничтожная доля секунды, несоизмеримая с безначальной, бесконечной вечностью; капля воды в бездонных глубинах, которая, испарившись, улетает вместе с ветром; песчинка, которой не долго ждать возврата к праху, породившему ее. Неужто же существо, столь малое, столь мелкое, столь преходящее, столь недолговечное, противопоставит себя поступательному движению великой нации, что пребудет в веках, противопоставит себя последующим порожденным нами поколениям, которые будут жить, доколе существует мир? Обратим же взоры к своей стране, возвысим себя чистым, бескорыстным патриотизмом и убережем отечество наше от всех грозящих ему опасностей. Чего мы стоим, чего стоит тот из нас, кто не готов принести себя в жертву на благо родной страны?

Я перелистал всю тетрадку и везде увидел следы черного карандаша.

– Узнаете?

– Нет. Ужасно знакомо... это что-то прошлого века.

– Правильно. Генри Клей. Речь, произнесенная в тысяча восемьсот пятидесятом году.

– А остальное? Тоже Клей?

– Нет. Надергано отовсюду. Тут и Дэниел Уэбстер, и Джефферсон, и даже – господи, прости! – кусочек из второй вступительной речи Линкольна. Я просто не понимаю, как это проскочило. Наверно, потому, что сочинений были сотни. Слава богу, что мы все-таки вовремя спохватились. Представляете себе? После всей этой истории с Ван Дореном ^[35].

– Сразу видно, что не детская рука.

– Не понимаю, как это случилось. И ведь если бы не открытка, так бы все и прошло.

– Открытка?

– Открытка с видом Эмпайр-стейт-билдинг.

– Кто же ее прислал?

– Анонимная.

– Откуда она послана?

– Из Нью-Йорка.

– Покажите ее мне.

– Она у нас в сейфе на случай каких-нибудь неприятностей. Но ведь вы не пойдете на это?

– Что вам от меня нужно?

– Мне нужно, чтобы вы все забыли – будто ничего и не было. И если вы согласны, мы тоже так сделаем будто ничего и не было.

– Забыть это нелегко.

– Да слушайте, я просто говорю, чтобы вы держали язык за зубами и не причиняли бы нам никаких неприятностей. Год был тяжелый. Перед президентскими выборами к чему угодно придерутся.

Я захлопнул красивую голубую папку и отдал ему.

– Никаких неприятностей не будет.

Его зубы блеснули, как двойная нитка жемчуга.

– Я так и знал. Я так и говорил там, у нас. Я поинтересовался вами. У вас хорошее досье. Вы из почтенной семьи.

– Теперь, может быть, вы уйдете?

– Смею вас уверить, я понимаю ваши чувства.

– Благодарю вас. А я понимаю ваши. Что можно похоронить, того будто и не было?

– Мне бы не хотелось оставлять вас в таком настроении. Не надо сердиться. Я работаю в отделе информации и связи. Мы что-нибудь придумаем. Стипендию... или что-нибудь в этом роде. Что-нибудь вполне приемлемое.

– Неужели порок объявил забастовку и требует повышения заработной платы? Нет, прошу вас, уходите.

– Мы что-нибудь придумаем.

– Не сомневаюсь.

Я проводил его, снова сел в кресло и, потушив лампочку, стал прислушиваться к своему дому. Он пульсировал, как сердце, а может,

это и было мое сердце и шорохи в старом доме. Мне захотелось подойти к горке и взять с руки талисман. Я уже встал и шагнул вперед.

Я услышал какой-то хруст и словно короткое ржание испуганного жеребенка, и кто-то пробежал в темноте, а потом все стихло. Мои мокрые башмаки чавкнули на ступеньках. Я вошел в комнату Эллен и включил свет. Она лежала, свернувшись, под простыней, голова – под подушкой. Когда я попробовал поднять подушку, она вцепилась в нее, и мне пришлось дернуть сильнее. Из уголка рта у нее текла струйка крови.

– Я поскользнулась в ванной.

– Вижу. Сильно ушиблась?

– Нет, не очень.

– Другими словами, это не мое дело?

– Я не хотела, чтобы его посадили в тюрьму.

Аллен сидел у себя, на краю кровати, в одних трусиках. Его глаза... Я невольно представил себе мышь, загнанную в угол и готовую отбиваться от щетки.

– Ябеда поганая!

– Ты все слышал?

– Я слышал, что эта гадина сделала.

– А ты слышал, что ты сам сделал?

Мышь, загнанная в угол, перешла в нападение.

– Подумаешь! Все так делают. Кому повезет, а кому нет.

– Ты в этом уверен?

– Ты что, газет не читаешь? Все до одного – до самой верхушки.

Почитай газеты. Как начнешь витать в облаках, так читай газеты. Все это делают, и ты сам, наверно, когда-нибудь делал. Нечего на мне отыгрываться. Плевал я на всех. Мне бы только с этой гадиной рассчитаться.

Мэри разбудить нелегко, но тут она проснулась. А может быть, и вовсе не засыпала. Она была в комнате Эллен, сидела на краешке ее кровати. Уличный фонарь освещал ее, играл тенями листьев на ее лице. Она была как скала, огромная скала, противостоящая волнам прилива. Да, верно. Она – кремень, она – твердыня, несокрушимая и надежная.

– Ты ляжешь спать, Итен?

Значит, она тоже все слышала.

- Нет еще, радость моя.
- Опять куда-нибудь пойдешь?
- Да... погуляю.
- Пора спать. На улице дождик. Тебе непременно надо уходить?
- Да. Есть одно место, мне надо побывать там.
- Возьми дождевик. А то опять забудешь.
- Да, милая.

Я не поцеловал ее. Не мог поцеловать, когда рядом с ней лежал, укрывшись с головой, этот комочек. Но я положил ей руку на плечо, коснулся ее лица, а она была как камень.

Я зашел на минутку в ванную за пачкой бритвенных лезвий.

Я стоял в холле, послушно отыскивая в шкафу свой дождевик, и вдруг услышал какую-то возню, какой-то шум, и топот, и Эллен, всхлипывая, шмыгая носом, кинулась ко мне. Она уткнулась кровоточащим носом мне в грудь и обхватила меня руками, прижав мне локти к бокам. И все ее детское тельце дрожало мелкой дрожью.

Я взял ее за чубчик и оттянул ей голову назад.

- Я с тобой.
- Нельзя, глупышка. Пойдем лучше в кухню, я тебя умою.
- Возьми меня с собой. Ты больше не вернешься.
- Что ты выдумываешь, чучело? Конечно, вернусь. Я всегда возвращаюсь. Пойди ляг и усни. Самой же лучше будет.
- Так не возьмешь?
- Тебя туда не пустят. Что же ты хочешь, стоять на улице в ночной рубашке?
- Не смей!

Она опять обняла меня и стала гладить мне руки, бока, засунула кулачки в карманы, так что я испугался, как бы она не нащупала там пачку бритвенных лезвий. Она у нас всегда такая ласкушка, обнималка, и всегда жди от нее каких-нибудь неожиданностей. И вдруг она отпустила меня и шагнула назад, подняв голову, и глаза у нее были сухие. Я поцеловал ее в перемазанную щеку и почувствовал на губах вкус подсыхающей крови. И пошел к дверям.

- Без палки пойдешь?
- Да, Эллен. Сегодня без палки. Иди спать, родная. Иди спать.

Я побежал. Мне кажется, я убежал от нее и от Мэри. Я услышал, как Мэри не спеша спускается по лестнице.

Глава XXII

Был час прилива. Я вошел в тепловатую воду и пробрался в Убежище. Медлительная волна то и дело заливала вход в него, брюки у меня сразу намокли. Толстый бумажник в заднем кармане разбух, а потом сплющился под моей тяжестью. Летнее море кипело медузами размером с крыжовник, которые распускали по воде свои щупальца; касаясь моих ног и живота, они обжигали меня, будто маленькими огоньками, а вода мерно, как дыхание, входила и выходила из Убежища. Дождь превратился в легкую туманную завесу, и она вобрала в себя все звезды и все городские огни и размазала их ровным, тускло мерцающим слоем. Мне был виден третий выступ за волнорезом, но из Убежища казалось, что он не на одной линии с тем местом, где покоился затонувший киль «Прекрасной Адэр». Волна более сильная подняла мои ноги, и мне почудилось, будто они у меня сами по себе, отдельно от туловища, и настойчивый ветерок, возникший неведь откуда, погнал перед собой туман, как стадо овец. Потом я увидел звезду – поздно, слишком поздно зажегшуюся. Какое-то судно, пофыркивая, прошло мимо – парусник, судя по неторопливому, торжественному стуку мотора. Над зубцами искрошенного волнореза показался его клотик, но красный и зеленый бортовые огни не были видны мне.

Кожа у меня горела от ожогов медуз. Я услышал всплеск якоря, и клотик потух.

Огонь Марулло все еще горел, так же как огонь Старого шкипера и огонь тетушки Деборы.

Это неправда, что есть содружество огней, единый мировой костер. Всяк из нас несет свой огонек, свой собственный одинокий огонек.

Стайка крохотных рыбешек метнулась вдоль берега.

Мой огонь погас. Нет на свете ничего темнее, чем обгоревший фитиль.

И где-то в глубине себя я сказал: хочу домой, нет, не домой, а по ту сторону дома, где загораются огни.

Когда огонь гаснет, становится так темно, что лучше бы он совсем не горел. Мир полон темных обломков крушения. Есть лучший способ,

известный тем Марулло, которые жили в старом Риме: приходит час, когда надо тихо, достойным образом уйти, без драм, никого не наказуя – ни себя, ни своих близких. Простился, сел в теплую ванну и отворил вены – или теплое море и бритвенное лезвие.

Мертвая зыбь растущего прилива шарахнулась в Убежище, приподняла мне ноги и отвела их в сторону, а мокрый свернутый дождевик унесла с собой.

Я лег на бок, сунул руку в карман за лезвиями и нащупал там что-то тяжелое. И тут я с изумлением вспомнил гладящие, ласкающие руки той, что несет огонь. Я не сразу вытащил его из мокрого кармана. И у меня на ладони он вобрал в себя весь свет, все огни и стал темно-темно-красный.

Новый вал прибоя притиснул меня к задней стене Убежища. Темп моря убыстрялся. Для того чтобы выйти из Убежища, мне пришлось бороться с волнами, но я должен был выйти. Меня перекатывало с боку на бок, я пробивался вперед по грудь в воде, а быстрые волны старались оттолкнуть меня назад.

Мне надо было выйти отсюда – надо было отдать талисман его новой владелице.

Чтобы не погас еще один огонек.

«Зима тревоги нашей»:

историко-литературная справка

«Зима тревоги нашей» – последний роман Стейнбека. Работая над ним в 1960 году, писатель изложил свою концепцию романа в письме Паскалю Ковичи: «...Роман – это крупное произведение художественной прозы, имеющее свою форму, свое направление, свой ритм и, конечно, свою цель. Плохой роман должен развлекать читателей, средний – воздействовать на их чувства, а лучший – озарять им путь. Не знаю, сумеет ли мой роман выполнить хотя бы одну из этих задач, но моя цель – озарять путь».

Роман вышел в свет в июне 1961 года. Он не похож ни на одно из предыдущих произведений писателя. Место действия его – не родная, близкая сердцу писателя Калифорния, а старинный, чинный и ухоженный городок Новой Англии. Да и герой романа не традиционный стейнбековский персонаж – простой человек из народа, а отпрыск основателей городка, человек, неплохо устроенный даже по американским понятиям, одним словом, средний добропорядочный американец.

Стейнбека в эти годы беспокоил упадок нравов в стране, отсутствие достойной цели. Свои мысли он выражал в письмах добрым знакомым. «Бедлам в Вашингтоне можно сравнить только с римским туалетом для кошек. И дело не в том, что администрация слишком цинична. Я глубоко уверен, что ни на что лучшее они там просто не способны. А демократы, господа, демократы – делят шкуру неубитого медведя, нет у них ни мужества, ни идей, ни платформы. Мне бы следовало вернуться в Европу, здесь пусть все пропадает пропадом».

И в своем романе Стейнбек откровенно показывает, как современный американский образ жизни действует на обычного добропорядочного буржуа, толкая его на путь предательства и преступления ради погони за богатством. Следует отметить, что Стейнбек не впервые обращается к этой теме. В мартовском номере популярного журнала «Атлантик мансли» за 1956 год был опубликован его рассказ «Как господин Хоган ограбил банк». У героя рассказа и

героя нового романа много общего. И тот, и другой работают продавцами в магазине, оба они трудолюбивые добропорядочные граждане, оба жаждут богатства. И один грабит банк, да так ловко, что никому и в голову не приходит заподозрить его в этом преступлении. А другой доносит на своего хозяина и предает друга. В результате и тот, и другой разбогатели.

Большая пресса, как обычно, оценила роман отрицательно. «Рецензии на книгу обескуражили меня, – признавался писатель. – Они всегда действуют обескураживающе, даже положительные, но на этот раз они слишком сильно подействовали на меня». Ободрили писателя лишь отзывы старых друзей, мнением которых он дорожил и кому верил. «Ваша книга мне понравилась, и я думаю, что это лучшая ваша работа за многие годы, – писал Стейнбеку по прочтении рукописи Ковичи. – Я читал ее с подлинным наслаждением и был рад, что вы снова вернулись к теме социальной справедливости и рассматриваете ее не с точки зрения бедности, а с точки зрения денег... В книге нет ни нотки надежды, да ее и не должно там быть. Она ниспровергает преклонение перед так называемой добродетелью, перед успехом, перед американским образом жизни. Мало писателей атаковали эти американские понятия с такой силой. В этом десятилетии никто, кроме вас, даже и не пытался сделать этого... Вы написали великую книгу, Джон, и да поможет вам Бог».

notes

1

Известный английский архитектор XVIII века, испытавший в своем творчестве сильное влияние античной архитектуры. (Все примечания принадлежат переводчикам.)

2

Американский просветитель, живший в XVIII веке

3

Предки (итал.)

4

большое спасибо (итал.)

5

Господи, зачем Ты меня оставил! (древнееврейск.)

6

«Твердокаменный Джексон» (англ.) – прозвище Томаса Джонатана Джексона, генерала армии южан в Гражданскую войну в США

7

Вид съедобного моллюска

8

Одна из центральных деловых улиц в Нью-Йорке

9

Скала в Плимуте, штат Массачусетс, где, по преданию, в 1620 году высадились «отцы пилигримы», прибывшие из Англии на корабле «Мэйфлауэр»

10

Детишек (итал.)

«Смерть Артура» (франц.) – средневековые предания,
обработанные в XV веке Томасом Мэлори

Из знаменитой речи Патрика Генри, американского оратора и государственного деятеля XVIII века

13

Карточная игра

14

Император, отшельник, повозка, правосудие, мачта, дьявол
(франц.)

«И. Мюллер и компания. Фабрика игральных карт» (франц.)

16

Господи, помилуй! (греч.)

Богиня весны у древних тевтонов

Эпизод из испано-американской войны 1898 года

19

Исторический эпизод, относящийся к декабрю 1773 года, когда в знак протеста против налоговых обложений бостонцы потопили в море большую партию чая, привезенного английскими кораблями

Главное в искусстве – скрывать искусство (лат.)

21

Что и требовалось доказать (лат.)

22

Я тебе верю (итал.)

Шекспир. Ричард III

Известный американский политический деятель и оратор (1777–1852)

Один из популярных руководителей партизанского движения мексиканских крестьян начала XX века

26

Молись за меня (лат.)

Епископ Винчестера, основавший в XIV веке известный английский колледж, где он осуществил на практике свою систему обучения

Американский государственный деятель XIX века

Из речи Линкольна

30

Прекрасных сновидений (франц.)

Мировой скорби (нем.)

Влиятельный американский комментатор музыкальных радиопередач, обвинявшийся в получении взяток от фирм грамзаписи, нотных издательств и т.п.

Казненный за преступления против нравственности американский гангстер; за 12 лет пребывания в тюрьме написал четыре автобиографические книги, одна из которых прославилась как бестселлер

Национальная радиовещательная компания

Широко разрекламированный победитель телевикторин в США, разоблаченный впоследствии как подставное лицо телевизионной компании

Содержание

[Джон Стейнбек Зима тревоги нашей](#)

[Часть первая](#)

[Глава I](#)

[Глава II](#)

[Глава III](#)

[Глава IV](#)

[Глава V](#)

[Глава VI](#)

[Глава VII](#)

[Глава VIII](#)

[Глава IX](#)

[Глава X](#)

[Часть вторая](#)

[Глава XI](#)

[Глава XII](#)

[Глава XIII](#)

[Глава XIV](#)

[Глава XV](#)

[Глава XVI](#)

[Глава XVII](#)

[Глава XVIII](#)

[Глава XIX](#)

[Глава XX](#)

[Глава XXI](#)

[Глава XXII](#)

[«Зима тревоги нашей»: историко-литературная справка](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35